

Записки старика¹

Витебск с 1821 по 1840 г.

[Эпиграф нрзб.]

I.

В семьдесят лет в моей памяти накопилось столько и столь разнообразных впечатлений, что теперь, раскапывая весь этот хлам, невольно теряюсь и расплываюсь своим я в какой-то беспредельности, в какой-то бездне. Бездна эта – мое прошедшее, и в ней прошедший уже, а не настоящий я! И этот прошедший я очень мало, а может быть и нисколько не похож на настоящего. Там был сперва наивный и резвый ребенок, потом бодрый и пылкий юноша, а тут налицо старый, дряхлый ворчун-старикашка. Да и сама среда, окружавшая эти два я, совсем не та! Где то разнообразие народностей, сословностей, костюмов, разговорной речи – все теперь смылось, изгладилось и слилось в какое-то безразличное однообразие. Не встретите теперь на улице адвоката (Реута, Яцыну, Падерню) или зажиточного мещанина (Тараньчука, Тарасевича) в кунтуше с широким блестящим поясом; не выступит важно богатый еврей (Гинцбург², Рабинович,

¹ На первой странице рукописи в левом верхнем углу листа: «№1142/в». Далее надпись наискосок: «Отложить до моего возвращения / 30 янв. [подпись: Семевский?]».

Семевский Михаил Иванович (1837–1892), русский историк, журналист, общественный деятель. С 1870 г. и до конца жизни издавал исторический журнал «Русская старина». М. Маркс перевел свои воспоминания с польского на русский язык, т.к. «Русская старина» обещала их опубликовать. Однако цензура сильно изменила рукопись, что не устроило М. Маркса, он забрал ее назад из редакции и позднее передал в львовский «Оссолинеум». В правом углу L. 3454, скорей всего номер присвоенный в Архиве «Оссолинеум».

² Сын витебского раввина и купца 1-й гильдии Габриэля-Якова Гинцбурга (ок. 1793–1853) Евзель (Иоссель) Гинцбург (1812–1878) в 1850-х гг. перебрался на жительство из Витебска в Петербург, основал там банкирский дом «И. Е. Гинцбург» с отделением в

Минц) в длиннополом шелковом кафтане, заткнув за черный пояс большие, и растопырив остальные пальцы обеих рук, не порхнет пред вами мещанская дзевухна³ в парчовом безрукавом кициле, с чалмою на голове, повязанною торчащим спереди узлом; и не застучит по мостовой высококаблучной туфлей хлопотливая еврейка. Нет! Все это прошло, минуло и никогда не возвратится!

Во все царствование Александра Павловича Белоруссия (т.е. Витебская и Могилевская губернии, присоединенные к Российской империи в 1742 г.) состояла с Малороссиєю и Литвою на особых правах. Царские указы, литовский статут и магдебургское право при всем их противоречии совмещались как-то чудным образом. Гражданское судопроизводство шло по литовскому статуту и магдебургскому праву; и во втором департаменте (гражданской палате) и в ратуше (думе) говорились адвокатами, при стечении публики, обвинительные и защитительные речи; а в первом департаменте (уголовной палате) все решалось по указам и с глубочайшею канцелярскою тайною, легкомысленное нарушение которой вело виновного прямо на восток, за Уральские горы. Обе губернии причислялись к Виленскому учебному округу, и в училищах преподавание шло на польском языке; а кроме гимназий и уездных училищ были еще городские, на степени гимназий, и сельские, на степени уездных училищ, при католических (пиарских) и униатских (базилианских) монастырях.

Жители города, кроме военных, т.е. гарнизона с желтыми воротниками провиантского интендантства, школы кантонистов и временно квартирующих большею частью пехотных егерских полков, состояли, во 1), из чиновников высших и низших. Высшие: губернатор, вице-губернатор, советники казенной палаты, почтмейстер, директор гимназии и полицмейстер, были русские, приехавшие на службу и после обыкновенно перемещаемые в другие места. Низшая же писчая тварь состояла из разного сброду (кроме евреев), и пользовалась очень некрасивою репутацией. Кличка им была – «крючки», и ни один порядочный человек в самых крайних обстоятельствах не решался поступить писцом ни в полицейское управление, ни в нижний земский суд. У полицмейстера и исправника поэтому были под командою отчаянные пропойцы и прощелыги, потерявшие всякое сознание человеческого достоинства. Начальники

Париже на бульваре Османн, к концу жизни стал крупнейшим землевладельцем и мультимиллионером, получил баронский титул. Умер и похоронен в Париже.

³ Все подчеркивания сделаны в тексте. Возможно, их авторами были редактор или цензор.

заставляли их работать в канцеляриях под караулом, снимая им сапоги на ночь и привязывая за ноги к столам; а жители, чтобы избавиться от их назойливых притязаний, били их при всякой возможности беспощадно, отделялись потом от ответственности мировую сделкою не дороже штофа водки. Это было самое плюгавое из всего городского населения.

Дворяне, большею частью помещики, делились на две секции: польскую – преимущественно католическую, и русскую – большею частью православную. К первой, многочисленнейшей, принадлежали потомки прежних землевладельцев с польскими фамилиями, языком и образом жизни. Все они были завзятые монархисты, приверженцы последнего короля и преданны душою Тарговицкой конфедерации. Все они притом же были (за небольшим исключением воспитанников Виленского университета, и то, большею частью медиков) учениками иезуитов, которые не могли простить Польше свое изгнание из пределов ее и лишение огромнейших поместий, перешедших в ведение Эдукационной комиссии. Строго дисциплинированные и отлично дрессированные воспитанники их школ доставляли самый благонадежный контингент администрации. Сам Николай Павлович, удаляя декабристов в Сибирь, не нашел же никого в подмен Лепарского⁴, конвоировавшего когда-то конфедератов барских. Русская секция политиков состояла из владельцев королевских и порадзивилловских имений, жалованных им после первого раздела Польши. Здесь были и коренные великорусы (Мордвинов), и малороссы (Энько, прозванный в шутку отцом всех хохлов), и сербы (Щерба, Зорич), и чехи с немецкими прозвищами, и настоящие немцы (Грейфенфельд, Аш), и, наконец, греки (Зарояни, Алексияно – архипелажский корсар, родом из Мальорки). Все они по большей части блистали, как говорится, своим отсутствием, редко навещая свои поместья и останавливаясь в городе только проездом.

В последние годы царствования Екатерины II, при Павле Петровиче и потом при Александре Павловиче крепостное право считалось незыблемою основою самодержавия. «В Литве и Белоруссии нужно опрокинуть все вверх дном, чтобы затереть даже память майской конституции 1791 года», – сказал сатиropодобный Безбородко, имевший в конце концов 40 000 жалованных ему крепостных душ. И бедному крестьянскому люду жутко было жить на свете, совсем для него не белом. Кроме

⁴ Лепарский Станислав Романович (1754–1837), генерал-лейтенант. Воспитанник Полоцкой иезуитской школы. С 1826 г. и до конца жизни был комендантом Нерчинских рудников, куда были сосланы приговоренные к каторжным работам декабристы.

постоянных почти работ на помещичьих полях и дворах, кроме уплаты подушных, чего не сносили они в дворовые кладовые! Начиная с возки соломы, веников, дров и строевого материала и кончая сушеною малиною, белыми и черными грибами, яйцами и курами, баранами и поросятами. Все это было разложено у поляков по хатам, а у русских по душам. Один из последних полковник Гурко завел у себя даже аракатеевские порядки. По звуку трубы крестьяне ранехонько становились в строй с лошадьми и сохами, по сигналу выступали на пашни тоже в строю, под конвоем верховых ординарцев, вооруженных нагайками. В строй становились по звуку трубы женщины с серпами в руках и после переключки, по сигналу, тоже в строю шли на жатву. Разговор между собою, а тем паче песня, были нарушением дисциплины и наказывались сейчас же нагайкою. «Военный человек может завести у себя по-военному образцовые порядки. Мы не в силах тянуться за ним. Куда нам!» – со вздохом и повеся носы, говорили другие, восхищенные этими порядками.

Кое-где между жалованными было в ходу и княже: и грек Зарояни был за него и убит бабами; хотя сужден, наказан кнутом и сослан в каторжные работы был неповинный ни в чем кучер, везший его домой. Только лет через пять одна женщина, умирая, заявила, что она собственноручно распластала топором голову своему помещику за то, что он попсув всех дзевух и опоганив всих дзецюков (мальчиков). Заявление это однако же, кажется, было замято ради общего спокойствия и приличия.

«Двадзесце пенць батов (батов)!» – выкрикивал поляк в ярости, и бедный белорус смиренно и со стоической апатией получал это количество! Жалованные помещики и присылаемые ими из России управляющие, чувствуя свое преимущество, никогда не выходили из себя, не унижались до неприличного крика, а хладнокровно и повелительно приказывали отсчитывать провинившемуся по сотне, другой и даже третьей плетей. Порядки! Что и говорить?

– «Какая разница между огнем и мужиком?» – «Огонь прежде высекут, а потом разложат, а мужика прежде разложат, а потом высекут». Вот какой поговорочкой забавлялись тогда в модных даже салонах.

А вот факт, который не должно бы предать забвению. К смотрителю тюремного замка Миниману ежедневно приставал один арестант с просьбою непременно посечь его. Он был крепостным какого-то помещика (жаль, что теперь не могу вспомнить, чьим именно), служил у него лакеем и почти ежедневно получал некоторую порцию помещичьего наставления. И вот прошло более месяца, как-то он попал в тюрьму, и выдача эта прекратилась. Несносный зуд в посекаемой части тела беспокоил его так, что

он не находил себе места ни днем, ни ночью. Миниман, которому надоели ежедневные почти слезные просьбы, доложил о них губернатору, а тот разрешил посещать просителя в присутствии прокурора и врача. Семьдесят пять плетей удовлетворило страдавшего, и он мог после получения их спокойно спать по ночам. Это можно бы назвать научно, по Дарвину, приспособлением организма к окружающей среде, а *vulgo*, т.е. попросту – привычкой. Мицкевич спрашивал ведь черта, зачем он сидит в болоте? «Привычка», – ответил тот равнодушно.

Нельзя не вспомнить здесь про легендарного помещика Островского⁵. Вследствие ли старошляхетской традиции, из желания подражать таким тузам, как Радзивилл – Пане Коханку⁶ или Потоцкий-Каневский⁷; а то хотя и меньшей руки самодурам, как Володкович⁸, расстрелянный в Минске конфедератами, а, может быть, и начитавшись современных романов (известно, что он принадлежал к так называемой интеллигенции), этот новый Дон Кихот собрал из своих дворовых людей, а частью из крестьян, шайку, наезжал на дворы ненавистных ему соседей, грабил лавки по городам и проезжих по дорогам, разбивал почты и в то же время, подражая Ринальдино

⁵ Павел Островский, небогатый помещик, живший в окрестностях Витебска. Был вытеснен в результате судебного процесса из своего имения соседом и стал грабителем. Его историю от П.В. Нащокина услышал А.С. Пушкин. Островский стал прототипом главного героя его романа «Дубровский» (Букчин С. ... *Народ, издревле нам родной. Русские писатели и Белоруссия*. Минск 1984, с. 112–116).

⁶ Радзивилл Кароль Станислав по прозвищу Пане Коханку (1734–1790), князь, представитель знаменитого магнатского рода, один из самых богатых и влиятельных дворян Великого княжества Литовского. Любитель разгульной жизни и вымышленных рассказов о собственной персоне.

⁷ Потоцкий Николай Базилий (1712–1782), староста каневский, известный польский авантюрист и меценат. Его замок в Бучаче на Украине был центром разгула и разврата.

⁸ Володкович Михаил (1731–1760), один из ближайших друзей князя Кароля Станислава Радзивилла Пане Коханку. Был арестован в Минске после драки в суде и убит.

Ринальдини⁹ и Фра-Дьяволо¹⁰, щедрою рукою сыпал вспомоществования и благодеяния бедным и нуждающимся. Когда он был схвачен, то одни не могли нарадоваться концу их страха, тогда как другие плакали и усердно молились об его избавлении. По суду он был сослан в Сибирь, но спустя лет пять приехал в Витебск какой-то посланный из Петербурга чиновников, вроде ревизора, и обедал у губернатора. Находившийся тут же дежурный полицейский пристав Гвоздев, услужливо снимавший с уважаемого гостя шубу, узнал в нем Островского и после обеда заявил о своем открытии. «Удивляюсь, Гвоздев, как ты глуп! Десять тысяч рублей получил бы от меня без всякого торгу; а теперь – шиш в нос!» – сказал пойманный узнавшему и уличившему его, который после такого упрека с тоски спился окончательно.

Спустя больше десяти лет явился другой такой же авантюрист, но уже военный, следовательно, без традиций, помещик Клиндер, известный под именем Тришки, наполнивший своею славою более Смоленскую и отчасти Орловскую губернию. О нем упоминает и Тургенев в «Записках охотника». Он тоже был сослан в Сибирь и тоже явился обратно – в Велижском уезде, но конец его неизвестен. Кажется, он не был пойман вторично. Вдова его вышла потом замуж за полковника В.С. Комарова и была мачехой всех Комаровых Виссарионовичей.

Самый многочисленный класс жителей города были мещане, а многочисленнейшие из них – евреи, начиная с капиталистов, живших с азиатскою роскошью, до жалких полубосых оборвышей, бегавших из дома в дом с коробочками, заключавшими в себе медные и томпаковые цепочки, запонки, колечки, сережки, кусочки мыла и прочие редкости ценностью в общем итоге не более рубля. При каждом сколько-нибудь порядочном доме непременно был хотя один жид – фактор, исправляющий за суточную плату 12–15 коп[еек] (на нынешний курс 3 ½– 4 ½ коп[еки] сер[ебром]) службу рассыльного. Он бегал с поручениями и посылками, совершал мелочные покупки, справлялся о приезде или отъезде какого-нибудь лица и даже не отказывался содействовать в любовных интрижках, и все это за ничтожнейшую плату, с отчетливой точностью и в полной уверенности в ненарушимости секрета.

⁹ «Ринальдо Ринальдини, атаман разбойников» – пользовавшийся в то время широкой популярностью разбойничий роман К.А. Вульпиуса.

¹⁰ Фра-Дьяволо, наст. имя Микеле Пецца (1771–1806), итальянский разбойник и участник освободительного движения. Стал главным героем одноименной комической оперы французского композитора Д. Обера, впервые исполненной в 1830 г.

Все без исключения евреи были торгаши, а специально присвоенною ими была торговля вином. Белоруссия тогда пользовалась свободою винокурения, и города только были на откупе. В городе ведро вина стоило около 1 ½ р[ублей] сер[ебром], а за чертою городской земли оно было дешевле полтинника. Внос и ввоз в город вина наказывался огромным штрафом, а даже в некоторых случаях и ссылкой в Сибирь. Кругом города днем и ночью стояла стража, осматривавшая и ощупывавшая всех въезжающих и входящих в город без различия званий, состояний пола и возраста.

Виноторговля вся была в руках евреев. Богатые брали на откуп города, а бедные то содержали питейные дома в городах, то арендовали корчмы, т.е. постоянные дворы по деревням, то, наконец, служили в кордонной страже на черте городской земли. В праздничные дни большая часть мастеровых и рабочих с раннего утра отправлялась за город, в ближайшие корчмы, напивалась там и к вечеру веселою гурьбою входила в город, поддразнивая караульных запрещенною дешевою водкой, вносимой в многочисленных желудках и кишках.

Евреи были освобождены от рекрутской повинности, имели две синагоги и управлялись общественным советом (кагалом) под председательством официально назначаемого раввина, которого они не очень долюбливали и называли рабби мамсер (незаконнорожденный). Все духовные требы исполнял другой, избранный обществом, неофициальный раввин, яростный фанатик и хасид.

Прочие мещане были белорусы-униаты; народ темный и с крайне ограниченным кругозором, послушный, боязливый, уступчивый, смиренный, суеверный, одним словом, ничем не отличающийся от сельского своего собрата – мужичка. Как сельские, так и городские приходские священники их по умственному развитию были не выше прихожан, ежели не брать во внимание знание требника и обрядов богослужения. Все они, обремененные семействами, жили бедно и почти с проголодью, смиренно и в полной зависимости от своих прихожан, которые как только сколько-нибудь возвышались над уровнем окружающей их среды состоянием ли, чином ли по службе, сейчас же, смотря по обстоятельствам, делались то православными, то католиками. Одни только униатские монахи-базилиане отличались высшим просвещением. Все они по образовательному цензу были или кандидаты или даже магистры философии. Им передан был поиезуитский монастырь в Витебске с состоящею при нем школою на степени гимназии. Монашенки-базилианки содержали тоже школку для девиц с курсом, близким к курсу уездного училища.

Кроме униатов довольно многочисленны были великорусские беглецы-старообрядцы, называвшиеся филипонами и занимавшиеся торговлею и огородничеством. Почти все они имели собственные свои деревянные домики и огороды, а некоторые владели и каменными лучшими в городе домами. Слава о них шла по городу очень нехорошая, и все прочие жители без различия народностей и вероисповедания, по возможности чуждались их. Церкви своей они не имели, а священников православных избегали и ненавидели. Темные и невероятные рассказы о них носились по всему городу. Я знаю только три факта, очень характеристичные, которые могут бросить хоть слабый свет на эту крайне загадочную тайну в этнографическом и социальном отношении.

По городу вдруг разнеслась молва, что бодрый и крепкий старик Кумачев, владелец двух или трех каменных домов, доживает последний месяц девяностого года от рождения и что он должен будет непременно в это время умереть, потому, что, по мнению старообрядцев, от него, ежели он останется жив, может родиться антихрист. Во избежание чего он сходит в баню, призовет детей, благословит их и сам же вручит своему первенцу дубину, которою тот обязан убить его наповал особенным каким-то способом. И в самом деле, старик умер к назначенному сроку, хотя дня за три или за четыре я видел его ходившего по двору. Он был бодр, держался прямо и даже не подпирался тростью. Не остаток ли это древней, еще докривичской правды в наружной только религиозной [часть слова нрзб.]христианской оболочке?

Ученик Академии Художеств живописец Лохов¹¹ имел собственный домик за Двиною вблизи униатской церкви Св.Петра. Соседи у него кругом были филипоны. Вот в одно прекрасное утро явился к нему соседущка-старик с письмом от сына, полученным на днях, которое ни сам он и никто из его семейства по безграмотству прочесть не могут. Письмо это состояло во-первых из поклонов до сырой земли родителям с просьбою нерушимого их благословения, и во-вторых, из извещения, что лесной промысел его во Владимирской губернии идет очень удачно. Одно только его беспокоит, что попался ему какой-то пошляк, у которого нашел он только полтинник, и этот-то пошляк не дает ему теперь уснуть спокойно, спрашивая постоянно: «За что ты меня зарезал?» – «Уж я до

¹¹ Как сообщает «Юбилейный справочник императорской Академии художеств», «Лохов Гавриил, портретный живописец. В 1786 г. Ак[адемия] Худож[еств] выдала ему свидетельство “в его художестве”» (Кондаков С.Н. *Список русских художников. К юбилейному справочнику Императорской Академии художеств. 1764–1914.* СПб. [1914], с. 116).

того измучился, что хочу даже оставить промысел и вернуться к вам; и потому прошу у вас, дорогие батюшка и матушка, вашего родительского совета и повеления по сему случаю». Лохов остолбенел по прочтению этих слов и окончательно растерялся. Старик, заметив это, быстро выхватил у него из рук письмо, скомкал его, засунул в карман и преспокойно сказал: «Эх, дитя, учить еще! Ну что ж, и по полтинничку можно собрать кое-что. А ты, соседка, никак смутился? Смотри, будь нем, как рыба, и берегись». И Лохов берегся, старательно берегся. «Убьют, а не менее, как сожгут!» – говорил он спрашивающим его об этом событии.

Кричевские и ветковские раскольники, жаловавшиеся Петру I на преследование их польским правительством и просившие у него заступничества и защиты, занимались таким промыслом, и все сообщения чрез занимаемые ими местности совершались под прикрытием сильного конвоя уссаров и панцерников. По присоединении Белоруссии к России, большая часть их, но не все, были переселены под именем поляков в Томскую губернию, где не оставили своих традиционных занятий; и долго дорога, проходившая чрез их поселения, называлась воровскою. Впрочем, очень недавно в Красноярске были казнены смертью такие же [1 слово нрзб.], величавшие себя очистителями земли.

Школьный товарищ мой Цветинский был в любовной связи с красивенькою филипонкою Машею, жившей у родителей в конце города по Задунайской улице. Я случайно в одну из своих ботанических экскурсий застал их на свидании в рощице и слышал, как она, уходя, говорила ему при мне: «Увидимся не ранее как дня через три. Завтра всенощная, а там праздник. Как ни скучно, а надо будет высидеть. Нечего делать. Ведь видел и знаешь. Не сердись, милашка!» Цветинский возвратился в город со мною.

Года через три после я узнал от него же, что Маша, с которою он тогда уже разошелся, разыгрывала роль Богородицы при тайных богослужениях старообрядцев. В уютном помещении в довольно обширной комнате в углу стоял шкаф с выдвигаемым ящиком внизу. В шкафу была одна только полка, на которой садилась Маша, надевши красную рубашку и такую же юбку и накинув на голову голубое покрывало. Над выдвинутым ящиком и по дверцам шкафа ставились восковые свечи числом двадцать четыре. Свечи зажигались, молебствие, состоящее из чтения и пения, продолжалось иногда больше двух и даже трех часов, а бедная Маша должна была сидеть все это время неподвижно и не шевелясь. Она даже должна была воздерживаться по возможности от моргания и устремлять глаза вверх голов всех молящихся. Признаться, положение крайне неприятное! Маша потом отдалась какому-то офицеру-немчику, а Цветинский, чтобы раз навсегда избавиться от измены прелестницы, выбрал безобразнейшую из

безобразнейших девушку Одинец, женился на ней, уехал в Москву, поступил в университет и умер. Я видел потом вдову его в доме бывшего ее опекуна, полковника Глинского, управлявшего лефортовским военным госпиталем.

В числе витебских мещан было несколько немцев: напр[имер] Франк, фортепьянный мастер и удалой бурш, один француз – Mr. Bouilly, и один даже итальянец Рампольди. Madame Bouilly и Signora Rampoldi отличались невероятною объемистостью своих телес. Первая была известна под именем короткой толстой, а вторая – большой толстой имосци (барыни, из польского jejmość).

II.

Самое раннее из впечатлений, глубоко врезавшееся в мою память, было следующее:

Обширная и высокая церковь, до половины завешенная черным сукном и убранная саблями, пистолетами, карабинами, пиками со значками, уланскими красными и голубыми киверами и белыми четырехугольными конфедератками, изящно размещенными в группы и гирлянды. Посреди церкви катафалк, покрытый черным ковром с белыми каймами, на нем стоит гроб. Четыре большие подсвечника укреплялись на пирамидах, сложенных из карточей, среди пуков кос с направленными кверху остриями. Присоедините к этой обстановке тусклое освещение лампадами, расставленными кое-где по ступеням катафалка, и звуки то целого оркестра в дивной оратории Requiem aeternum¹², то одних валторн и тромбонов в поразительном гимне Dies illa, dies irae¹³, – и судите, чья восприимчивость, хотя б и не детская, чье чувство, хотя бы и очерствелое, не были бы поражены, потрясены и подавлены великолепием и торжественностью такого обряда? Это была трехдневная панихида по храбром Костюшке, разрешенная правительством и приведенная в исполнение кондитером Чаплинским, служившим прежде в рядах косиньеров¹⁴. Костюшко свято исполнил рыцарское слово, данное императору Павлу Петровичу, и отказался от предложенному ему Наполеоном начальства над иностранным легионом. На ложный призыв под его команду встали поляки чуть не поголовно и вдруг на место его назначен был брат

¹² Вечный реквием (лат.).

¹³ Это день, день гнева (лат.).

¹⁴ Косиньерами называли крестьян в отрядах повстанцев, вооруженных косами, лезвия которых прикреплялись в одном направлении с древком.

последнего короля Иосиф Понятовский, утонувший после в Эльстере, лихой гуляка и безупречно храбрый рубака, но не заслуживший на общую симпатию к себе. Многие, очень многие помнили еще, как он во время оргий своего брата, называемых литературными вечерами, разъезжал по улицам Варшавы в адамовом костюме то с панной Раевской, то с красоткою на Шульце, одетыми, разумеется, в pendant¹⁵ с ним.

Nie ma pana Tadeusza,

To-to był poczciwa dusza!

(Нет пана Тадеуша, вот была честная душа!)

пели потом обманутые Наполеоном легионисты под Сарагосой на Сомма Сиере, под Цеутою, на Гаити, под Аустерлицем, под Иеною, в Смоленске, в Москве, под Лейпцигом, и, наконец, у Монмартра.

Врезались в память мою и публичные эксперименты отцов-иезуитов, которыми они забавляли и дурачили почтеннейшую публику, состоящую преимущественно из родителей и опекунов молодежи. В назначенные праздничные дни у них с колокольни то взлетал воздушный шар с куклами, сидящими в лодке; то невинно спускался на площадь привязанный к парашюту козел. А в залах училища в одной – темной, волшебный фонарь показывал чудеса святых Лойолы, Гонзаго, Костки, Боболия, и других членов *societatis Jesu*¹⁶; в другой же, светлой, гремучий газ с выстрелами сгорал в летающих мыльных пузырях, то конические зеркала собирали безобразные разводы в изящные рисунки, а предлинная стеклянная труба, поднимаясь и опускаясь над горящим водородом, пела при звоне франклиновых колокольчиков «*Gloria in excelsis Deo*»¹⁷, и целая батарея вольтовых пистолетов отвечала залпом на каждый такой возглас. И все это свершалось и с важностью, и со смирением, и так чинно и торжественно, как будто при каком-то богослужении. Славно *ad majorem Dei gloriam*¹⁸ пускали пыль в глаза честнейшие отцы всем профанам, а все-таки не заработали на сочувствие и добрую память. Не помню теперь песенки, бывшей тогда в большом ходу, но хорошо помню, что после каждого четверостишия повторялась ритуфель:

O Vos, qui cum Jesu itis,

Non ite cum jesuitis!

¹⁵ В соответствии (франц.).

¹⁶ Общества Иисуса (лат.).

¹⁷ «Слава в вышних Богу» (лат.).

¹⁸ Для большей славы Бога (лат.).

(О, вы, ходящие с Христом, не ходите с иезуитами!)

Сама высылка их из Витебска не обошлась без скандального приключения¹⁹. До рассвета власти под величайшим секретом для всех (кроме иезуитов) распорядились окружить монастырь караулом из жандармов городского гарнизона и полицейских служителей. Прокурор, чиновники особых поручений военного генерал-губернатора, гражданского губернатора и полицмейстер явились для описи и опечатания имущества и для посадки монахов с конвоем на приготовленные уже и стоящие на площади почтовые тройки. Один из полицейских приставов по распоряжению полицмейстера отправился для описи погреба, богато снабженного винами, наливками, старою водкой и пятидесяти-, а даже и столетними медами, употребляемыми только малейшими, чуть не наперсточными рюмочками. Бочки со всеми этими соблазнами висели на двойных цепях, укрепленных в своды погреба, простирающегося далеко за ограду. Не раз потом среди площади пред монастырем образовывались глубокие провалы, заделка которых стоила больших трудов и издержек. Ревностный исполнитель служебного дела с тремя данными ему служителями вдруг очутился под землей в среде, как будто позаимствованной из сказок тысячи и одной ночи. Для прочтения надписей на бочках понадобился фонарь, а для удостоверения надписей – ковш. Принесли и один, и другой и взялись за дело! Одними описана и опечатана церковь со всеми ее богатствами, другими библиотека и музей, третьими кухня, кладовая и магазины. Все закончили, а экспедиции из погреба нет как нет. Послали вестового узнать, где она и что с нею. Погреб отперли, но в нем темно, глухо и никто не откликается. Отправились гурьбою все власти с фонарями и под прикрытием штыков сильного конвоя гарнизонных солдат, и что же? Пристав и его команда лежат без чувств не в дальних друг от друга расстояниях. При одном нашелся ковш, а при другом давно догоревший и потухший фонарь. Сейчас же послали за врачом, но все старания его возвратить к жизни пристава и одного из служителей остались тщетны. Остальных двух как-то однако же оттерли. Спустя лет пятнадцать потом я видел вдову покойного пристава. Она получала полную пенсию после мужа, и со слезами умиления, сожаления и благодарности откровенно рассказывала последние подвиги его. Должно быть и тогда, как и теперь, умели же люди преспокойно и даже с наслаждением приносить в жертву жизнь, честно и верно исполняя долг своей службы!

¹⁹ Описываемые события происходили в 1820 г.

В Витебске около того же времени стояли так называемые белые жандармы, кирасиры или кавалергарды, высланные из Петербурга в наказание за что-то. Шумно и громко кутили эти столичные львы в провинциальной глуши их изгнания. По главной улице (Смоленской) от ратуши до Сенного базара в экипажах можно было ездить только до полудня. В 12 часов заставлялись поперечные барьеры, и начиналась отчаянная скачка с препятствиями. Особенно памятен какой-то полковой праздник. Главная гостиница была набита офицерами. Из растворенных окон целыми ведрами высыпались конфеты, пряники, маковник и имбирники, сливы и яблоки и горсти медной монеты и серебряных пяточков. Толпа уличных мальчишек, девок и всякого сброда теснилась, кричала, пищала, ругалась, толкалась и дралась под окнами, подбирая выброшенное. А господа офицеры в летних кителях при звуке горнов пускались в танцы с наехавшими невесть откуда какими-то неизвестными дамами в коротеньких юбочках, подпоясанных широкими лентами, с длинными бантами, декольте и голыми от плеч до кистей руками. После обеда, часов в пять, солдаты прогнали всю подоконную сволочь, поставили барьеры и началась скачка, но уже не простая, обыкновенная, а двойная. К каждому кавалеру присела дама, крепко охватила его руками за шею и уносила прищипоренною лошадию, взвизгивая только над барьерами. Не больше часу однако же продолжались эти экзерциции, названные потом добровольными похищениями. Одна парочка так ловко шлепнулась об мостовую, что храбрый похититель переломил себе руку и вывихнул ногу, а несчастная пленница проломила себе череп до неприличного размозжения мозга и не менее неприличного повреждения тазовых частей тела. Бедняжка не пикнула даже, и после ее смерти две пожарные трубы работали над споласкиванием с мостовой разбрызганного мозга и пролитой ею крови.

Один из героев этого дня, Щерба, сын витебского же помещика, влюбился в дочь бригадира Храповицкого, остававшегося в Витебске в 1812 году для сдачи города после битвы у устья речки Лучесы. Влюбился-то он, как подобает герою скачек и турниров, жарко и бешенно. Да вот беда: на объяснения его в любви девушка взглянула как-то презрительно и предложение его встретила решительным отказом. Не думая долго, как и [1 слово нрзб.] рыцарю, молодой человек зарядил пистолет, и в романтическом овраге своего имени Лукишек в полутора верстах от города пустил себе пулю в лоб.

Отказавшая Щербе Храповицкая вскоре вышла замуж за генерала Пестеля и уехала в Петербург²⁰. Недолго она там прожила, овдовела и возвратилась к себе домой.

Личность эта, верно, и теперь памятна жителям Витебска. Ее человеколюбие и сострадательность, кажется, были без пределов. Каждый в несчастье мог обратиться к ней с просьбой о помощи, и наверное не оставался без утешения и возможного пособия. Во всех школках (даже в еврейской) было по несколько сирот, мальчиков и девочек, на ее содержании. Благотворительность ее отыскивала нуждающихся и страдающих в городе и его окрестностях, и целое утро, до полудня, она была только и занята приемом просителей, являющихся лично и обращающихся к ней письменно. Я не могу умолчать про один из ее поступков, подробно мне известных.

У нее был вечер. Генерал-губернатор кн. Хованский²¹ и вся почти городская аристократия при звуке музыки, танцах и изящном угощении весело проводили время. Хозяйка играла в карты. Ей повезло и она осталась в значительном выигрыше.

– Не поверите, как я рада сегодняшнему выигрышу, – сказала она после ужина.

– Верю. Выигрыши всегда доставляют удовольствие, – возразил генерал-губернатор.

– Нет! Не потому, а вот по какой причине. На днях я узнала, что школка девиц при монастыре марьявиток страшно бедствует, и монахини не имеют никаких средств поддержать ее. Прежние благотворители частью умерли, частью обеднели, а новых нет и не предвидится. И вот я завтра весь мой сегодняшний выигрыш жертвую на удовлетворение первых потребностей этой школки. Надеюсь, что ежели его не хватит на то, то мне придется прибавить не Бог весть какую сумму.

²⁰ Храповицкая Амалия Петровна в 1822 г. вышла замуж за Владимира Ивановича Пестеля (1795–1865,) на то время ротмистра, а затем полковника лейб-гвардии Кавалергардского полка. В.И. Пестель, брат декабриста П.И. Пестеля, был членом Союза спасения и Союза благоденствия. Однако во время восстания на Сенатской площади находился среди правительственных войск, за что получил «монаршую признательность». Брак с А.П. Храповицкой оказался бездетным и закончился полным разладом супругов, 20 лет живших отдельно.

²¹ Хованский Николай Николаевич (1777–1837), князь, участник наполеоновских войн, генерал-губернатор Витебский, Могилевский и Смоленский в 1823–1836 гг.

– А! В таком случае позвольте и мне принять участие в вашей благотворительности, – сказал князь, вынул из бумажника 25-рублевую ассигнацию и почтительно подал ей в руки, прибавляя: «Будьте добры, не откажите».

Вслед за генерал-губернатором все пристали с просьбою принять и от них посильные приношения. Собралась еще порядочная пачка десяти- и пятирублевых ассигнаций.

Надобно знать, что в Витебске был благотворительный женский комитет под председательство ее сиятельства княгини генерал-губернаторши²², и чуть ли не ежедневно по вечерам у генерал-губернатора была игра в карты в пользу этого комитета. Но только весь комитет-то состоял из княгини-председательницы, жены управляющего канцеляриею генерал-губернатора и третьей какой-то дамы, живущей в Петербурге и не посещавшей никогда Витебска. Понятно, что собираемые в этот несчастный комитет деньги исчезали как-то бесследно и ни один бедный не получил из него ни копейки. Заявлением радости по случаю выигрыша г-жа Пестель сильно задела его сиятельство и его супругу. Однако же хитрый дипломат ловко отделался пожертвованными лично им 25-ю рублями, не вспомнив ни слова о quasi-комитете ее сиятельства, в члены которого Пестель не была приглашена. Да и к чему? В нем она только бы была неуместною помехою.

На другой день около полудня экипаж ее подъехал к монастырю, она выпорхнула из него, переговорила с настоятельницею, взяла с собою монахиню, заведовавшую хозяйственною частью школки, и повезла по лавкам и магазинам, чуть издержала в один день, по всем соображениям монахинь, более 500 рублей. Приятно вспомнить про эту ангельски милую и добрую женщину. Мало подобных ей можно встретить в продолжении самой продолжительнейшей жизни!

Светочем науки слыл тогда инспектор врачебной управы, воспитанник какого-то германского университета, Гюбенталь²³. Слава его как знаменитого врача и

²² Жена генерал-губернатора Н.Н. Хованского Вильгельмина Ивановна Лингард (1781–1839).

²³ Гюбенталь Карл Иванович (Карл Филипп фон Гибенталь, 1786–1858), выдающийся хирург, доктор медицины, изобретатель гипсовой иммобилизации при лечении переломов трубчатых костей. Предложил ряд инструментов для урологии. Автор научных работ по борьбе с холерой и другими эпидемиологическими болезнями. В Витебске жил с 1816 г.

магнетизера распространялась далеко, и не только из соседственных, но и из отдаленных местностей приезжали к нему для лечения. Месмеризм, с необходимою примесью шарлатанства, был тогда в большом ходу, и занятие им было очень прибыльно. И вот доктор-магнетизер вскоре приобрел сперва красивенький каменный двухэтажный дом у главной площади, а потом и хорошенькое именье, переименовав его в Карлово, и завел в нем образцовую ферму, которую в письмах и брошюрах своих называл [нрзб.] (мое владение). Успехи и в служебных и в финансовых отношениях породили в нем особенный психологический феномен, который можно назвать самообожанием, а отсутствие нравственных и физических препятствий к дальнейшему развитию этого искривления характера сделали его высокомерным гордецом. Он был вполне уверен, что с одного взгляда узнавал сущность болезни пациента, не спрашивая даже, что тот чувствует, и не прибегая ни к каким научным диагнозам. Еще более, думал, что силою своею мысли он может заставить кого бы то ни было действовать и даже думать по его внушению. Можно представить, какие иногда из этого выходили курьезы, но они нисколько не подрывали репутации Гюбенталя, потому что весь почти город видал, как дама высшего аристократического полета и щепетильная щеголиха г-жа Петриковская в утреннем только пеньюаре и чуть не бегом обошла три раза вокруг ратуши по внушению, сообщаемому ей накануне во время магнитного сна. Помня, что *le grand homme est partout où s'étend sa gloire*²⁴, Гюбенталь всеми мерами добивался, чтобы о нем только говорили без умолку. То он пропишет какой-нибудь грязной и вонючей еврейке такой рецепт *Rp. Aquae fluvialis*²⁵ XXX V.D.S. для омовения, то обрежет ноги поросенку и пришьет к нему утиные лапы, то обрубит хвост коту с целью прирастить к нему петушиный гребешок, то, наконец, выкинет какой-нибудь кунштюк совершенно иного рода. Вот один из множества последних.

В одном доме сошелся Гюбенталь с молодым человеком, г-м Богомольцем, единственным сыном бывшего и уже покойного губернского предводителя дворянства, оставившего после себя многочисленное семейство, состоящее из шести или семи дочерей, взрослых и подлетков. Все они нисколько не были похожи ни на мать, ни на брата, ни даже между собою. Одна, красивейшая из всех, по общему мнению, была настоящая цыганочка, другая смахивала на сентиментальную немочку, третья была какого-то размашисто-гайдамацкого пошиба и т.д. Сотустая молва когда-то носилась,

²⁴ Великий человек всегда там, где о нем идет слава (франц.).

²⁵ Возьми речной воды (лат.).

что маменька всех их в молодости своей, как говорится, гуляла. Но ведь молва что волна – поднимется и уляжется, а именно в это время она улеглась совершенно. Муж скончался, а сама маман была в таком уже возрасте, когда и страсти и страстишки тоже улегаются.

Богомолец рассказывал:

– В подобном случае, я помню, покойный отец мой поступил...

– Вы про кого это говорите? – прервал его Гюбенталь.

– Про отца моего, – возразил Богомолец.

– Какого?

– Кажется, очень понятно, что про бывшего губернского предводителя Ромуальда Богомольца. Я полагаю, что вы его знали.

– Как же, знал. Но позвольте мне сделать маленькое предостережение: определяйте людей поточнее!

– Это что? – спросил в недоумении Богомолец.

– Очень просто. Сказали бы: покойный муж моей матери, и, поверьте, никто не усомнился бы, что вы говорите именно о господине бывшем губернном предводителе Ромуальде Богомольце, но вы выразились слишком неопределенно.

– Милостивый государь, вы поносите и меня, и все мое семейство. Этого я простить не могу, и ежели в вас есть сколько-нибудь понятия о чести, то, надеюсь, что вы не откажетесь явиться завтра в 8 ч. утра у роши в Лукишках, на берегу Двины. Я буду вас ожидать, – высказал горячо Богомолец и быстро удалился.

– С удовольствием явлюсь непременно, – ответил Гюбенталь уходящему.

Губернатор узнал о происшедшем в тот же вечер и поручил одному из своих чиновников и полицмейстеру во что бы то ни стало воспрепятствовать дуэли. Поздно ночью полицмейстер получил от Гюбенталья следующий ответ: «Сообщите г-ну губернатору, что я на назначенное место и в назначенное время явлюсь, но не подам ни малейшего повода к вмешательству полиции. Можете сами быть там и воочию убедиться в правде моих слов».

К утру весь Витебск был на ногах. К половине восьмого под крыльцом стоял уже фэтон с баронским гербом; Гюбенталь вышел, уселся в нем и быстро покатил по направлению к Лукишкам. Толпа зевак двинулась за ним, кто шагом, а кто и бегом. Он подъехал к назначенному месту, раскланялся с Богомольцем и двумя его секундантами, вынул часы и молча показал их. Было ровно 8 часов.

– Вы одни? – спросил Богомолец.

– Как видите, – ответил Гюбенталь.

– И без оружия?

– А на что оно?

– Как на что? Шутите вы что ли, милостивый государь? – вскричал Богомолец.

– Я вам заявляю, что один из нас должен здесь остаться!

– И прекрасно! Так вы и оставайтесь, а мне некогда. Прощайте, – сказал Гюбенталь, завернул фаэтон и ускакал.

– Я место обстреляю! – кричал оставшийся Богомолец.

– Стреляйте, quantum satis²⁶! – ответил Глобенталь, откланиваясь вежливо ему, равно как потом и другим знакомым, шедшим толпой из города.

Полицмейстер со своими подчиненными, вышедши из рощицы, где они прежде скрывались, отправился тоже в город. Богомолец и его секунданты сделали больше десяти верст кругу, чтобы избежать встречи с увеличивающимся ежеминутно числом любопытных. Материалу к судам, пересудам и сплетням хватило недели на две. Имя Гюбенталья не сходило с языка, а этого только и требовалось.

Для полнейшего очерка столь типической по своему времени личности должен еще прибавить, что в герршафте его Карлове ни один человек не заболел холерой, хотя в брошюре г-на Гюбенталья рассказаны чудеса, какие крепкое кофе оказывало там при лечении этой болезни.

Замечательною тоже личностью того времени был загадочный как родом жизни, так и трагической кончиною, некто магистр философии Ив.Ив. Вирло. Он был всегда одет очень прилично, даже щегольски. Фрак был неизменным его костюмом. Нанимал он квартиру в одну комнату средней величины, мебель имел свою, очень даже шикарную. Выписывал постоянно газеты русские, польские, французские и одну немецкую. Курил дорогие гаванские сигары и постоянно имел у себя сотню-другую рублей на непредвиденные расходы. А между тем не имел никакого постоянного занятия, могущего приносить какой-нибудь доход. Ночевал по большей части дома, но обедал неизвестно где, по крайней мере, не в своей квартире, где редко даже спрашивал самовар, хотя по договору имел право на два в сутки. За обеденный стол в гостях он нигде и никогда не садился. Вся прислуга его состояла из 16 или 17-летнего мальчика, сына какой-то прачки, являвшегося ежедневно по утрам для чистки платья и сапог и для уборки комнаты и кровати.

²⁶ Сколько угодно (лат.).

Более двух лет я занимал соседственную с ним комнату и видывались мы почти ежедневно; и, несмотря на то, он во все это время выпил у меня не больше трех стаканов чаю и одного стакана кофе и то без сахара, да еще одну рюмку вина в день моих именин. Через два или три месяца нашего сожительства он сам предложил мне пользоваться получаемыми им газетами и хотя небольшою, но отборною его библиотекою, состоящею преимущественно из французских книг; и тогда дверь, соединяющая наши комнаты, прежде наглухо забитая, была открытая, и мы могли иметь сообщение между собою, не проходя по коридору. Гостей у него не было никаких, а посетителей он всегда приводил с собою. Посетители по большей части уходили сейчас же, получивши просимое; с некоторыми только он разговаривал около получаса и никак не дольше. Вот какие разговоры мне пришлось слышать:

– Не понимаю, коллега, почему ты, имея диплом, да еще и какой, не хочешь поступить на службу. Ведь ты мог бы сделать себе славную карьеру, – говорил пришедший учитель гимназии Суходольский²⁷.

– В том-то и дело, что я не хочу быть карьеристом. Мне очень неприятно слышать от тебя этот вопрос. Ну, вот, ты на службе, а сделал карьеру? Тепло ли тебе самому на свете, а не только другим от тебя? Да и сделал бы ты, как говоришь, карьеру, чем же сделался бы сам? Чиновником, т.е. дармоедом, паразитом и даже кровопийцею! Нет! На службе служить человечеству невозможно. Ты и множество подобных тебе «служат несомненным тому доказательством», – ответил Вирло.

Суходольский возразил ему что-то.

– Оставь этот разговор, прошу тебя, ежели не хочешь ссориться со мною. Ты был честным человеком и не будешь подлецом – этого с тебя и довольно. Но ты родился тряпкою, а я тряпкою не сделаюсь.

В другой раз я слышал такие слова, обращенные к какой-то неизвестной мне личности:

²⁷ Суходольский Юлиан Михайлович, в 1824–1829 гг. преподаватель естественной истории, технологии и химии в Витебской мужской Александровской гимназии. Окончил курс учительской семинарии при Виленском университете. Издал «Политическую географию» и «Описание 5-й части света или Океании» (на польском языке). Был уволен из гимназии «за ябедничество на директора Телешева» (Сапунов А.П. *Историческая записка 75-летия Витебской гимназии. 1808–1883*. Витебск, 1884. С. 110).

– Да. Положение ваше нехорошо. Помочь вам необходимо. Но вот беда в чем: вам теперь нужно не менее 60 рублей, а я сейчас не могу издержать столько. Выбирайте: или возьмите теперь 25 рублей, а за остальными 35-ю приходите послезавтра, или не берите ничего, а тогда получите, сколько вам будет нужно.

– Как я вам благодарна, Иван Иванович за ваше беспокойство. Ведь все пошло отлично, как по маслу. А то приходилось хоть плачь! – говорила вошедшая в комнату Красовская, немолодая уже девица, получавшая из казначейства после смерти отца полковника или генерала пенсию.

– Зачем плакать? Нужно в таком случае смеяться, но смеяться так, чтобы плакал тот, кто хочет, чтобы вы плакали. А что N? Я думаю, прыгал он перед вами, – спросил Вирло.

– Уж и как еще.

– И вы не смеялись?

– Мне его стало жалко, – сказала Красовская.

– Позвольте вам сказать, что жалеть мерзавцев – непростительный и смертельный грех.

Обстоятельства дела г-жи Красовской мне неизвестны, но как обращался Вирло с теми, кого называл мерзавцами, раз только мне удалось видеть.

– Что вам нужно от меня, что вы ко мне пристали, зачем пришли. Нет у меня для вас ни копейки, уберите вон! – кричал он, выталкивая в дверь какого-то тщедушного вошедшего с ним господина.

Я заглянул в его комнату.

– Доносчик, фискал, шпион, бестия! И пристаёт еще – помоги ему! – обратился он ко мне в сильнейшем раздражении.

Это был, как я узнал после, некто Кишка – музыкант, танцмейстер, живописец и преподаватель французских, немецких, итальянских и прочих уроков, родной и неотродный братец издателя огромнейшей по формату газеты в Петербурге на шести языках, купец, Le Marchand, Der Kaufmann и пр., подписывавшегося граф Викентий Кишка-Жгерский из Цехановца²⁸.

²⁸ Кишка-Згерский Викентий Андреевич (конец XVIII в. – 1840?), литератор, петербургский чиновник и издатель. Его литературные произведения были осмеяны Адамом Мицкевичем.

Вообще мой соседка был очень скуп на похвалы при оценке людей, и за то многие в городе его недолюбливали. Генерал-губернатора он величал ухмыляющимся сиятельством, а Гюбенталя не звал иначе как трансцендентальным акробатом. К женщинам он был далеко снисходительнее и в обществе их был неловок, молчалив и застенчив.

Не избежал однако и Вирло стрел проказника-Амура, и влюбился горячо и страстно, а вместе с тем как-то причудливо и оригинально. Предметом его любви сделалась премиленькая актриса Августа Кольбе, исполнявшая первые роли на сцене витебского театра. Она была в явной любовной связи с актером Квятковским, считалась его невестой, не подавала никому ни малейшего повода к ухаживанию за нею и скромно уклонялась от притязаний назойливой молодежи. Играла она очень недурно как для провинциально театра, а в роли Офелии могла бы состязаться с лучшими столичными артистками.

Был какой-то праздничный день. Вирло оставался дома, и я из своей комнаты вошел к нему. Он сидел за столом и рисовал цветными карандашами. Взглянув на рисунок, воскликнул я: «Офелия, настоящая Офелия!»

– Августа, миленькая Августа, – сказал он, поправляя меня, и, помолчавши несколько, спросил:

– А что, ведь прехорошенькая. Не правда ли?

– Да, хороша и мила, – отвечал я.

В это время вошел Суходольский и, наслушавшись восторгов Вирлы, «э, коллега!» сказал:

– Да ты втюрился в нее! Что ж? Посватайся и женись!

– Женись! Вот еще! Впрочем, это по-вашему. Да можно ли жениться на обожаемой женщине? С ума сошел! Женись на ней и оскверни ее!

– Опомнись! – сказал Суходольский. – Ты сам, брат, с ума спятил. Послушай же меня, уж хоть как натуралиста, ну хоть как официального только преподавателя естественной истории. То, что ты называешь осквернением, то и составляет настоящий стимул любви в природе. И попробуй любимой тобою, влюбленной в тебя и находящейся уже в твоих объятиях женщине сказать, что ты никогда не женишься на ней и ни за что не осквернишь ее – с ужасом отвернется она от тебя и с ярою ненавистью оттолкнет тебя.

Но все убеждения Суходольского остались втуне. Вирло преследовал везде бедную Августу, ухаживал за нею неотступно, приставал к ней постоянно с одною только просьбою – позволить ему созерцать ее. Станет пред нею молча, глядит на нее,

потом попросит позволения поцеловать у нее ручку и пойдет довольный и обрадованный донельзя. Более полугода продолжалось это созерцание совершенства и неизвестно, чем бы оно кончилось, ежели бы труппа актеров, а с ними и не знавшая уже, что делать и совершенно почти растерявшаяся Августа Кольбе не уехала из Витебска. Более месяца Вирло тосковал по ней, и только одно совсем непредвиденное событие оправило его от этой трансцендентальной платонической любви по номенклатуре Суходольского.

Вдруг грохнула весть по всему городу, что приехавший ремонтёр какого-то гвардейского полка застрелился, и что причиною его самоубийства был проигрыш Вирле всей значительной суммы казенных денег, у него находящихся. Я при первом свидании с Вирлою спросил его:

– Слыхали ли вы новость о гвардейском ремонтёре?

– Застрелился. Одним паразитом меньше стало, и все тут, – ответил он прехладнокровно. Я спрашивать больше не собрал духу.

Странное дело! В квартире Вирлы не было ни одной талии карт, и от коммерческих игр, когда его приглашали, он постоянно отказывался. Но что еще удивительнее, после такого огромного выигрыша образ жизни его ни в чем не изменился: та же квартира, та же прислуга, одним словом, ничего не прибыло и не убыло в окружающей его обстановке.

Через полгода после того мы расстались. Он ездил зачем-то в Вильну и, возвратившись, остановился на другой квартире. Дальнейшая история его жизни известна мне только по рассказам.

Спустя года два или три он обыграл в пух и в прах другого ремонтёра, родственника князя Хованского. Тот не стрелялся, а как человек более практический обратился к своему дядюшке с жалобой вытребовать проигранные казенные денежки.

Долго добивался генерал-губернатор у Вирлы и просьбами, и увещеваниями желаемого возврата. Ничто не подействовало. Вирло был арестован, содержался более двух недель на гауптвахте, в квартире его был произведен обыск, имущество его было описано и старательно пересмотрено, в бумажнике его нашли рублей с полтора и – все тут. На вопрос «где выигрыш» последовал краткий, но решительный ответ: проиграл. Кому? Неизвестным людям, при игре ведь ни паспортов, ни даже звания играющих не спрашивают. Раздосадованный Хованский сослал его административным порядком в Смоленскую губернию в город Вязьму под строгий надзор полиции. По прибытии туда Вирло купил целый пуд так называемых цукатных высшего сорта вяземских пряников, штемпелеванных надписью «сия коврижка вяземская есть» и послал с накладною в

Витебск в знак признательности его сиятельству. Что сделалось с проигравшимся ремонтером осталось в тайне. Кажется, он вернулся в Петербург. Дальше ехать и не с чем и незачем было.

По смене Хованского генералом Дьяковым²⁹ Вирло по настоятельной просьбе вяземских купцов, не могших стерпеть его едких насмешек над их прозябательною жизнью и над священными для них предрассудками, был возвращен в Витебск. Но тут недолго он профигурировал.

В одно морозное январское утро под стоящими у городской площади яслями, назначенными для покормки извозчичьих лошадей, лежал в одном только белье, даже без сапог, полузамерзший человек. Язык у него был вырван, а руки и ноги переломаны. Это был Вирло. Его отогрели и привели в сознание, но на все вопросы он не имел средства отвечать ни словесно, ни письменно, и к вечеру того же дня умер. Убийцы не были открыты и даже в подозрении никто не остался.

Суходольский, более прочих близкий к нему, выслуживший уже эмеритуру и, по отмене преподавания естественных наук в гимназиях оставшийся за штатом, еще до возвращения Вирлы в Витебск впал в ипохондрию, чуждался и боялся всех, грустил, тосковал и сделался каким-то эксцентричным неряхою. Через несколько дней после смерти Вирлы он шел по улице и упал в страшнейших судорогах падучей болезни. Его снесли в городскую больницу, и там он прожил еще суток двое или трое.

При описи имущества Вирлы найден был в его квартире в изящной рамке под стеклом нарисованный им портрет Августы Кольбе, виденный мной потом у жандармского полковника Певцова или Слепцова (хорошо не помню). У Суходольского же кроме носильного платья и грязного белья ни нашлось даже ни одной копейки.

Что это были за люди? Одно только известное мне обстоятельство может дать хотя не совсем полное, но довольно верное объяснение по этому вопросу.

Когда мы с Вирло квартировали вместе, я однажды показал ему свою шкатулку с секретом, состоящим из двух ящичков, очень искусно скрытых, и о существовании которых нельзя было и подозревать. Он любовался ею и хотел обзавестись такою же. Но как не находил мастера, которому можно было доверить такую работу, то дело оставалось без дальнейших последствий и было забыто. Как вдруг Вирло вошел в мою комнату.

²⁹ Дьяков Петр Николаевич (1788–1847) был Витебским, Могилевским и Смоленским генерал-губернатором с 1836 по 1845 гг.

– А что, секретные ящички ваши ничем не заняты? – спросил он.

– Заняты разными мелочами, только совсем уж не секретными, – отвечал я.

– Не могли бы вы сделать мне одолжение, припрятать в них тоже какую-нибудь мелочь на несколько дней?

Я согласился. Вирло вручил мне небольшой сверток бумаги с чем-то твердым внутри. Я при нем же вложил его в один из ящичков и запер шкатулку.

– Да! Еще одно! Я запиру на замок дверь, соединяющую наши комнаты, и ключ возьму с собою. Ночевать дома не буду, – прибавил он, уходя.

Утром на другой день я слышал за дверью шорох и какой-то тихий говор, но полагая, что там мальчик убирает комнату, не обратил на это ни малейшего внимания.

– У нас сегодня были гости, – сказала мне служанка, внесшая кипящий самовар, приготавливая чайный прибор.

– Кто? – спросил я.

– Да жандармский офицер, полицмейстер и еще какой-то толстяк во фраке, с жандармами и десятскими. Привели с собою Петрушу (мальчика, у которого был особый ключ от дверей из коридора), пошарили на столе и этажерке, покопались в кровати и под кроватью, перетрясли и в книгах, и в бумагах, оставили Петрушу убирать комнату и ушли.

– Унесли же что-нибудь с собою?

– А Бог их знает. Кажется, ничего. Покачали головами, посмотрели на стены и на потолок. А толстый жандарм махнул только рукою и, смеясь, «хватай ветер на вилы» сказал полицмейстеру.

Я поспешил скорее отпить чай. Служанка ушла, а я, затворив дверь за нею, бросился к своей шкатулке.

В бумажке нашлись: золотые булавки с головками в виде черных треугольников с белыми серебряными каймами, какие-то пряжки с изображениями то молотка с лопатой, то раскрытого циркуля, лежащего на поперечной линейке, бронзовая медаль с неизвестною мне надписью, похожею на еврейскую, но не еврейскою (должно быть финикийскою или халдейскою), и, наконец, значок – солнце, охваченное ножками стереометрического циркуля. С удивлением и каким-то трепетом внимательно пересмотрел я эти вещицы, завернул по-прежнему в бумажку и положил обратно в ящичек. Я догадался, что это были масонские значки. Через дня три или четыре Вирло взял их у меня обратно.

В Витебске против поиезуитского монастыря, за домом губернатора, подымается высокая и обрывистая гора, поросшая старыми березами и называемая вокзалом. Среди этого-то вокзала я помню деревянную, довольно просторную постройку, состоявшую из обширного срединного зала и двух боковых комнат с передними. Постройка была уже ветха и стояла пустою, а потом и исчезла бесследно. В ней-то помещалась во времена оные масонская ложа.

Хоть масоны были строго преследуемы, ложи их закрыты, и каждый, поступая на службу и при получении чина обязывался подпискою о непринадлежности к ним, но это, по-видимому, не мешало дальнейшему, хотя тайному, существованию этого отжившего уже свой век института.

И Вирло, и Суходольский были масоны. Твердый и упругий характер первого поддерживал в нем энергию в борьбе за жизнь, и он погиб ярким протестантом. Второго, мягкого и уступчивого, заела житейская ржавчина.

При воспоминании о них я невольно спрашиваю: какие еще дети были тогдашние масоны. Не отрицая при обширности распространения общества необходимости условных примет, я полагаю, что приметы эти должны иметь особенные свойства: быть и не быть. Как пароль, так и лозунг не должны быть ни вещественны, ни письменны, ни словесны. Один условный жест в движении, одна условная поза в покое достаточны для ориентировки в плавании по житейскому океану. Надевать же на себя булабочки, пряжки, значки, дорожить ими и хранить их – это уже крайне наивно, потому что все они могут служить вещественными уликами в следственных комиссиях и судах. Лет 30 после того профессор Ешевский показывал мне в Москве масонский архив и их регалии. Он получил их в приданое за женою от генерала Дубельта. Вот предел, иже не перейдеши!

Глухо, как будто из скрытой за горизонтом тучи, пророкотала между витебскими евреями весть о смерти императора Александра Павловича. Вай, вай, шварц – ёр, пошепывали они со стоном. Через неделю и из Петербурга пришло официальное известие об этом событии с повелением присягать новому государю Константину Павловичу. Жители Витебска хорошо помнили князя Константина с 1815-го года и с подобающим смирением присягнули. Как вдруг неожиданно и негаданно приходит другой приказ: присягать Николаю Павловичу. «Ой, капорес!» – протяжно и тоскливо простонали жидаы, а христианское население как будто и повеселело. Впрочем, это, быть может, мне только так показалось.

М. Маркс

Витебск 1821–40

III.

Войны персидская 1827 г. и турецкая 1829 г. кроме прохода войск и прохода нескольких турецких пашей чрез Витебск прошли бы совсем незаметно, ежели бы одно особенное обстоятельство не озадачило сильно белорусских жидов.

Богатый откупщик Гинцбург³⁰ взял на себя поставку провианта для дунайской армии, и целая толпа бедных евреев в виде поверенных, приказчиков, подносчиков, сидельцев и извозчиков вереницею потянулась из города за полками. Двое из них, Мордух и Биня захотели сделать самовыгоднейший гешефт, и где-то за Дунаем вызвались произвести разведку в турецком лагере, рассчитывая на пособие со стороны тамошних своих единоверцев. Но тут-то они и ошиблись в расчете: единоверцы же связали их, как баранов, и потащили к агорьянам на жертву Ваалу. Турецкий паша, который до того успел уже повесить трех шпионов, и все из детей Израиля, чтобы раз и навсегда избавиться от столь милых посетителей, выказал пред ними всю свою азиатскую энергию. Они были введены к нему в палатку и в присутствии его выдернули два конца поданного им платка. У Мордуха оказался узелок, и это было его смертельным приговором. Перед палаткою же его раздели донага, и стали снимать ятаганом кожу, начиная с темени и вдобавок посыпая солью обнаженные уже части тела. Операция эта продолжалась больше часа, а через часа еще два или три бедный страдалец отправился прямо на лоно праотца своего Авраама. Биня все это время связанный стоял тут же и смотрел как на производство казни, так и на страшную агонию своего товарища по службе. Мордух уже не дышал, когда паша вышел из палатки, приказал развязать Биню и преважно через переводчика сказал ему:

– Возьми кожу, снеси к пославшим тебя и расскажи все, что ты видел.

Биню вывели из лагеря, и он цел и невредим с кожей Мордуха возвратился восвояси. Кожа эта похоронена была с возможною по обряду ветхозаветному торжественностью.

³⁰ Речь идет о Евселе Гинцбурге. См. прим. 2.

– Ну, а после нашлись ли еще охотники заглянуть в неприятельский лагерь?

– Ай вай! Цтоб скуру слупили? – отвечал Биня. – Який цорт захоцець туда заглянуць? Ни! Никто и ни за цто!

Белорусские евреи никоим образом не могли понять, как их же единоверцы, забывши хирам, выдавали их. Но вскоре горько и очень горько пришлось им разочароваться в вере во взаимную приверженность даже среди своей семьи. Недаром охали они и стонали при вести о кончине Александра Павловича.

В Книге царей сохранилось предание, что Давид приказал произвести народную перепись, чтобы узнать число своих подданных. Это почему-то не понравилось Егове, и он наказал строптивного и стремившегося к знанию царя повальным мором, значительно уменьшившим численность евреев и приведшим Давида к смиренному покаянию. И вот, бывало, спросишь у еврея, есть ли у него дети. «Ну! Есть, нехай будущь здоровеньки», – ответит он.

– А сколько их?

– Я не считав, да и на цто вам это!

Больше не добьетесь.

Сорванцы мальчишки, особенно кантонисты, пользовались этой счетовобязнью. Напр[имер], сидит еврейка у лотка с пряниками, орехами, яблоками и другими лакомствами; к ней смиренно подходит незнакомый шалун (один или с товарищем) и начинает что-нибудь торговать, перебирая товар на лотке, схватывает, что ему понадобилось, и убегает поскорее. На крик еврейки «вай! гевальт!» за похитителем бросается вдогонку по крайней мере десяток жидов; а тот, отбежав несколько, останавливается, поворачивается к погоне и начинает считать: «Один, два, три...», указывая на каждого рукою. «На свою голову, коли б тебе хвароба!» – кричат евреи, закрывая лицо руками, разбегаясь во все стороны и прячась от сорванца как попало, лишь бы скрыться от его взора и не подвергнуться счету. Можно по этому судить, как составлялись сведения о числе еврейского населения и насколько сведения эти были верны. Было над чем задуматься администрации, когда уже официально сделалось известным, что рекрутские наборы будут производиться со всех податных состояний, т.е. крестьян и мещан без различия вероисповеданий, следовательно, и из евреев. Глубоко призадумались евреи и приуныли, глубоко призадумалась администрация и вот что придумала!

В одно очень непрекрасное, потому что, кажется, октябрьское утро мирные жители города были вдруг разбужены криком, воплем, визгом, ревом и воем голосов на

улице. Сотни евреек, не одетых, в одних даже грязных рубашках, без юбок, босиком, с бритыми головами и без повязок бегали и металась по улицам в разных направлениях. Кое-где городские полицейские десятники, гарнизонные солдаты и жандармы палками, ружейными прикладами и сабельными ножами отбивались от них и разгоняли их подальше от себя. Суматоха страшная, и никто не знает, что это такое: пожар, наводнение, грабеж? Нет, это ни более, ни менее, как набор евреев в рекруты.

Секретно было предписано набрать детей еврейских от 10 до 14 лет и поставить их по два за одного рекрута. И вот секретно же истребованы были у раввина списки детей означенного возраста, секретно тот же раввин доставил из жидов десятка два оборвышей и негодяев, секретно по указанию этих лапсердаков (как их звали их же единоверцы) ночью поставлены были караулы у всех домов, занятых евреями, и перед рассветом, уже не секретно, а явно сделано было нападение на эти дома. Не успели и опомниться эти евреи, как все их дети были уже взяты и загнаны в назначенные в разных местах города сараи. Когда уже совсем рассвело, крик евреек несколько успокоился, и на улицы показались и евреи, тоже большею частью полуодетые, без шапок, только в ермолках и много тоже босиком. Они уже не кричали, не выли, а тряслись, как в лихорадке, и безумно металась из одной улицы в другую. Вот один схватил себя за пейсы и покачивает голову то вправо, то влево, вот другой вцепился обеими руками в свою бороду, а там третий вперся лбом в фонарный столб и стоит неподвижно. Страшная, потрясающая и вместе с тем отвратительнейшая картина! Кто видел ее, во всю жизнь не забудет. Сомневаюсь, происходило ли что-нибудь подобное при нашествии галлов и с ними двенадцати язык!

В продолжение дня суматоха несколько раз возобновлялась. Из сараев под многочисленным конвоем стали выводить жиденят в изорванных только рубашонках и босых в рекрутское присутствие. Отцы и матери бежали и впереди, и сзади, и по сторонам конвоя. Крик, визг, рев опять сливались в один какой-то громкий и протяжный стон, какой-то адский вой, который ни Мейербер в Роберте Дьяволе, ни Берлиоз в Фаусте не выразили и не могли бы выразить никаким сочетанием звуков, хотя бы имели под рукою вдвое большее число музыкальных инструментов. Я видел, как одна мать прорвала цепь конвоя и схватила свое детище. Солдаты немилосердно били ее прикладами, и она лишилась чувств, но так крепко ухватилась за плечо ребенка, что не скоро и с большим трудом могли разнять ее сжатую пясть. Жиденок визжал от страха и от боли, вся рука его вздулась и побагровела, а на плече видны были темно-синие следы пальцев.

Не знаю, как подействовало на других это бесплатное драматическое представление, данное генерал-губернатором кн. Хованским и режиссером правителем его канцелярии Глушковым, но я с тех пор начал впадать в какое-то тетаническое состояние при каждом отчаянном крике или стоне женщины; и тогда же при всем своем чуть не детском возрасте сознал, что к военной службе я не годен и что не бывать мне никогда не только храбрым солдатом, но даже и храбрым генералом.

В присутствии никого не браковали, отобрали только калек и отпустили их. Паршивых и чесоточных немедленно отделили от здоровых и разместили порознь в жандармских и кантонистских казармах. Здоровых сейчас же наряжали в белье, полушубки, фуражки и сапоги и высылали из города партиями. Больные оставались до излечения, но не могли видаться ни с родителями, ни с родными.

В один день с ума сошли две еврейки, утопилась в Двине одна и более десятка избитых были подняты на улицах. Утопленницу вынесло потом на берег где-то повыше Маркова монастыря.

Лапсердаков отправили с солдатами и членами земской полиции в деревни к проживающим по корчмам и мельницам евреям. Там, по всей вероятности, повторилось то же, но, разумеется, в миниатюре только.

Более недели прошло, пока город наконец успокоился. Нужное число было скомплектировано, и даже нескольких из оставшихся больных возвращено домой как лишних.

В следующие годы наборы производились уже не секретно и потому тихо, хотя тоже не без плача и воя, но, по крайней мере, этот плач и вой раздавался где-то внутри стен, а не на улицах и не при столь эффектной обстановке.

Биня, опрошенный при мне, где евреи лучше – в Турции или здесь, помявшись несколько, ответил:

– Ну! У нас нашлось только двадцать, а там все сплошь лапсердаки.

О раввине он промолчал, как и следовало благоразумному жиду.

IV.

Настала проческа дворянства. Все, носящие имя благородных, должны были чрез уездных предводителей представить документы своего происхождения в так называемое депутатское дворянское собрание, откуда они пересылались в Петербург на рассмотрение и утверждение герольдии. В прежней Польше военное или рыцарское сословие обязано было защищать всех прочих жителей страны от нападений

неприятных соседей, составляя высшую касту в народе под именем шляхты. Оно владело и землями, оно управляло государством посредством сеймов, без соизволения которых королевская воля не имела никакого значения. Шляхта эта очень дорожила своим званием, сопряженным с огромнейшими привилегиями, и гордилась им, но гордилась не на бумаге, а на деле. Гербовники Папроцкого и Несецкого были не иное что, как создание пустой гордости дутых магнатов и льстивой низкопоклонности их блюдолизов, но никак не официальными документами. Шляхта, обязанная по первому призыву сейма являться с оружием в руках на боевом коне под знамя своего округа, очень хорошо знала своих собратьев, знала их способности, их заслуги, их происхождение, службу их предков и родство с другими семействами, не внося этого в официальные акты. В отдаленной окраине в случае сомнения в чем-нибудь шляхетстве довольствовались свидетельством нескольких собратьев шляхтичей. Городские мещане по магдебургскому праву могли тоже владеть землями и отдавать их за условную ежегодную плату желающим на них селиться. Все это делалось домашним, семейным образом, без официальных актов и документов, а взаимная порука была и правом владения, и контролем в случае злоупотребления этого права. Начавшиеся при Сигизмунде III войны разорили многих землевладельцев, и они в крайности продавали свои участки соседям, менее пострадавшим, и плотное шляхетское братство, не допускавшее прежде учреждения орденов и отличия титулами (кроме княжеского для потомков Рюрика, Гедимины и Лездейки), распалось на три группы: магнатов – с обширными земельными владениями, иногда целых провинций, панов – имеющих небольшие участки, и чиншевиков, сидящих на чужой земле и вносящих за то плату владельцам. Карл XII и Петр Великий хозяйничали в Польше произвольнее даже, нежели у себя дома. Магнаты и паны одни стояли за саса, другие за шведа. Произошли крутые передраги. Многие магнаты потеряли все, что имели, а на их место выросли новые из панов, зато многие паны сделались чиншевиками, а из чиншевиков вышли очень солидные паны. Путаница произошла страшная, и она усилилась в последние годы существования Польши, что называется до нес plus ultra³¹. Явились паны новой категории – доробковичи (из прислуги магнатов и крестившихся евреев), нажившие per fas et nefas³² денежку и под покровительством одной из борющихся партий закупившие земли у разорившихся панов. Эти-то доробковичи составляли настоящую язву

³¹ До крайних пределов (лат.).

³² Правдами и неправдами (лат.).

шляхетства, которое, хотя и с пренебрежением сторонило[сь] от них, но не имело никакой возможности контролировать их поступки и обуздывать их своеволия. В таком виде Белорусия перешла под владычество России, и вся шляхта вместе с доробковичами переименовалась в дворян. Земли магнатов большею частью были взяты в казну и вместе с королевскими розданы Екатериною II и Павлом I лицам разных народностей и разных достоинств. Часть панов эмигрировала, а остаток их с доробковичами, число которых еще более увеличилось, составил класс дворян-землевладельцев или помещиков. Чиншевики же превратились в дворян безземельных, которые в то время в домашней жизни ничем уже не отличались от крестьян. И они, и жены их, и дети дома и в будние дни одевались также в зипуны и в лапти, а в праздники только или при посещении города мужчины надевали сапоги и серые чамарки, а женщины – чулки, черевики и платья. Какие не на есть, то роброны века Людовика XIV, то короткорукавые декольте времен революции. Замужние являлись и в чепчиках, большей частью чудной какой-то вавилонской архитектуры. Между собою говорили все они по-белорусски, только каждый хозяин звался пан, хозяйка – пани, сыновья их были паничи, а дочери – паненки. Понятно, что я, как молодой повеса, более прочих наблюдал паненок. Все они хотели говорить по-польски, но это им окончательно не удавалось. Они думали, что белорусское слово, произнесенное в нос с прибавкою звука ж после р делается польским, и потому «pies siedzi na progcu» выговаривали «пенс сендзи на пржогу». Между ними много брюнеток и даже встречаются горбоносенькие. Они пололи в огородах, ходили с граблями на сенокосы и жали в полях, как и крестьянки. Последнюю работу совершали однако же в нитяных или шерстяных перчаточках. Отправляясь, напр[имер], к обедне в ближайший костел, они шли всю дорогу босиком и только подходя к селу или городу, надевали чулки и башмаки и подпоясывались белым коленкоровым передничком. При встрече со знакомыми они низко приседали, и горожане звали их за то panienki fartuszkowe. Хотя они постоянно почти ходили босиком, а все-таки легко было заметить у них haut-pied, тогда как у всех крестьянок без исключения plat-pied³³.

Строго разбирая дело, едва ли сотому представилась бы возможность документально доказать свое дворянство. Отрывочные и частные какие-то купчие и дарственные договоры по-настоящему никак не могли служить родовыми документами. Нужно было прибегнуть к доводам другого рода, более сильным и неотразимым. И вот помещики, все без исключения, доказали свое дворянство, выводя себя в прямой линии

³³ Высокий каблук, обувь без каблука (франц.).

от баснословных Антеноров, Лехов, Пястов, Витолей и пр., а бедные чиншевики зачислены в однодворцы, хотя отцы их, несомненно, были из шляхты, потому что в последних шляхетских ополчениях служили офицерами. В подмене их многие мещане (Белохи, Бледухи, Гацюки, переобразовавшиеся из Силивурок Чербешевичи и пр.) сделались дворянами *sans героче*³⁴.

Крупно нажились тогда чиновники депутатского собрания, напр[имер], какой-то Тарасевич, блистательно доказавший и свое собственное дворянство. Без сомнения, львиная доля убедительных документов завязла в карманах петербургских экспертов герольдии. Но это только гипотеза, ведь *a posse ad esse non est consequentia*³⁵.

Хромой фактор наш Янкель презентовал мне однажды целую кипу старой пожелтевшей и даже побуревшей, подмоченной и даже полусгнившей бумаги, спрашивая, не нужна ли мне эта драгоценность и предлагая продать ее за очень сходную цену, по пяти рублей за лист. Я посмотрел – и что же? Это была гербовая бумага разных годов последней четверти прошедшего столетия.

– Нет, мне не нужно. Да и кому и на что она может годиться? – сказал я.

– Як на цто? А в герольдию!

И тут Янкель преподобно объяснил мне, что эту бумагу покупают наперебой, что на ней господа чиновники Свирщевский, Жабко и другие пишут особенными какими-то чернилами, рисуют генеалогические деревья и гербы, прикладывают сообразные печати; что, заплатив 5 рублей за лист, можно продавать нуждающимся по 50 и даже по 100; что он только по уважению и преданности предлагает мне эту верную сделку. По совершенной моей неспособности к гешефтам я все-таки не купил тогда ни одного листа, но знаю наверное, что не более как чрез месяца два дальний мой родственник по матери некто Шидловский снесся с Янкелем и взял у него несколько листов по несравненно высшей цене.

Откуда же эти янкели добывали столь курьезный товарец и удовлетворяли сполна спрос на него? На это можно ответить только другою гипотезою.

В Могилевской губернии есть местечко Шклов, пожалованное Екатериною II графу Зоричу, основавшему там кадетский корпус. Корпус этот потом был перенесен в Смоленск, а оттуда в 1812 г. в Москву, где, переименованный в военную гимназию,

³⁴ Безупречный (франц.).

³⁵ Между возможным и настоящим нет согласия (лат.).

находится и теперь. Но в Шклове кроме корпуса, основано было и другое не менее замечательно заведение.

К Зоричу как к брату по матери приехал серб Неранчич, который привез с собой братьев Замовичей, уроженцев Далмации (не черногорцев ли?), гениальных экспертов по финансовым делам. Эти-то братушки из любви к покровительствующей им России и с целью обогатить ее, вероятно, не без соизволения своего патрона завели на большую руку фабрику ассигнаций, процветавшую во все царствование Екатерины II. Со смертью ее фабрика закрылась. Один Занович бежал от Павла I в Бельгию, но там практика его потерпела полнейшее фиаско, и бедняжка представился на виселице. Другой стусевался как-то неприметно.

Корпус был переведен, а фабрика после непродолжительно отдыха начала опять работать под дирекцию уже местных сынов Авраама и Иакова, и, несмотря на строжайшую бдительность администрации и на усерднейшие старания губернаторов, исправников, станowych и целой ватаги полицейских надзирателей и сыщиков, была с небольшими приостановками в полном ходу во все царствование Александра I и Николая I. После ассигнаций гербовая бумага – это не труд, а приятное развлечение!

Во время Крымской войны, говорят, какой-то могилевский капиталист переместил фабрику куда-то на юг, чуть ли не в Бессарабию.

Шклов, вследствие пребывания в нем столь полезного для гешефта заведения, сделался вместе с тем и главным депо контрабанды на всю Белоруссию, не уступая в соревновании старшему собрату своему Бердичеву в Киевской губернии.

Далеко позже, именно в 1839 г. я, проезжая чрез Шклов, встретился с хорошо знакомым мне витебским купцом Шлемою Минцем, приехавшим туда по коммерческим интересам. На предложение его купить что-нибудь по дешевым ценам я согласился, и мы отправились в какой-то мокрый и грязный сарай, куда нам стали приносить разные товары. Глаза у меня разбежались. Трудно себе представить все разнообразие и всю прелесть предметов, предлагаемых вдобавок по ценам баснословно низким! Шелковые материи, бархаты, сукна, часы, кружева – все это приносилось неизвестно откуда и уносилось неизвестно куда.

Я тогда был уже женихом и в восторге возымел глупейшую мысль одеть под венец свою невесту в платье из брабантских кружев.

– Ну, а как сейчас же из-под венца вашу молодую жену в этом же платье арестуют, подумали вы об этом? – сказал Минц, откладывая, что ему было нужно.

Я все-таки не выдержал и кроме отличнейших женевских часов купил еще кружев на чепчик своей невесты. Не рад я был потом этой покупке.

– Ah, mon petit ange, comme tu es belle à présent³⁶! – кричала одна из дам, надевавших чепчик в следующее за браком утро.

– Милашечка, как ты хороша в этом чепчике! – говорила другая.

И все обнимали, жали, душили, целовали, и до того растормошили бедную молодую, что она принуждена была пролежать в кровати всю остальную часть дня. Чепчик восхитил всех без различия народностей, званий и лет.

Генерал-губернатор Бибииков исходатайствовал потом учреждение отделения герольдии в Киеве. Шклов, наверное, снабдил и туда свою гербовую бумагу.

Что настрочили Тарасевичи, Свирцевские, Жабки et caeteri tanti³⁷ на всем протяжении между Неманом и Днепром, то когда-то, без сомнения, делается материалом исторических исследований и источником критических соображений и умозаключений. Но что же тут придется соображать и каких умозаключений можно будет добиться? Перспектива крайне неутешительная, но неизбежная, ежели только прежде весь этот хлам не дождетя своего Омара.

V.

С первых годов царствования Николая Павловича началось так называемое добровольное воссоединение унии с православной церковью. Сперва римско-униатам приказано было именоваться греко-униатами, потом предписано священникам во время службы класть поклоны, а не становиться на колени, затем началось на эктении поминовение вселенских патриархов и т.д., и т.д. Что епископы униатские Семашко, Лужинский и др. действовали по доброй воле, в том не было и теперь не может быть никакого сомнения. Эта воля могла иметь даже собственную свою инициативу, исходящую из выработанного ими же убеждения, или быть воспринятою на сделанное им свыше предложение как уступчивое согласие с их стороны; но только эта добрая воля единичных пастырей никак не была волею всей паствы. И вот, чтобы выпутаться из взятой на себя обязанности, пастыри принуждены были прибегать к средствам, не совсем соответствующим их сану. В 1860 г. еще более двадцати униатских священников, административно сосланных в одну только Смоленскую губернию, съезжались в

³⁶ Ах, мой ангел, как ты теперь прекрасна! (франц.).

³⁷ Другие (лат.).

Смоленск говеть великим постом. А сколько их было двадцать пять лет прежде и сколько недуховных лиц подверглось такой же участи? Вспомним еще и то, что административная ссылка была одним из легчайших наказаний за непослушание, и с более упорными совсем не церемонились. Выходили иногда сцены трагически, а чаще – комические фарсы.

Когда дело дошло уже до открытой игры, и стали вводить в униатские приходы наехавших невесть откуда православных священников, на поприще действий выступил соборный протоирей отец Иоанн Ремезов. И вот какой казус с ним случился.

Явился к нему известный всему городу пьяница и прощельга Лебедевский с заявлением, что он по собственному желанию и убеждению хочет перевернуться, т.е., по местному выражению, принять православие, причем, просил обратить внимание на его усердие и наградить его пятью рублями, назначенными добровольцам из суммы, неизвестно откуда взявшихся, но находящихся в распоряжении отца Иоанна. Обрадованный появлением приблудившейся овечки, отец протоирей выдал ему следуемое с тем, чтобы он завтра в 10 часов явился к нему для формальной записи его в книгу живота. Лебедевский, прокутивши целую ночь и не протрезвившись нисколько, явился в назначенное время, стал на четвереньки, уперся лбом в пол, перекувыркнулся всем телом и «ну, теперь квиты» сказал, приподнимаясь и намереваясь уйти. Его задержали, отправили в съезжую до вытрезвления, пошлепали немножко и потом выпустили, а отец Иоанн вписал его в список сынов церкви.

Возвращаясь из экскурсии в Городецкий уезд, в верстах семи или восьми от Витебска, у сельца Лужесно, я был остановлен целой массой народа, столпившегося у корчмы, стоящей при дороге, по обыкновению, возле церкви.

– Что это такое? – спросил я.

– А приехали переворачиваць, – отвечали мне.

«Посмотрим, как это переворачивают», – подумал я и заехал в корчму, оставил в ней лошадь с возчиком, отправился к церкви, пробираясь сквозь густую толпу крестьян и крестьянок, подошел к ней и вот что увидел.

Дверь церкви отперта, на паперти аналой и тут же хлопчут исправник, становой и губернаторский чиновник особых поручений. Все в мундирах, при шпагах и в треуголках. Тут же был и узнавший меня предводитель дворянства Н.О. Энько, но в качестве помещика и не в форме.

В камилавке и епитрахили с причетниками вышел из церкви протоирей, и треуголки и шапки полетели с голов. Началась проповедь на церковно-славянском языке,

которую и в десятой части не поняли исправник и его чиновники, а ни бельмеса не смыслили остальные слушатели. Красноречиво, цветисто и восторженно говорил проповедник, и чего он только не наговорил, не собрать всего и в три короба! Вот римская ересь, яко блудница, пляшет под звуки домрей, накрей и сопелей: вот волхвы ее остригли власы, сбрили брады, отметали рясы, иже носил сам Спаситель, и чтобы затереть всякое воспоминание о Нем, перестали складывать персты во святое имя Его! Чудна была проповедь, а еще чуднее окончание ее: «О, вы, агнцы, возвращающиеся на лоно призывающей вас матери вашей церкви, идите одесную; вы же, козлища, остающиеся в смрадных гресех своих, и во власти сатаны и агтелов его, вступайте ошую!»

Чиновники и причетники бросились объяснять мужикам и бабам этот эпилог христианского поучения. Толпа заволновалась и устремилась сперва кто вправо, кто влево, но вскоре все слева, как отраженная волна, отбросились обратно и устремились за правыми. Налево в незначительном отдалении стояли два воза с розгами, а при них несколько полицейских сотских и десятских с блестящими бляхами на фуражках; а одесную – две бочки утешительнейшей сивухи! Проповедь возымела полный успех, и обращение совершилось мирно и полюбовно.

После носился слух, что одна новообращенная старушка так глубоко тронулась проповедью отца протоирея, что, возвращаясь в свою деревню версты за три, не дошла домой, упала где-то у забора и осталась там ночевать. Утром ее нашли мертвою и сильно поврежденною в лице, и кем же – увы, свиньями, пойманными на деле и уличенными в преступлении! Как тогда люди были наивны и недогадливы: про польскую интригу в то время никому и не мерещилось! Случись что-нибудь подобное позже, сколько произошло бы шуму, гаму, арестов и допросов, сколько бумаги было бы исписано, и, главное, сколько рублей, не кредитованных, а настоящих, перепало бы в карманы власть имущих?

Но были и настоящие трагедии без комического оттенка.

У одного моего знакомого, жившего за шоссевым мостом, в доме священнической вдовы Слижевской, я увидел старичка, служившего пономарем в Свято-Духовском женском униатском монастыре базилианок. Он сидел скучный, понуривши голову и почти не обращая внимания на окружающих его лиц и их разговоры.

– Ну, что, Иван, сидишь, повеся нос, не поможешь ведь ничем. Ни слезы, ни стоны ни к чему не придадутся. Вот, выпей рюмочку, авось будет легче, – сказала хозяйка дома, поднося ему налитую рюмку.

Он выпил и сидел молча по-прежнему.

Выпил потом и другую, и третью, пока, наконец, язык у него не развязался.

– Охти, завтра пятница, завтра будут пороть мою бабу!

Начались расспросы, из которых выяснилось, что в числе монахинь-базилианок оказалось несколько таких, которые протестовали против повеления сделаться православными. Их заперли особо. Нашлось еще в городе несколько женщин, большею частью старух, последовавших их примеру; и тех засадили туда же. В числе их была и жена Ивана. Их там увещевали не словами, не поучениями (да и откуда было взять эту дребедень?), а постом и физическими средствами. Каждую пятницу в воспоминание страданий Спасителя их отечески посекали розочками.

Бедный старик заливался слезами, а слезы запивал водкой.

В городе рассказывали про страшные страдания, которым подвергались базилианки в Полоцке и Мяделе. Но они до того ужасны, что выходят из пределов вероятия, и, без сомнения, сильно утрированы. В Витебске их только посекали и то с благою наставительною целью.

Разнесся было даже слух, что две базилианки бежали из монастыря и при помощи шкловских евреев-контрабандистов перебрались в Пруссию. Потом явилась в Рим знаменитая Макрина Мечиславская, но она не могла быть одною из тех двух, потому что, как мне это хорошо известно, никакой монахини Мечиславской в Витебске не было.

Вскоре и базильянские школы были закрыты. Учителя латинского языка Копецкий и физики Зенкевич отправлены в Москву для слушания там профессорских лекций, прочие были разосланы в разные местности. Уния в 1835 году в Витебске уже сделалась только преданием.

Но предания нескоро умирают в народе и иногда как бы просыпаются. Что-то подобное случилось в 1878 г.

На север от Витебска простирается огромная песчаная равнина, носящая имя Песковатика. Это голая пустыня. В одном еле-еле пробивающемся из песка ручейке весенняя вода отмыла берег и обнажила большой валун. Не плоский, почти отвесный в сажень вышины поверхности его суеверные жители нашли изображение какого-то святителя и даже какую-то загадочную подпись внизу. Надобно еще взять во внимание и то обстоятельство, что тут же, в виду Песковатика, несколько выше под Двине, стоит опустевшая и превращенная в пороховой склад небольшая церковка, построенная, по преданию, на том месте, где тело убитого в Витебске Иосафата Кунцевича приплыло

вверх по реке к берегу. Пошли толпы по всему городу, и толпы любопытных отправились взглянуть на новое чудо.

Властитель корчмы Разуваевки, лежащей за Песковатиком, вольтерьянец по убеждению (ежели только какие-нибудь убеждения были у вольтерьянцев тогдашнего времени), бывший прежде адъютантом принца Александра Виртембергского³⁸, а теперь помещик Ленкевич убеждал всех и каждого в подлинности чуда, рассказывал, как он, возвращаясь ночью из города, видел у камня ярко горящие свечи и слышал какое-то тихое, восхитительное, ангельское пение. Народ валил толпами к камню, оттуда в Разуваевку и выпивал там водки по крайней мере в десять раз больше прежнего, а это только и нужно было г-ну Ленкевичу, имевшему собственный винокуренный заводец. Fama³⁹ [1 слово на латыни нрзб.] и разнеслась эта fama далеко-далеко. Любопытные, особенно дамы, начали наезжать, чтоб поглядеть на этот камень, и вот что случилось со мною.

Возвратясь в свою скромную квартиру, я нашел визитную карточку с баронскою короною и надписью:

Madame (имени не помню) Mirovitche
ci-devant (тоже не помню)

с припискою внизу карандашом «Hôtel de Riga №2». На другой день часов в 10 я принарядился и отправился в «Hôtel de Riga».

Я нашел даму молодую, пухленькую и соблазнительных форм, всю в бархате и кружевах. Это была мадам Мирович, приехавшая, кажется, из Вильны, где супруг ее был каким-то чиновником, едва ли не полицмейстером. Она восхищалась камнем и хотела бы иметь у себя по возможности точное его изображение. Кто-то отрекомендовал ей меня и, нечего делать, я согласился на ее просьбу, изложенную очень мило. Взял я все нужное для рисования, отправился к камню и что же, могу сознаться, окончательно стал в тупик! Камень как камень, и все тут. С левой стороны протягивается по нем отвесная, довольно длинная, но узкая полоса желто-охристого цвета, изогнутая вверху дугою направо – это мнимый посох. Посредине, тоже отвесно, идет другая широкая и разделяющаяся вилообразно на две короткие – епитрахиль. Над этим развилением в

³⁸ Виртембергский (Вюртембергский) Александр-Фридрих (1771–1833), герцог, родной брат императрицы Александры Федоровны, дядя Александра I и Николая I. Был генерал-губернатором Витебским, Могилевским и Смоленским с 1811 по 1822 гг.

³⁹ Молва (лат.).

уровень с искривлением первой полосы круглое, тоже охристое пятно – это митра. Вот и все, что называлось изображением. Внизу слева вкрапленная слюда образовала довольно правильное кольцо – букву О, а вершков 5 или 6 вправо такая же слюда уложилась в виде обратного латинского V (А или Л, читая по-русски). Что тут делать? Я нарисовал все, что видел, и нарисовал как можно точнее и как сумел отчетливее.

– Что это? Только-то? Где же лик, где сам святой угодник? – с удивлением спросила мадам Мирович.

– Какого там угодника видели вы, мадам? Я присматривался долго и внимательно и не видел ничего более, как только то, что нарисовал.

– И вы не видели самого лица под митрою?

– Не видел.

– Ни глаз, ни бровей, ни носа, ни губ?

– Не видел.

– Ни бороды?

– И той не видел, потому что серый цвет камня ни светлее, ни темнее над развилиною широкой полосы.

– Ну, так excusez-moi, monsieur, и не сочтите за l'impertinence de ma part⁴⁰, когда я скажу вам, что на вас не пала ни малейшая капля божьей благодати.

– J'y consens, madame⁴¹, – было моим ответом.

Я откланялся и удалился. Так кончилось мое знакомство с мадам Мирович, но история с камнем кончилась погромче.

Пытливый ум детей Евы, вкусившей запретного плода, хотел добиться непременно, какой же это святитель явил свой зряк на камень. Местный патрон униатский был, разумеется, Иосафат; православный же человек не может нигде обойтись без св. Николая, как среди белорусов, так и среди бурят и якутов. Все видели митру, епитрахиль и посох, видели О и А в мнимой подписи, но прочее все дополнялось силой воли. Св. Николай на образах бывает то с русою бородою (летний), то с белою (зимний), а Иосафат положительно был чернобородый, и фантазия зрителей, как и у г-жи Мирович видела на соответствующем месте соответствующий воле оттенок. Подпись тоже не решала ничего: Николай и Иосафат имеют О и А в том же порядке. И вот разгоряченные

⁴⁰ Извините меня, мсье, и не сочтите за грубость с моей стороны (франц.).

⁴¹ Я согласен, мадам (франц.).

разуваевскою горилкою умы, на основании что du choc des opinions jaillit la vérité⁴² стали сначала спорить, после взялись за убеждения, сперва кулаками, а потом и кольями из забора. Произошла настоящая баталия, которую уняла только команда гарнизонных солдат, прибывших из города. Человек с десятков были доставлены в больницу на излечение. Калечества и смертного случая вовсе не было. Поклонников Иосафата, отшлепавши, отпустили по домам. Это было последнее дыхание унии в Витебске.

Ленкевич при намеке о камне отмахивался только рукою и отделялся одним звуком: «Ат». Что сделалось с камнем – не знаю, кажется, он, прежде поколотый и потом побитый в щебень, пошел на шоссировку строящейся тогда дороги.

Акварельную копию с масляной картины живописца Лохова я видел где-то. Угодник сделан с белыми власами и седою бородой, точь-в-точь Борей в день рождения Александра Павловича, и с подписью буквами новейшего шрифта: Николай!

Униатские священники не беспокоили помещиков никакими требованиями. Являлись только к ним с поздравлениями на Пасху, на Рождество, в день именин и выканючивали себе таким образом как-нибудь подаяние. Они довольствовались хижинкой при церкви и небольшим огородишком при хижинке. Не то было с наехавшими из России священниками. Они стали требовать себе руги, полей, лугов и приличных, да и со службами еще домов. Морщились помещики, а должны были удовлетворять их требования. Мало того, новообращенную паству нужно же было поучать, хотя на непонятном для нее языке, и прихожане должны были для того ходить по праздничным дням в церковь, а они и не ходили. Священники стали отмечать неходящих, и что же оказалось: дворовые люди, особенно повара и кучера, совсем не посещали храмов божиих. Вышло предписание помещикам беспрекословно отпускать к обедне в праздничные дни всю свою прислугу. Не легче стало: прислуга отговаривается дальностью расстояния от церкви. Приказано давать ей подводы. Тут уж не вытерпели и православные помещики и завели с попами судебные распри. Католики молчали и с самодовольною улыбкою потирали себе руки. Несколько лет продолжалась эта борьба, пока не опротивела обеим сторонам, и дело уладилось как-нибудь.

Самым ярким борцом со священниками выступил полковник Виссарион Савич Комаров, воспетый Сенковским в повести «Висяша и фея», бывший после губернским витебским люстратором казенных имуществ и женившийся потом в третий раз на жене Клингера-Тришки. Как натерелый крючкодей он так ловко громил расходившихся

⁴² В спорах рождается истина (франц.).

попов, что сам Полоцкий епископ смиренно глотал пилюли, предписываемые ему этим заступником православия и гонителем унии. Это был господин с огромнейшим задатком энергии, тяжело ложившейся не только на несчастных крепостных, но даже и на собственное его семейство.

Однажды кормилица младшего сына его Виктора, бывшая униатка, молилась как умела, и он услышал слова ани жадной речи. Это взбесило его, как кощунство над молитвою.

– Послушайте, послушайте только, какую эта безумная несет ахинею! – обратился он ко мне в присутствии своих более взрослых детей.

Оказалось, что кормилица читала десятую заповедь, полагая, что это молитва, и читала так, как ее выучил униатский священник, а именно: «Не пожелай жены ближнего твоего, ани жадной речи (и никакой вещи) его».

– Слышите, что это такое? Какое жадной речи, когда там сказано не ближнего, а искреннего твоего, и потом уж ни дома ближнего твоего, ни села его, ни раба его, ни рабыни его, ни...

– Вот без последних и можно было бы обойтись, – сказал я, прерывая его.

– Нет, анафема тем, кто изменит или пропустит одну йоту в законе, – возразил он очень резко.

Но этим дело не кончилось. Когда мы остались вдвоем, он со всевозможной серьезностью, насколько ее в нем хватало, обратился ко мне:

– Не понимаю, как вы решаетесь высказывать свои революционные идеи, да еще и при детях. Разве не знаете того, что рабство есть единственное благонадежное основание государственного благоустройства и что без рабства оно невысказуемо. Оставьте же всякий вольнодумный вздор, ежели не желаете погибнуть, это я вам предсказываю наверняка.

И что же, этот недоросль энергии был прав, потому что, когда энергия уже выросла в особе М.Н. Муравьева,

сбылось пророчество ужасно!

Вместе с постепенным уничтожением унии шло и обрусение страны. Администрация и судопроизводство подчинились общему своду законов, а учебный Виленский округ был переименован в Белорусский с местопребыванием попечителя в Витебске. Учителя были почти все переименованы вновь приехавшими из Московского университета и из Петербургского педагогического института. В числе первых резко

выдались пред прочими братья Чистяковы, Василий⁴³ и Михаил⁴⁴ Борисовичи, как честные люди и опытные педагоги. Они только и были достойными преемниками своих предшественников и нисколько не походили потом на присылаемых обрусителей.

VI.

В конце 1830 года очень неприятные вести стали приходиться в Витебск с востока. Московская почта привозила письма, поколотые насквозь, и то промоченные какою-то жидкостью, то закопченные каким-то куревом. Холера путем тараканов и пасюков из Индии чрез Персию, где она сильно проредила народонаселение, перешла в Россию и остановилась на зимней квартире в Москве, где едва-едва не произвела избиения врачей и младенцев их – студентов без различия посещаемых ими факультетов. Весь медицинский персонал очутился в осадном положении. К охране университета приставлены были две роты солдат. Один только профессор Мудров, лечивший ожирелых и отупелых замоскворецких и рядских купцов святою водицею, строгим постом без разрешения на вино и елей и сотнями поклонов при ежедневных молебнах у часовни Иверской Божьей Матери, с пешим хождением туда и обратно был не только вне всякой опасности, но достиг даже высшей кульминационной точки своей славы. Пред его домом толпился народ тысячами, превознося его похвалами и взывая: «Помоги, отец родной!» На улицах выпрягали ему лошадей и то возили его, впрягшись сами, то носили его на руках по лестницам вверх и вниз. Сам он после рассказывал про эти овации на лекциях в виде наставления, как следует прилагать научные сведения к практике при разных условиях жизни.

Весною 31 года холера была уже в Смоленске. Здесь отличился удачным лечением ее один мещанин (кажется, дорогобужский), некто Хлебников, получивший диплом из медицинского департамента на свободную практику во всех местах, охваченных эпидемиею. Способ лечения у него был какой-то индейский. Он состоял: во

⁴³ Чистяков Василий Борисович, выпускник Московского университета. Преподавал русский язык в Витебской гимназии в 1831–1834 гг., затем до 1837 г. исполнял должность инспектора студентов.

⁴⁴ Чистяков Михаил Борисович (1809–1885), педагог, писатель, выпускник Московского университета. Преподавал русский язык в Витебской гимназии в 1835–1837 гг. Позднее переехал в Петербург. В 1851–1860 гг. вместе с А.Е. Разиным редактировал «Журнал для детей», одно лучших в России изданий такого рода.

1) из приложения к животу компресса, смоченного прямо в кипятке; во 2) в растирании членов во время судорог твердыми сапожными щетками, смоченными в спиртовом настое стручкового перца; и в 3) в учащенном приеме внутрь по грану опиума в порошке и запивании его холодным крепким чаем.

В конце июня явились первые заболевания холерою в Витебске, и сейчас же за ними явился и Хлебников, способ лечения которого вскоре был принят всеми врачами города, не исключая и самого знаменитого фон Гюбенталя, написавшего потом много вздора о холере, а на деле лечившего ее все-таки *à la Khlebnikoff*⁴⁵.

Город был разделен на участки, и к каждому участку приставлен один надзиратель из местных жителей и один врач. За пределами города устроены две больницы, а на Песковатике выкопаны огромнейшие ямы для погребения, отдельно христиан, отдельно – евреев. По ночам трупы заливались в ямах раствором извести, а по наполнении засыпались землею и обливались тем же раствором. Врачебная управа предписала жителям запастись хлорною водою, которая должна была стоять налитую на тарелки в каждой комнате, и спиртовым настоем стручкового перца для втирания при судорогах. Дом, в котором оказывалось заболевание, сейчас же оцеплялся стражею, и ни входа, ни выхода из него не дозволялось никому. Вот какие санитарные предосторожности были приняты на встречу грозной гостьи. Хлебников, ходивший постоянно с раскуренною трубкою, советовал от себя всем здоровым курение табаку и употребление рюмки водки после принятия пищи.

Холера посещала тогда Европу в первый раз и как бы для устрашения ее свирепствовала невероятно. Большею частью она поражала так быстро, что времени на

⁴⁵ М. Маркс несправедлив к К. Гюбенталю. Именно К. Гюбенталь разработал те эффективные меры борьбы с холерой, которые сам М. Маркс описывает ниже. Кроме того, еще с осени 1830 г. К. Гюбенталь участвовал в успешной ликвидации вспышек холеры в Саратовской и Волынской губерниях. Свой опыт борьбы со страшной “азиатской гостьей” он обобщил в статье, опубликованной в 1831 г. в одном из немецких журналов. К. Гюбенталь отказался от лечения холеры опиумом и кровопусканием и предложил использовать водные и спиртовые растворы кофе, которые “возбуждают угнетенную и упавшую деятельность сосудистой системы”. До нашего времени при явлениях ослабления сердечно-сосудистой деятельности при холере используется кофеин, который содержится в кофе (Грыцкевич В. *Урач Карл Гібенталь*, „Віцебскі сшытак” 1997. № 3, с.11).

какое бы то ни было лечение ее не хватало. Это был вид ее Cholera fulgurans, и в самом деле, двух-трех часов достаточно было, чтобы крепко сложенный и здоровенный человек был бездыханным трупом. Встречался я потом с этою же эпидемиею в Смоленске и в Москве, но тогда она была сравнительно очень слаба. Чаше всего прежде проявлялась холериною и в конце переходила в тиф. На все это ей нужно было несколько дней – ничего подобного не было в первый ее визит.

Часов в 11 утра я встретил на улице помещика Богдановича, месяца два или три пред тем женившегося на знакомой мне девице. Он пригласил меня к себе, я зашел к ним, мы закусили и поболтали весело. Часа в 4 пополудни г-жа Богданович известила уже меня, что муж ее умер. В другой раз по тротуару впереди меня шел жандарм с какою-то официальною бумагою к генерал-губернатору, вдруг упал и стал метаться в судорогах. Пакет у него сейчас же взяли и отправили по адресу, а его взвалили на плечи и повезли за город в больницу, но туда доставлен был уже труп, который свезли на Песковатик.

Народ падал на улицах. Число умерших в сутки доходило до 120. В каждом участке было по две большие телеги, возившие из домов и улиц больных в лазареты и мертвых из домов и лазаретов в ямы. Два служителя, одетые в черное, пропитанные дегтем платье, были при каждой телеге, а полицейские сторожа распоряжались по указанию врача и смотрителя этим амбулянсом.

Особенно пострадали бедные евреи. Почти три четверти смертностей пало на их дома. И гигиенические условия их жизни, и санитарная обстановка ее и, наконец, физическая расовая их слабость – все враждебно действовало на них, и, кажется, ни один заболевший из них не оставался при жизни.

– Плохо-с, очень плохо-с, – говорил Хлебников, – евреи, можно сказать, дохнут-с, как мухи от молока с перцем. Ужаси!

Горькая правда была в этих словах.

Но и при этих ужастях были события, достойные смеха.

Сапожник Божен в один из дней субботних отправился в Разуваевку святити его и, возвращаясь оттуда через Песковатик, опочил сном праведных где-то на перепутье из больницы к ямам. Возчики наехали на него, осмотрели, сочли мертвым, ввалили на воз, скинули в яму, бросили на него еще несколько трупов и поехали обратно. Каково же было их удивление, когда, прибыв с новым транспортом, они были встречены сперва криком, просящим о помощи, а потом и руганью за медленность действий. Холод ямы и росистого летнего утра пронял Божена так, что он протрезвился и выкарабкался из лежавших на нем покойников, но не мог сам вылезть из ямы, дрожа всем телом, как

осиновый лист. Он остался жив и здоров, пил по-прежнему и рассказывал потом, что его по Песковатику водили какие-то хохлики, когда он возвращался из Разуваевки.

Между тем, в конце 30 года вспыхнуло восстание в Варшаве, и полки один за другим потянулись чрез Витебск на запад. Генерал-губернатор кн. Хованский издал прокламацию к жителям Витебской и Могилевской губернии. В ней, между прочим, было сказано, что эти жители всегда были преданы России и верно служили ей, и потому он надеется, что они окажутся теперь и пребудут впредь такими же. Трудно определить, сколько правды было в этих словах и сколько проку в этих надеждах. Солидарности-то между помещиками польского происхождения и белорусскими крестьянами не было никакой, и последним жутко было жить на свете в настоящую минуту. Как и прежде при польском правлении Конституция 3 мая их не коснулась, и они про нее не слыхали, но жалованные русские помещики и их управляющие довели крепостное право до пес plus ultra⁴⁶, до таких пределов, про какие полякам прежде и не снилось. Более надежды можно было полагать на инертность забитого и отупленного состояния крестьян и на то, что польские помещики все без исключения были тарговичане и боялись каких бы то ни было либеральных идей хуже огня. Среди белорусского народа тогда не могло быть никаких революционных движений. Иное дело там, где народонаселение было смешанное, например, с латышами, которые помнили прежнюю свою жизнь и не могли еще позабыть тех притеснений, которым они подвергались при каждом движении русских войск, начиная с древнейшего похода Меншикова и особенно Шереметьева при Петре Великом, с тогдашними фуражировками, набором клеперов и «чухонских девок». И в самом деле, в Динабургском уезде были вспышки, но не более как вспышки, и вдобавок нисколько не страшные и вполне ничтожные.

Я твердо помню причитание белорусской крестьянки над колыбелью сына:

«Авой, авой, дзяцюк ты мой!

Не на радосць, не к шчасцю ты родзівся!»

Этот вопль слишком красноречив, и комментировать его, кажется, нет никакой надобности.

В 1863 году правительство могло прочно надеяться на поддержку крестьян. Введение инвентарей, а еще более объявление об освобождении от крепостной зависимости привлекло их на сторону России. Притом же в 30 году поляки не пели гимнов, и слово ojczyznę нельзя было изменить в pańszczyznę. А и это немало значит.

⁴⁶ До крайних пределов (лат.).

Прокламация его ухмыляющегося сиятельства (говоря словами Вирлы) прошла незамеченною. Прочитали ее – вот и все! Несомненно сильнее подействовали военные песни, которые, которые раздавались и в городе на площадях, и за городом в корчмах, куда спешили солдатики, жаждущие хлебнуть дешевой и крепкой горелки, и дорвавшиеся до нее только при вступлении из великороссийских губерний в Белоруссию.

Все эти песни, судя по их канцелярскому слогу, скабрёзности содержания, недостатку смысла, утрированному самохвалству, беспредельной ругани и постоянному употреблению словца, которое Барков сравнивает с солью в прекрасном русском слоге, были, без сомнения, творениями полковых писарей, игравших тогда в своей среде роль разухабистых Дон-Жуанов, а никаких не интеллигентных людей.

Особенно типична была песенка:

«Идем Польшу разорять»,

которая, начиная со второго стиха, вся состояла из непечатной ругани, хотя в ней было 6 или 7 куплетов по шести стихов. Брань и угрозы панам, паннам, а более всего несчастным паненкам сыпались градом с присвистом, прищелкиванием и особенным усилением трескучего звука *pp*. Угрозы эти, однако же, к чести русских солдат, оставались тогда только угрозами, и никто не мог предвидеть, что чрез 33 года после они приведутся в исполнение в имении графа Моля и притом не грозными солдатами, а безответственными белорусскими мужичками. *Sic, tempora mutantur*⁴⁷.

VII.

Не совсем благоприятные вести приходили с запада. Дворницкий действовал на Волыни, Гелгуд – у Вильна. Полки пехотные и кавалерийские шли форсированным маршем. Витебская губерния поставлена на военную ногу.

В одно утро узнаем, что в прошедшую ночь великий князь цесаревич Константин Павлович с супругою прибыл в Витебск и занял верхний этаж генерал-губернаторского дома. Свита князя была очень немногочисленна: придворный врач его Кучковский с лакеем, один майор польских войск, и два так называемых черкеса, а собственно кубанские линейцы – унтер-офицер и рядовой. В Витебске встретила князя депеша государя императора, который, уезжая в Москву, предписывал ему остановиться на пути в Петербург до своего возвращения из этой поездки.

⁴⁷ Так, времена меняются (лат.).

Около недели князь был невидим в городе. Военные и городские власти явились к нему, он принял их и откланялся только. Супруга же его не выходила и не принимала решительно никого.

Вдруг в одно воскресенье в 10 часов утра Великий Князь подъехал в двухколесном кабриолете на паре белых лошадей, которыми правил сам, к бернардинскому католическому костелу св. Антония. С ним была и супруга его с молитвенником в руках. Она выпрыгнула из экипажа, быстро взбежала по ступенькам паперти, вошла в церковь, встала среди нее на колени, перекрестилась и уселась на незанятом конце скамейки, далеко не первой по порядку. Великий князь поехал далее по городу. За ним ехали верхами два его черкеса в полном своем вооружении. Через час он подъехал опять к костелу. Обедня еще не отошла, и более четверти часа он просидел в кабриолете, ожидая выхода супруги. Она вышла так же спешно, вспрыгнула в экипаж, и они быстро помчались домой. В городе было тихо, на улицах людей очень немного, холера держала всех в страхе, она усиливалась со дня на день.

Через день, т.е. во вторник, повторилось то же, но в костеле две первые скамейки не занимал никто, а князь, проезжая по Замковой улице, наткнулся на очень неприятное зрелище. Из одного еврейского дома выносили мертвеца и укладывали его в телегу. Жена покойника рвалась на улицу с воплем и криком. Ее не пускали из дома, а между тем и она, и четверо детей ее третий день сидели в оцеплении без пищи. Великий князь остановился, приказал возчикам делать свое дело и ехать далее, расспросив подробно еврейку, несмотря на то, что она за плачем и стонами, усиленными еще визгом вырвавшихся на улицу и прибежавших к ней ребятишек, не могла толково изложить своего горя. Князь послал одного ординарца за инспектором врачебной управы. Гюбенталь явился моментально и объяснил, что оцепление домов предписано мимо его протеста г-ном генерал-губернатором, а отменить это предписание он не в праве, хотя знал прежде и знает теперь, что оно и неуместно, и неудобноисполнимо, и даже вредно. Другой ординарец полетел за кн. Хованским, но того князь не дождался, возвратился под костел, взял супруг и поехал домой. Гюбенталь затирает только руки, а кн. Хованский еще чаще улыбался. Сказывают, что ему пришлось выслушать очень энергическую брань и очень неприятную угрозу от великого князя.

А войска шли и шли денно и ночью. И вот разом четыре полка: 1 артиллерийский, 1 кавалерийский и 2 пехотные, из коих один егерский, очутились в Витебске. Вечером по городу разнеслась весть, что в 6 ч[асов] утра на другой день вел[икий] кн[язь] будет делать смотр этим полкам на Песковатике. Несмотря на

большую опасность, любопытных нашлось больше сотни. В 5 ч[асов] утра я был уже на месте. Артиллерия стояла у Иосафатовой часовни, кавалерия – под Разуваевкой, а пехота – поближе к городу. Утро было свежее, росистое, на Двине и в долинах лежал туман. Я выбрал незначительный холмик у дороги в Разуваевку и поместился на нем. С него были видны все окрестности. Еще до приезда князя один кавалерист упал в судорогах с лошади, вслед за ним повезли и другого пехотинца. Сколько заболело там после – не знаю, но, наверное, можно смело считать десятками.

Около половины седьмого вел[икий] князь[ь] показался на дороге в Разуваевку. Впереди скакал черкес, его ординарец и выбрал же местечко – тот же холмик, на котором я расположился. Нечего делать, надо было убираться подальше. Благо, в недалеком расстоянии была другая довольно удобная местность, но из нее не было видно части, прилегающей к городу.

Великий кн[язь] был в полной форме, туго перетянут в талии шарфом, в большой и высокой треуголке, надвинутой на правую бровь, и в огромнейших ботфортах. Ему подвели верховую лошадь, и он бойко вскочил с седло. Маневры начались обычным порядком. Трубы и барабаны давали сигналы, музыка гремела, артиллерия палила то залпами, то поодиночке, кавалерия извертывалась во все стороны, то стягиваясь, то растягиваясь, егеря пошли врассыпную, падали, ползали, вскакивали, строились, выскакивали перед фронт и скрывались за ним. Все это, по-видимому, нравилось князю. Он только заметил, что две пушки в залпе опоздали, и выстрелы их не слились в один гул с прочими. Но солнце между тем сильно пригрело и стало жарить утомившихся и людей, и лошадей, пески высохли, а в них лафеты вязли по ступицы, а люди и лошади чуть не на четверть аршина, пыль поднялась страшная, покрыла весь Песковатик, и в шагах десяти трудно было видеть что-нибудь. А трубы и барабаны подавали новые и новые сигналы. Утомился, должно быть, и сам Константин Павлович и приказал остановиться. Минут через 10 пыль проредела, тогда он приказал полкам поочередно проходить мимо него.

Прежде явилась кавалерия.

– Здорово, ребята! – громко крикнул князь.

– Здравия желаем, в[аше] и[мператорское] высочество! – был ответ тысячи голосов.

Но ребята были сильно утомлены, а лошади их вязли в песке и поневоле карабкались из него и не в ногу, и не в строй.

– Плохо, гадко! – кричал князь в нос.

Потянулся пехотный полк. Тут уже каждый нисколько не знающий военных экзерциций мог сказать тоже: «Плохо, гадко». Князь вышел из себя.

– Стой! – войска остановились.

– Эй, ты, толстый майор, поди сюда!

Бедный майор с кругленьким брюшком, объехавшим шарфом и на коротеньких ножках копошился в песке, пока подошел к вел[икому] князю.

Началась брань, сопровождаемая самой страшною руганью. Минут 10 несчастный майор стоял и слушал ее.

– Ну! Церемониальным маршем – ра-а-а-аз!

Майор, балансируя, как на канате, то вперед и взад, то в стороны, хотел устоять на одной ноге, протянувши другую и поднявши ее вверх чуть не горизонтально. Это никак ему не удавалось, и он, не дождавшись бесконечного «а-а-аз!», попирался ею, чтобы не упасть.

Новая ругань посыпалась снова, и кончилось тем, что майор был арестован на три дня, а князь, пообещавши всем без изъятия по 500 палок, повернул коня и бросил смотреть. Кабриолет его покатило за ним, им правил какой-то артиллерийский офицер. Егерям и артиллеристам не пришлось слышать ни брани, ни угроз.

Где это так вел[икий] князь мог усовершенствоваться в площадной брани? Уж, верно, не при дворе Екатерины, блистательном и изящном, не под руководством Лагарпа, и не в Варшаве, где нельзя было слышать ничего подобного даже от покровительствуемых им повес и сорванцов – чвартаков. Там он часто любимых своих подпрапорщиков, которых называл детьми своими, ругал словами «panowie durnie, panowie osły, panowie łajdaki!», а те были рады: хоть дурни и ослы, но панове! А тут вдруг прорепетировал над бедным майором весь запас приобретенных где-то фраз. Остается предположить, что школою этою был дворец Павла Петровича, измененный после смерти Екатерины II в грубейшую казарму. Это гипотеза, но как без нее объяснить факт? Во всяком случае, кн[язь] Конст[антин] Павл[ович] был одним из таких усердных учеников, какие очень и очень редко встречаются в педагогической практике.

Не прошло и недели, и явилась мазурка с куплетом:

A Książę Konstanty wczora
W ugrzecznienia zadatek,
Witał tłustego majora
Rodowodem od matek.

(А кн[язь] Константин вчера в заявлении вежливости приветствовал толстого майора родословием по матери).

Несколько позже на мотив «Как у наших у ворот» пелась и русская песенка с куплетом:

Князь Константин не плошал,
И чтобы себя показать,
Генералам всем сказал:
– непечатную ругань под рифму.

Вскоре прибыла в Витебск партия пленных польских офицеров. Князь поехал за город в жандармские казармы навестить их. Часов в 10 вечера я встретил его на Офицерской улице, которою он возвращался домой.

На другое утро, часов в 7 я отворил окно в своей комнате, выходящее на двор, там уже сидел наш фактор Янкель.

- А чули вы, паниц, цто князь вумер? – спросил он меня.
- Какой князь? – с удивлением спросил я его.
- Вай, Константин!
- Да я его вчера встретил, часов в десять.
- Ну, а в пять вумер.

Около полудня весь город уже знал о смерти великого князя. Он, возвратясь домой, покушал клубники со сливками, и не далее как чрез полчаса подвергся симптомам сильнейшей холеры. Кучковский сейчас же пригласил Гюбенталя, но оба они ничего не смогли сделать, и часам к пяти князь уже не жил. Хлебников узнал за четверть часа до смерти, прибежал, но к последней только минуте агонии.

Дня через два Кучковский пригласил учителя физики Германа, который, как про него пели гимназисты, только и знал гирьки, поршни, клапаны, захлопки и электричества боялся больше, нежели директора, для совещания, как лучше дезинфицировать прядь волос, которую он взял от трупа его высочества. Тот решительно отказался указать на какие-нибудь средства и рекомендовал на то учителя естественных наук Суходольского, который посоветовал употребить хлорную воду как единственное тогда известное средство уничтожения миазм. Этот-то Кучковский был потом назначен президентом медицинской академии в Вильне, оставшейся там по закрытии университета.

Была тогда в Витебске уже немолодая актриса Генцель, которая знала княгиню тогда еще, когда та была только панна Иоганна Грудзинская. Употребила она все средства, чтобы добиться к ней, и достигла цели. Княгиня приняла ее сердечно, плакала

с нею, хотела ей помочь чем-нибудь, но у нее нашлись только три голландских червонца, которые охотно отдавала, оставаясь сама без копейки. Генцель отказалась от этого вспомоществования, говоря, что совесть ей не позволяет принять его, и выиграла, потому что не более как через месяц получила почтою высланные ей из Петербурга 150 рублей.

Княгиня была женщина красоты необыкновенной. Все ее портреты, однако же, не совсем похожие на нее, в них нет того оттенка уныния, которое особенно характеризовало ее лицо. Кажется, что и характером, и силой воли она не была обижена природою. Стойкость ее в Вержбне была как нельзя красноречивейшим доказательством ее энергии. Что касается портретов в[еликого] князя, то сколько я видел их, все они смягчены и, так сказать, сретушированы. Щетинистые нависшие брови его, нос, вздернутый кверху так, что отверстия ноздрей при прямом положении головы шли совершенно горизонтально, широкий, значительно выдавшийся подбородок и, наконец, совершенное почти отсутствие шеи не позволяли никак признать его красавцем. Я не видел ни одного портрета его в профиль и ни одного силуэта. Вот по ним можно было бы удобнее судить о физических свойствах его личности.

Холера ослабевала со дня на день и теряла постепенно свой острый характер. К концу июля новых заболеваний не было. Повеселели все, даже и те, которые понесли существенные потери. Борьба за существование всегда эгоистична.

Около половины августа последовала торжественная отправка тела вел[икого] князя в Петербург. Оно было заключено в три гроба, из коих один был свинцовым. Поход двинулся из собора через площадь, по Смоленской улице к заставе. Общий трезвон во всех церквях и пушечные выстрелы, последующие чрез каждую полуминуту, сливаясь вместе, носились над городом в виде одного непрерывного и только вибрирующего гула. За гробом шла оставшаяся вдова в черном платке с длиннейшим шлейфом, который нес на руках какой-то камергер, кажется, кн[язь] Голицын. За нею следовал молодой кирасирский офицер в белом мундире и высокой каске с лошадиным хвостом – сын покойного князя, тот самый, которого он по приезде в Варшаву ввел с собою и его матью на бал к графу Немоевскому, рекомендуя: «Comte, ce sont mon fils et sa mère»⁴⁸. Духовенство впереди шло православное, за ним католическое разных орденов, в конце униатское – базилиане и приходские священники. Улицы и площадь были оцеплены с обеих сторон рядами солдат. Весь город был на ногах, и толпа народа тянулась за гробом по крайней мере на расстоянии полуверсты. За Смоленской заставою поход остановился,

⁴⁸ Граф, это мой сын и его мать (франц.).

балдахин был снят с гроба, гроб покрыт толстою непромокаемою тканью и впряжены в воз почтовые лошади, которые скоро с гробом скрылись из глаз среди обширной березовой рощи, находящейся верстах в двух за городом.

Через дня три уехала в Петербург и вдова вел[икого] князя. Она взяла с собою духовником ксендза Уссаковского, который вскоре возвратился в Витебск с известием о ее смерти.

Что-то фаталистическое встречается в жизни Константина Павловича. Он умер в Витебске, где в 1814 г., проходя с гвардиєю, раздраженный богатством красавицы Белявской, замеченной им на балконе гостиницы, содержимой ее отцом и скрывшейся от его поисков за Витьбою, в деревне Юрковщине, пустил своих солдатиков погулять на один часок по городу. Витебск долго помнил и никак не мог забыть эту гульбу – настоящий разгром. А бежал он из Варшавы, где в том же 1814 г. взывал к полякам: «Réunifiez-vous autour vos drapeaux, que votre bras l’arme pour la défense de votre patrie et la conservation de votre existence politique»⁴⁹. Еще более: в числе офицеров польских, проводивших в[еликого] князя до Немана, был какой-то Белявский, кажется, брат витебской беглянки, бывший потом студентом, про которого распевали в Вильне:

Na bulwarze, pośród Wilna,
Bielawskiego ręka silna
Biła, tłukła jak Hamana,
Wacława Pielikana.
Jemu honor, sława, cześć:
ciął mu w mordę razy sześć!

(На бульваре, среди Вильна, сильная рука Белявского била, колотила, как Амана, Венцеслава Пеликана⁵⁰. Ему слава и честь: хватил его в рожу раз шесть!)

VIII.

⁴⁹ Объединяйтесь вокруг ваших знамен, которые вооружают вашу руку для обороны вашей родины и сохранения вашего политического существования (франц.).

⁵⁰ Пеликан Вацлав Вацлавович (1790–1873), профессор-хирург, в 1826 г. стал ректором Виленского университета. Личностью он был очень непопулярной, организовал ряд громких политических дел в Виленском учебном округе, поощрял доносы на преподавателей.

Невольно вспомнишь Виленский университет и при каждом воспоминании о нем невольно же и вздохнешь. Что это такое было, что за профессора, что за студенты, какие теплые дружественные отношения связывали их между собою? «Не красна изба углами, а красна пирогами», – говорит русская пословица. «Пусть содержащее будет неказисто, лишь бы содержимое было прекрасно», – вторит ей практическая аксиома. И обе правы. Наружный вид университета, его стены, постройки, залы, лестницы, его внешняя обстановка не поражали ни величиим, ни красотой. Мертвый инвентарь его был, одним словом, совсем не привлекателен, но живой инвентарь – это содержимое, внутреннее, действующее и существенное – вот что составляло его величие и чуть не идеальную красоту. Профессора считали себя за призванных и назначенных развивать и совершенствовать будущее поколение и смотрели на свое звание не как на средство жизни, а тем более наживы, а как на непреложный долг и на конечную обязанность своего назначения. Довольно назвать братьев Снядецких, Лелевеля, Словацкого, а за ними десятки других, чтобы убедиться в этом. Грановский в Москве и Костомаров в Петербурге стремились потом воссоздать этот тип деятелей, но обоим, особенно последнему, в конце не повезло. И времена были не те, и у самих-то их сил не хватило. Один Пирогов был счастливее их, но и тот, измучившись, в конце махнул рукою.

Каждый студент должен быть тоже деятельным, и самый инертный, неподвижный, и даже неодаренный от природы способностями должен был при усидчивом труде и неусыпной умственной работе, хоть выбиваясь из последних сил, тянуться за передовыми скакунами. Вся университетская молодежь сомкнулась в кружки и общества с предначертанными и ясно сознанными целями, а чистая нравственность была общим идеалом всех. И вот сперва студенческая сатира в газете «Brukowiec»⁵¹, стала по-шекспировски отчеканивать и клеймить позором пустоту, бессодержательность и распущенность дутых, яснеосвеционных и ясновельможных графов, баронов и прочих титулованных особей. Утирали слезы кулаками эти гербовые господа и особенно госпожи, но не смели, по чувству своей несостоятельности, выступить на открытую борьбу с бичующим их плебсом. Это было первое проявление демократического духа в среде молодежи. Но повеяло с запада романтизмом, и желание расторгнуть все оковы, связывающие свободу мысли приглаженными, нафабранными и припомаженными условиями псевдоклассических форм обуяли пылкими сердцами молодых труженников. Гете, Шиллер, Байрон, Мур не всем были доступны, многие должны были ими

⁵¹ «Уличные новости» (польск.).

восхищаться только на веру, судя по отзывам передовых, или по переводам, большею частью плохим и бесцветным. Но вот Жуковский напечатал в Петербурге свою «Светлану», и баллада эта произвела в Вильне неисповедимый фурор. «Раз в крещенский вечерок» повторялось по домам и на улицах молодежью обоих полов, детьми и даже уличными мальчишками. «Вот как нужно писать, к черту все классические правила и формы! Да здравствуют простота и народность!» – прокричали студенты и с теплым рвением, чуть не с горячечным жаром, взялись за дело. Кто собирал народные сказки и предания. Кто переводил их, кто изучал обычаи простонародной жизни и вникал в значение их и условия их происхождения, и все писали, писали, писали. Семнадцать типографий в одном Вильне день и ночь были заняты печатанием только того, что оказывалось будто достойным печати, а писали чуть ли не все грамотные и полуграмотные.

«Есть, чем восхищаться, – пожалуй, скажут теперь, – разве тем только, что на бумагу был большой расход». Оно так! Но русская литература разве имела бы такого представителя у себя, как Кольцов, ежели бы полуграмотным запретить под анафемою братья за стихокропление, а ведь он начал писать и писал даже долго потом, оставаясь все-таки чем-то менее полуграмотного, и между тем он же сделался лучшим выразителем народного быта и народного склада мысли. Мицкевич, блистательный представитель этого периода Виленского университета, начал очень неблистательно, но под руководством других, особенно Ежовского, развился, окреп и оставил за собою всех своих руководителей. Надобно еще заметить, что первая любовь его к девице Марии Верещако, долго его вдохновлявшая, возникла и укрепилась пением с нею белорусских песенок.

И работала же молодежь, работала и втягивалась в работу так, что работа эта делалась для нее необходимостью жизни и чуть ли не второю жизнью. Вот только что умерший Крашевский, этот последний могиқан, написал, не считая газетных статей, более 450 томов сочинений, из коих многие не без литературных и научных достоинств. Не всякому удастся прочесть столько книг во всю свою жизнь.

И выходили же тогда из университета учителя, каких после не было видно, каких и теперь нет. Они-то заставили примерами и советами всю школьную молодежь в округе предаться науке и стремиться к умственному развитию. Писали и сочиняли все мальчуганы, и каждый ученик, не ниже третьего класса, вылезал уже из кожи вон, чтобы только обратить внимание на свое произведение.

Большую частью эти усилия принимали форму песен: в два темпа (краковяк) или в три (мазурка). Каждое событие, каждый слух даже сейчас же воспроизводился в виде песенки и разлетался иногда очень далеко. Был даже один краковяк с припевом после каждого куплета:

Ale cicho, cicho, cicho,
Wo posłyszą – będzie lichy!⁵²

число куплетов которого было бесконечно, потому что менялось чуть не каждый месяц и чуть не в каждой местности.

Мазурки и краковяки сочинялись на польском языке, вновь же явившиеся русские и даже белорусские песенки (а их было немало) распевались на готовые уже народные мотивы. Народности мирно сближались. Русские барышни играли на фортепьянах краковяки и мазурки, польские панны восхищались «Лучинушкой», любовались «Калинушкой». Солдатских песен только не пел никто, и русская молодежь стыдилась их. Старики, смотря на это, самодовольно улыбались; морщились, но молчали одни только доробковичи: им неприятно было сближение с белорусским народом.

Тридцатый и особенно следующие за ним годы все это разбили, как говорится, в пух и в прах. Витебская губерния оставалась на военном положении. В самом Витебске не произошло ничего особенного. Привезли только двух ксендзов и забрили им лбы. Один из них был известный по омскому делу и казненный там Сероцинский. Да еще прошла чрез город партия ребяташек, набранная в Царстве Польском в кантонисты⁵³. Они ходили в сопровождении дядек-солдатов и испрашивали милостыню. Г-жа Пестель подала троим, явившимся к ней, пятирублевую ассигнацию, но офицер, конвоировавший партию, отнял у них эти деньги и взял себе. Понятно, что после никто не подавал им ни копейки. Накармливали мальчуганов досыта, поили их чаем и кофе, причем, и провожавшие их дядьки получали по рюмке водки, но от подачи денег или какой бы то ни было движимости все, как бы сговорившись, воздержались.

Военное положение само по себе нисколько не было тягостно, ежели бы то, что называется подонками общества, не вздумало пользоваться им и, разумеется, пользоваться способом грязным и соответственным только подонкам. Еврейских

⁵² Но тихо, тихо, тихо, если услышат – будет плохо (польск.).

⁵³ Кантонисты – малолетние и несовершеннолетние сыновья нижних воинских чинов, принадлежавшие к военному званию и в силу своего происхождения обязанные служить в армии.

лапсердаков почти всех передала холера, остался еще один элемент и элемент христианский, но чуть ли не презреннее лапсердаков. Вот что случилось со мною в мае 1832 года.

В полдень я возвращался по Смоленской дороге из ботанической экскурсии и, проходя около так называемого Цареградского трактира, встретился со знакомыми своими Воробьевым и Рыпинским. Они почти насильно затащили меня в трактир, приказали подать закуску, и мы поместились в бильярдной. Я никогда не играл хорошо на бильярде, но Воробьев был не искуснее меня и потому для препровождения времени мы вооружились киями и начали партию. Мне пришлось делать трудный шар.

– Эге, да тут надо виртуоза, – сказал более нас понимающий Рыпинский.

– Ну, попробуем, авось удастся, ведь на счастье нет закона.

Едва я сказал последние слова, как меня схватил кто-то за правое плечо и сказал:

– Как вы изволили сказать: нет закона?

Я осмотрелся. Передо мною стояла какая-то личность, разбрюзгая, испитая, встрепанная и сильно воняющая сивухой. Зеленый фрак со светлыми пуговицами, сильно поношенный, такие же брюки, порванные во многих местах и заштопанные, вполне соответствовали его тоже поштопанной физиономии.

– Что вам нужно? – спросил я.

– Вы сказали-с...

– Вон, пока цел! – крикнул я и толкнул его локтем и тупым концом кия в грудь.

Он ушел.

Как и когда он вошел в бильярдную и долго ли был в ней – никто из нас не заметил. По уходе его мы посмеялись над случившимся событием, покончили партию и стали закусывать.

Вдруг является полицейский пристав Мецгер и за ним прогнанная личность во фраке со светлыми пуговицами.

– Вот-с они, – сказала она, указывая на меня.

– Извините, но я должен представить вас немедленно в полицейское управление по доносу на вас вот этого господина, – сказал пристав, обращаясь ко мне.

Мецгер был честный немец и общий наш знакомый. Мы тут же рассказали ему все дело, как оно было.

– А все-таки мне нужно вас арестовать, извините, я послан полицмейстером.

С ним были жандарм и полицейский служитель. Нечего было делать. Все мы в числе семи человек пошли пешком около версты до заставы и более полутора версты по

большой улице городом. За нами ехал биржевой извозчик, на котором приехал Мецгер с доносчиком. Встречались нам и знакомые, и незнакомые, останавливались, смотрели на нас и, разумеется, каждый что-нибудь да подумал на свой лад и по своему соображению.

Пришли мы в полицейское управление, и Мецгер пошел с докладом к полицмейстеру. Тот немедленно явился и заявил, что сейчас же приедет жандармский полковник.

Полковник Мердер приехал, и дело минуты в три объяснилось.

– Они сказали, что законов нет, а указы его императорского величества?

– Да послушай, милый человек, будь же потолковитее и не пошучивай так со смыслом указов его величества.

– Помилуйте, ваше высочордие, долг верноподданного...

– Экая свинья безобразная! – крикнул Мердер, выходя из себя. – Еще он толкует о долге. Без тебя знают долг. Убирайся вон!

– Я-с жаловаться буду.

– Жалуйся, негодяй, жалуйся! В шею его! – скомандовал полковник жандарму, и я видел, как тот, быть может, слишком уже усердно исполнил это приказание.

– Вы можете судебным порядком требовать с доносчика удовлетворения, – сказал мне полицмейстер.

Я промолчал.

– А что взять с него? – спросил Воробьев.

– Разве только рубашку с плеч, – ответил Мецгер.

– И с целым табунов вшей, – прибавил Рыпинский.

– А ведь согласитесь, господа, что жалко «Слова и дела»⁵⁴, там, по крайней мере, был первый кнут доносчику, – сказал Воробьев.

– Разумеется, – ответил полковник, – не каждому мерзавцу придет охота подставлять свою спину под батоги, а вот по милости таких негодяев, поверьте, нет нам покоя ни днем, ни ночью.

Доносчик был писец, за пьянство изгнанный из нижнего земского суда.

Мы разошлись, но это еще не конец.

⁵⁴ «Слово и дело государево» – условное выражение XVII–XVIII вв., произнесение которого свидетельствовало о готовности дать показания (донос) о государственном преступлении.

Доносчик после жандармского внушения не жаловался никому, но когда я шел по бульвару, сопровождая трех дам, мать с двумя дочерьми, он встретился со мною, низко поклонился и жалким голосом произнес приблизительно следующую речь:

– М[илостивый] г[осударь], вы видели, как я пострадал по вашей причине. При том же вы меня так крепко ударили кием в грудь, что чуть не переломили ребро, и я при сильной внутренней боли начинаю харкать кровью. Будьте великодушны и обратите ваше милосердное внимание на мою беззащитность и немощность. Сказано бо весть: всякое даяние во благо.

– Двугривенный довольно? – спросил я его с презрением.

– Душевно-с благодарен, – смиренно ответил он. Я подал ему монетку, он схватил ее и пошел вполне удовлетворенный.

IX.

Не всегда, однако же, доносы сходили с рук так легко. Нет! Они иногда вели за собою строжайшее следствие, продолжительнейшие аресты и десятки людей губили окончательно, по крайней мере, портили всю их карьеру. Такие доносы исходили уже не от пьяных писцов, а (стыдно сказать) от людей более интеллигентных – нравственно свихнувшихся, прибавим для их оправдания.

В декабре 1831 г. или в январе 1832 у г-жи Пестель был вечер, где, по обыкновению, собиралась вся витебская знать, начиная с генерал-губернатора до более зажиточной молодежи, принимаемой всегда радушно гостеприимною хозяйкой. Танцевали под фортепиано, и любимый танец мазурку отхватили под достигшую только тогда до Витебска мазурку Хлопицкого, сыгранную вновь прибывшею из Литвы русскою дамою. Мотив этот очень понравился кн. Хованскому, начался общий разговор о мазурках, и он заявил, что очень бы хотелось бы ему услышать и пение их. К несчастью, здесь был ученик шестого класса гимназии, сын домашнего доктора графа Хрептовича Брам, одаренный чудным дискантом и мастерски аккомпанирующий себе в народных песнях и романсах. По просьбе милой хозяйки и князя он сел за фортепиано и пропел мазурку: «Tam na błoniу błyszczą kwiecie». Большую часть текста Хованский понял без объяснений, а чего не понял, то сейчас же было ему переведено слово в слово. Тут же были жандармский полковник, комендант и много русских чиновников, как прокурор и проч. Всем понравился как мотив, так и текст песенки, и никто в ней не нашел ничего ни предосудительного, ни даже подозрительного. Но как эта несчастная мазурка наделала

потом много беспокойств и бед, то я считаю необходимым привести полный дословный перевод ее:

«Там на равнинах блестят цветы, и улан стоит на страже, а девушка, как малина, несет корзинку роз.

– Стой, обожди, красавица-чародейка, откуда ты переступаешь маленькими ножками?

– Я из этой хатки, собирала цветы и возвращаюсь.

– Быть может, ты скрываешь толпы неприятелей? Поцелуй меня и я тебя пропущу.

– Я ведь не такая. Поцелую тебя, только сойди с лошади.

– С лошади сойду – закон известен: сейчас же получу пулю в лоб.

– А из той охоты, что ты так скор, останься же без поцелуя.

– Хотя мне это будет стоить жизни, я должен тебя поцеловать.

– Клянусь Богом в небе! Жалко мне тебя, ты сам себя губишь.

– Труба зовет меня в бой. Целуй скорее, моя девушка!

– Будь покоен, возвращайся из войны, и я поцелую тебя.

– Когда возвращусь счастливо, где же искать мне тебя в мирное время?

– Там, в той хатке, возле матери, выше по речке.

– А как буду убит, что так легко, и поцелуй твой пропадет?

– Верная тебе, на твоей могиле, поцелую крест!»

Самая строгая цензура не могла бы привязаться тут ни к одному слову, ни к одной фразе. Но какой-то француз сказал же, что в необыкновенных и загадочных вопросах надобно cherchez la femme, и был вполне прав.

Femme эта была Лебедевская, дочь того пьяницы мещанина, который потом кувырчался у протоирея Ремезова, девка рослая, атлетического сложения, о которой отец хвастливо отзывался, что она любому мужику в объятиях может все кости переломать. Это была нахальная распутница, не пропускавшая встретившегося с нею молодого мужчину без обращения к нему с каким-нибудь пошлым предложением пройтись с нею по городу домой, попотчевать ее конфетами, провожать ее на прогулку за город, домой или в баню и тому подобное. Черты лица ее были грубы, и в целой ей ничего не было грациозного. Но были же люди, которые восхищались ею, быть может, ломка костей

нравилась им. Кто знает? Какой-то классик сказал же: «[5 слов нрзб.] sapientis de gustibus non disputantur»⁵⁵.

Но у женщины, даже глубоко павшей, всегда пробивается потребность безинтересной нравственной любви, и всегда у нее есть какой-нибудь избранник, хотя на время, пока его не подменит другой. И Лебедевская тоже влюблялась, тоже имела своих избранников.

У живописца Лохова, человека очень ограниченных средств жизни репетитором уроков с его детьми был за квартиру и стол гимназист 5-го класса, сын какого-то вольноотпущенного, некто Федор Грибачев, мальчик довольно смазливый, при бойких способностях и во всех отношениях прекрасного поведения; он отличался особенною мягкостью характера, чистосердечием, усидчивостью и прилежанием. Нельзя было не полюбить его за все эти качества, и знающие его всегда отзывались о нем с похвалами. Когда попечителю Карташевскому понадобился репетитор для его детей и племянников Воейковых, которых он привез с собою в Витебск, общий голос рекомендовал ему Грибачева, который более года оправдывал хорошее о нем мнение. Карташевский был им очень доволен и сам же назначил сверх квартиры, стола и платья еще несколько рублей в месяц на мелочные расходы.

Где-то во время прогулки Лебедевская увидела его и чутьем опытной ищейки нашла, что это, как говорится, непечатое блюдо, взялась ревностно⁵⁶ следить за ним, ловить его, завлекать и – соблазнила невинного и неопытного юношу. Он влюбился в нее любовью чистого и непорочного сердца.

После скромной и наполовину с голодом и холодом жизни у Лохова Грибачеву у Карташевского было очень хорошо. Его приглашали репетировать уроки гимназистам и в другие дома. Полковник Мезенцев (отец убитого в Петербурге начальника III-го отделения собственной его величества канцелярии) и заведующий дворцом генерал-губернатора Волков испросил у Карташевского дозволения ему заниматься и с их детьми. Он зажил припеваючи. А тут сама подвернулась еще женщина страстная,

⁵⁵ Мудрей о вкусах не спорит (лат.).

⁵⁶ Карташевский Григорий Иванович (1777- 1840) — русский педагог, попечитель Белорусского учебного округа; в последний год жизни — сенатор. *Карташевский, Григорий Иванович*, Русский биографический словарь : в 25 томах, СПб., 1914. — Т. 11: Нааке-Накенский — Николай Николаевич, с. 537.

пылкая, ухаживающая за ним и влюбленная в него до того, что в объятиях ее трещали кости. Можно ли быть счастливее!

Но Лебедевской нужны были его физические силы, и она по своему разумению подкрепляла их сперва легкими винами, потом наливочками, а затем ерофеичем. Грибачев спился.

При всей снисходительности своей Карташевский принужден был прогнать его из своего дома, но он не хотел губить молодого человека, в надежде, что при других условиях жизни он образумится и исправится. Взял в свой дом репетитором **Коссовича** (потом проф. зендского и санскритского языков в Петербурге)⁵⁷, и Грибачев остался при уроках у Мезенцева и Волкова.

Лебедевская между тем нашла другого какого-то оперивающегося птенца, перестала зазывать к себе Грибачева, перестала потчевать его и охладела к нему окончательно именно тогда, когда ему и она, и ерофеич сделались потребностями и второй натурой его.

Ему нужно было бороться вдруг с двумя увлекающими его силами – и на то не стало у него твердости. Лебедевскую подменил он только другою, Матрешкою, пухленькою горничною в доме Мезенцева. Но тут встретились непредвиденные для него обстоятельства: его сильно поколотил дворник в одну ночную экскурсию к Матрешке. Сам-то он улизнул из рук его, но Матрешка получила более сотни плетей на конюшне, а он остался только при уроках у Волкова. Сердобольная г-жа Волкова, управлявшая вместо своего мужа, который у нее был только на посылках, не только домом генерал-губернатора, но и самим им, и всем его генерал-губернаторством, взглянула на разгул репетитора своих детей как на ветреную шалость пылкой молодости и махнула рукой на все даваемые ей предостережения.

⁵⁷ Коссович Каэтан Андреевич (1814- 1883) — русский и белорусский востоковед (санскритолог, иранист и семитолог). Член Парижского и Лондонского азиатских обществ, а также Восточного общества Германии. Рогозинников И., *К биографии К. А. Коссовича*, «Исторический вестник» 1888. Т. 31. № 2, с. 516-518.

Коссович, Каэтан Андреевич, Русский биографический словарь : в 25 томах. СПб.-М., 1896-1918. Маркс вместе с Коссовичем обучались вместе в Витебской базилианской гимназии. Об этом в своей исторической миниатюре пишет Валентин Пикуль. См. В. Пикуль, *Тайный советник, Тайный советник. Исторические миниатюры*, Москва 2002.

Но Грибачев и Матрешка чувствовали взаимную потребность и сходились при всех удобных случаях. Однажды они назначили себе ночное свидание под баркою, строящеюся на берегу Двины. Грибачев вечером выпил немалую толику и отправился поджидать на условленное место. Матрешка опоздала, а его между тем хмель разобрал немилосердно, и он уснул сном беспамятства. Матрешка пришла, старалась его разбудить, но убедившись в сильном опьянении его, решила идти домой, и в раздумии и тихими шагами вышла из-под барки. Ночной обход захватил ее, взял и бесчувственного Грибачева и обоих доставил на съезжую. Утром деву отвели по принадлежности к ее помещику Мезенцеву, а ловеласа – по начальству в гимназию, и обоих сдали с надлежащими при этом отношениями из полицейского управления. Мезенцев отпорол свою крепостную на славу, обрезал ей косу, сбрил все волосы, где ни росли, не оставивши не только бровей, но и ресниц, и прогнал из дому босую и в одной рубашонке, изодранной и крайне грязной. Какая-то старуха-жидовка, промышлявшая проституциею, сжалилась над нею, дала ей свои туфли, кофту и платок на голову. Гимназия исключила Грибачева из своего ведомства, и ему торжественно при всех учениках был отрезан красный воротник у форменного вицмундира. Волкова и в этот раз оправдывала его постоянством сердечной привязанности, и он все-таки репетировал уроки ее детям.

Более всего надеялся Грибачев на учителя латинского и польского языков (последний преподавался тогда в гимназии наравне с французским и немецким), образцового преподавателя и высоконравственного человека Радислава Шепелевича, неоднократно дружески увещевавшего его. Но и тот, несмотря на свою снисходительность к грешкам молодости, сказал в совет:

– Жаль человека, но оставить его в гимназии я не вижу возможности.

Это взбесило Грибачева, и он решился мстить, а средством мести своей избрал донос.

И вот в один вечер за чаем со страхом и трепетом сообщил он Волковой, что гимназисты поют революционные польские песни, что среди них, по-видимому, завязалось тайное общество, что даже жизнь его сиятельства не в безопасности. Испуганная Волкова сейчас же сообщила все слышанное Хованскому, и дело закипело. Ночью был позван Грибачев в секретное отделение канцелярии генерал-губернатора, и там он подтвердил свое сообщение, главою тайного общества назвал Шепелевича, а членами – запевала Брама и других, кого ему вздумалось. Брама отец поручил хорошо знакомому и, кажется, товарищу своему Шепелевичу, у которого он и жил, а сам Хованский слышал пение Брама на вечере у г-жи Пестель. Донос оказался более нежели

правдоподобным. Правитель канцелярии Глушков и письмоводитель его Васильев, человек, как все говорили, очень древнего рода, потому что предки его во времена Гиксов ели в Египте лук и чеснок, обрадовались возможности отличиться и получить за отличие хорошенькое вознаграждение. Нужно было только раздуть дело, и не пожалели же они своих легких и раздули! Утром часам к 9-ти сделаны были обыски более чем в десяти домах и арестовано более 15 человек, а к 12 часам уже составлена следственная комиссия по этому делу. В ней участвовали: сам генерал-губернатор, правитель его канцелярии Глушков, адъютант и чиновник особенных поручений Гамалея, жандармский полковник Мердер, предводитель дворянства Энчко и еще несколько лиц, которых теперь вспомнить не могу. Секретарем комиссии был Васильев, а переводчиком с польского – учитель русской словесности В. Чистяков. Кроме Шепелевича и Брама помню, что арестованы были ученик Шанявский и чиновник Михаловский. У Брама нашли переписанное им какое-то, не вошедшее в состав петербургского издания стихотворение Мицкевича, фамилию которого, равно как и фамилию виленского профессора Лелевеля, небезопасно было произносить. У Шепелевича нашлись письма студента Московского университета Заблоцкого⁵⁸, показавшиеся подозрительными. Заблоцкий был арестован и привезен в Витебск. В бумагах его найдены письма Верниковского, вывезенного из Вильны вместе с Мицкевичем и служившего учителем в Казани или в Харькове⁵⁹. Арестовали и этого, и у него нашли стихотворное письмо к нему Заблоцкого, в котором были страшные слова: «А нам остается только страдать, пока Бог не взвесит судьбу поляка на лучших весах».

Nim Bóg na lepszej szali los polaka zważy.

Это показалось следователям преступлением, чуть не превосходящем все статьи уложения о наказаниях. Мазурка, петая Брамом, подверглась тоже остракизму. «Да

⁵⁸ Заблоцкий (Лада-Заблоцкий) Тадеуш (1811–1847), поэт, этнограф, переводчик. После окончания Витебской гимназии в 1831 г. был зачислен казеннокоштным студентом на отделение словесности и литературы Московского университета.

⁵⁹ Верниковский Иван (Ян) Антонович (1800–1864), языковед, преподаватель древней истории и географии в Казанском и Харьковском университетах. За участие в тайном обществе филаретов в 1824 г. был выслан в Казань, где на время описываемых событий состоял профессором арабского языка в местном университете и был преподавателем гимназии.

какой это улан? А какие это там неприятели?» – и сотни подобных вопросов задавались подсудимым заправлявшим кодом всего дела Васильевым.

Следство тянулось почти год целый, к допросам призывали очень многих жителей города, еще больше привозили как ответчиков и как свидетелей из разных – ближних и дальних – мест. Весь двухэтажный поиезуитский монастырь был плотно набит арестованными.

Но всему есть конец, кончилось и следствие. Шепелевич возвратился к жене, сошедшей с ума во время его ареста. Брам отправлен к отцу. Заблоцкого взял на поручительство помещик велижского уезда Алексиано (сын греческого пирата, оказавшего важные услуги Орлову-Чесменскому в архипелаге и награжденного за то жалованным именем).

Энько, Чистяков и большинство участвовавших в следственной комиссии, а равно и все почти жители города, явно утверждали, что дело это кончится или ничем, или какими-нибудь пустяками. Глушков, Гамалея и особенно Васильев, напротив, говорили, что дело это очень важное и должно иметь дурные последствия для подсудимых. И они были правы. Столько шуму и столько издержек не могло же остаться без отыскания виновных; и, по конфирмации Николая Павловича Заблоцкий, Брам, Шаняевский и Михайловский (люди молодые) приговорены в солдаты на Кавказ, Шепелевич⁶⁰ же и Верниковский (пожилые) признаны ни в чем не повинными.

Заблоцкий в 1847 г. умер от холеры в Кульпах, будучи начальником тамошних соляных копей. Верниковский был потом директором Харьковской гимназии, я виделся с ним в Москве в 1852 г. Он тогда издавал свой перевод со шведского поэмы Тегнера «Фритьоф».

А Грибачев? Стараниями Волковой и послушного ей кн. Хованского он назначен учителем русского языка в каком-то уездном училище Гродненской или Киевской губернии. Чистосердечно и беспристрастно говоря, он был едва ли не лучшею из личностей, назначаемых тогда на подобные должности и набираемых большею частью из оказавшихся негодными по почерку полковых писарей или спившихся полицейских писцов. Уехал он из Витебска презираемый всеми. Сама распутная искусительница

⁶⁰ Шепелевич Гаудентий (Радислав) (1800–1846), поэт, в 1830–1834 гг. был преподавателем Витебской мужской гимназии. После окончания дела был освобожден от занимаемой должности с «волчьим билетом» – выдачей ему послужного списка с записью о нахождении под следствием.

Лебедевская, нравственно убившая его, заявляла свое раскаяние в том, что допускала к себе такого как он негодяя.

Я не писал своей автобиографии, зная, что жизнь моя ни для кого не занимательна, а старался только вычислить те впечатления, которые врезались в моей памяти под влиянием окружавших обстоятельств. И все теперь это прошло и не может возвратиться!

Еще одно слово. Витебск – это Эльдorado Белоруссии. Что же делалось окрест его, на то лучше ответит белорусская же поговорка:

Авой як кепска (плохо)

Коло Вицебска.

А коло Орши

Так еще горши;

А там, у Миньску –

Совсим по-свинску.

Енисейск

1887 г., апр[еля] 17

М. Маркс

1/№6038

Смоленск (1841–1860)

I.

Когда подъезжаете к какому-нибудь уездному и даже к большей части губернских городов святой Руси, то что прежде поразит вас своей величиною, простором, прочностью, красотой и чуть-чуть не комфортом? Это тюрьма, представительница законности, правосудия и того порядка, про который мечтал еще Гостомысл, и который и теперь остается заветною целью всех наших хлопот, толков и стараний о страны, кажись, и великой, и обильной, а на деле – и тесной, и голодной.

Не то, однако же, окажется при первом взгляде на Смоленск, с какой стороны не подъезжали бы вы к нему. Сперва во всем своем величии бросится в глаза собор, как будто стоящий на высоком и широком, окаймленном башнями пьедестале стен, то сбегающих в овраги, то поднимающихся на холмы по волнистому берегу Днепра.

Много людей трудилось над постройкой этих стен, и твердо же легли они на избранном месте! Ни страшные пушки Наполеона с двадцатью язык, ни филистерские распоряжения немецкого барона Аша, ни юмористические фантазии комика Хмельницкого не тронули их с места на вершок даже и только сделали их более драгоценными в глазах людей мыслящих.

Много народу копошилось около этих стен, особенно в начале XVII и XIX веков, много его и легло здесь понапрасну, не принеся никакой пользы человечеству в его жизни на земле и нисколько не утучнив даже бесплодную почву окрестностей. Сигизмунд III и Наполеон I не сделали ничего хорошего даже косвенно ни себе, ни другим, ни своим, ни чужим. «Суета сует и всяческая суета!» – невольно скажешь со вздохом, смотря на эти поломанные, измозженные и обрушивающиеся, а все-таки крепко стоящие и поражающие своею массивностью стены. Слабоумный Сигизмунд оставил после себя, по крайней мере, память – Королевскую крепость, но что же осталось от гениального Наполеона?

При погребении в Королевской крепости генерала Грабовского, естественного сына последнего короля польского Станислава Понятовского, он сидел на груде ядер и забавлялся перекатыванием ногою лежавшей тут же бомбы. Мюрат и Понятовский стояли по сторонам его. Последний чуть не со слезами умолял его остановиться в Смоленске, укрепиться в нем, запастись провиантом и боевою амунициею для продолжения дальнейшего трудного похода. Мюрат, напротив, летел в неизвестную ему даль, чтобы покрасоваться там своим блестящим мундиром и своей заливатскою удалью в надежде скорого окончания войны, показавшейся ему легкой и могущей, по его мнению, довершить ее блистательно и торжественною победою. В прении произошла и размолвка. Понятовский ухватился за рукоятку своей сабли, а Мюрат чуть свою не обнажил. Наполеон хладнокровно слушал их взаимные упреки, продолжая перекатывать бомбу, поднял голову, взглянул на обоих и как бы нехотя, медленно и вполголоса проговорил:

– Знаю, что вы у меня оба храбрецы, но будет так, как я распоряжусь.

И распорядился – усеять трупами людей всю дорогу при своем отступлении. Из всей его la grande armée⁶¹ осталось что-то, могшее поместиться в просторном дворе зажиточного русского крестьянина!

Много народу шевелилось здесь и прежде, во времена уделов. Смоленск выставлял войска более нынешнего числа своих жителей, а пределы его вдоль по Днепру и за рекой были очень значительны. Церкви, теперь запустевшие, стоящие на довольно почтенных расстояниях от нынешних пределов его, входили когда-то в городскую черту. Но судьба Новгорода и Пскова в борьбе Москвы с Литвою не миновала Смоленска, и он пал безвозвратно. Долго, очень долго смоляне тяготели к Польше, не смотря на крайне энергические меры, принимаемые Бироном и потом Елизаветою Петровною. Они женились исключительно на польках из-за межи, т.е. из Белоруссии, и первый, отступивший от этого обычая и женившийся на московке, был Потемкин, отец Таврического. Даже во время Понятовского при дворе Адама Чарторыжского бряцал на лире гимны своему патрону смолянин Княжнин, а в 1812 г. Качинский, расстрелянный в Белом (третьим залпом после двух холостых) был последним проявлением этого тяготения. Теперь все Пасеки (потомки Яна Пасека, известного рубаки, оставившего после себя очень занимательные мемуары), Гречихи (однофамильцы Войского, выведенного Мицкевичем в поэме «Пан Тадеуш»), Вонляр-Лярские, Повало-Швуйковские, Огонь-Догоновские, Тумило-Денисовичи, Завиша-Шабля-Спиридовичи и проч., и проч. гордятся званием дворян шестой книги⁶² и сльвут ярыми патриотами России, нисколько не уступая не только обрусевшим татарам (Азанчеевым, Майдиновичам, Булатовым) и немцам (Энгельгартам, Гернгроссам, Лесли), но даже и коренным москвичам (Аничковым, Каленовым и пр.)

Кроме пролома стены у так нназываемой Рачевки, памятника, воздвигнутого Николаем Павловичем, и одной французской пушки, валявшейся у его пьедестала, 1812 г. оставил еще одно воспоминание во рву вблизи Молоховских ворот – невидный и неказистый надгробный памятник полковнику Энгельгарду, расстрелянному на этом месте. Вот что рассказывал наочный свидетель события, смоленский старожил Мехо (прусак, сын испанского эмигранта и отец единственного тогда аптекаря в городе).

⁶¹ Великая армия (франц.).

⁶² Дворянские родословные книги, оформлявшие привилегии дворян, включали шесть частей. В шестую часть вносились «древние благородные дворянские роды».

По соединении двух армий у Смоленска полковник Энгельгард⁶³ (один из племянников Потемкина) очутился в нескольких верстах от своего имения, просил у своего начальства позволения съездить домой на два-три дня, и уехал в сопровождении денщика. Дома застал он одну только старуху, оставленную или добровольно оставшуюся при всеобщем бегстве жителей от нашествия неприятелей. От нее узнал он, однако же, что под домом, что под домом, в погребе, находится склад припасов, а что важнее еще, значительное количество заготовленных наливок, вин и прочих питейных снадобий, до которых он был большой охотник. Пил он чисто по-русски – запоем, загулял, и прошло не три дня, а более недели со времени его приезда, а он и не думал возвращаться к своему полку. Между тем Смоленск был занят неприятелем, русские войска отступили к Москве, а французский отряд явился в самом подгородном поместии гуляющего полковника. С радушием принял он офицера, начальствующего отрядом, пригласил его к обеду, за которым и француз подвеселился до того, что позабыл, где он и кто с ним, впал в баранью доверчивость и на предложение выпить холодного винца в холодке погреба согласился с удовольствием. Пошли вдвоем, но вышел из погреба один хозяин, а гость остался там с распластанною топором головою. Тревога поднялась, найден и мертвец в погребе. Энгельгард между тем подкрепился еще на силах и улегся на диване в гостиной, запасшись пистолетами и саблею. Французы бросились к убийце, он защищался, но не успел ни одного ранить даже, как был связан, взвален на дровни и отправлен в Смоленск. Всю дорогу он кричал, ругался и в таком же виде был представлен в municipalité⁶⁴, в котором заседало волею-неволею несколько городских жителей и единственный оставшийся священник Мурзакевич. В то же мгновение маршал Даву приказал нарядить военный суд в том же municipalité, и не протрезвившийся и продолжавший ругаться Энгельгард был приговорен к расстрелянию. Его вывели за Молоховские ворота вместе с двумя солдатами французской армии, осужденными тоже на смертную казнь за мародерство, и поставили над одною ямою, приготовленной во рву. Для исполнения приговора над Энгельгардом, как полковником, наряжено шесть ружей, а над мародерами – по одному. С мародерами покончено было чуть не моментально, но с Энгельгардом дело промедлилось. Он не стоял на месте, метался во все стороны, кричал и ругался. Началась настоящая облава, как на зверя, и смертельно раненый

⁶³ Энгельгард Павел Иванович (1774–1812), отставной подполковник российской армии, командир партизанского отряда в Смоленской губернии.

⁶⁴ Городское самоуправление (франц.).

четырьмя пулями в грудь, он, пронзенный еще штыком, пал в шагах десяти от ямы, в которую был сейчас же стащен, вброшен и засыпан землею. Назначенный потом следователь генерал Каверин в патриотическом увлечении хотел всех невольно заседавших в municipalité смолян расстрелять вместе с Рачинским, и только заступничество главнокомандующего Кутузова спасло их от незаслуженной казни.

В 1813 г. вдове Энгельгарда и родственникам его назначена пенсия, и чрез несколько лет поставлен чугунный памятник над его могилой⁶⁵. В одной яме лежали три трупа. Узнать, который из них Энгельгард, не было бы никакой возможности, ежели бы не явился тут сосед, друг и приятель его Повало-Швыйковский:

– Вот он, голубчик мой Энгельгард, вот он! – вскричал Швыйковский, увидев один из трех черепов. – Видите ли: вот двух передних зубов в верхней челюсти нет. Это он, он, и никто как он!

Другой череп был с полным числом зубов, а у третьего не доставало одного или двух коренных зубов в нижней челюсти.

– Да почему же непременно он? – спросили Швыйковского.

– Помилуйте! Мы с ним однажды подвыпили и черт знает за что повздорили. Он меня хватил в рожу, я ему ответил тем же и выбил ему тогда эти же два зуба. Вот видите этот кулак – он совершил это дело, и он – мой. Ну, как же мне не знать!

Аргументация показалась до того убедительною, что без малейшего возражения решились положить скелет с выбитыми двумя зубами под памятник, а другие два скелета мародеров отнесены были подальше.

II.

Восточная половина Смоленской губернии заселена великорусами – племенем славянским, сформировавшимся после других в стране залесской, на почве чудской, по Волге, Оке, Клязьме, Москве, Яузе, по рекам, названия которых никак нельзя признать

⁶⁵ Чугунный памятник, отлитый по приказанию императора Николая I на Александровском литейном заводе, был установлен на месте расстрела П.И. Энгельгарда в 1835 г. На памятнике была надпись: «Подполковнику Павлу Ивановичу Энгельгарду, умершему в 1812 году за верность и любовь к Царю и отечеству». После Октябрьской революции памятник демонтировали. Ныне недалеко от места расстрела, на доме № 2 по ул. Дзержинского установлена мемориальная доска в память П.И. Энгельгарда.

славянскими. Западная же занята нынешними белорусами, потомками кривичей, главным городом которых был Смоленск.

Но что это за кривиче, будто призвавшие вместе с новгородцами варяго-русов и между тем покоренные оружием второго по порядку варяжского князя? И что это за варяги, призванные или непризванные, но завладевшие всеми восточными славянами? Костомаров, увлекшись односторонним взглядом литовского историка Нарбута, сделал их литовцами. Карамзин, а за ним Погодин с братьями и учениками своими на основании столь же односторонней летописи Нестора Печерского обетовали за их скандинавское происхождение. Спорили яро, но и покончили тем, что спорили, потому что не решили ничего, и каждый остался при своем.

Известно очень хорошо, что скандинавские норманны ежегодно ватагами на ладьях оставляли свою бедную и бесплодную родину и выселялись из нее, стремясь постоянно к благодатному югу. Все берега Балтийского (Варяжского) моря были заняты ими, и везде здесь они были победителями и повелителями. Шайноха очень основательно доказывает, что в самой Польше, стране довольно удаленной от моря, первыми основателями государственности были норманны. Дания, Англия и часть Франции были в их власти. В Европе по церквам молились: “*A furore normannorum libera nos, Domine!*”⁶⁶ – а они между тем явились даже в Сицилии. Позже потом, но все-таки до Колумба, они завладели Исландией, Гренландией и Вейнляндом (Атлантическим побережьем Соединенный Штатов). Могли ли они оставить в покое и не завладеть литовскими племенами Ливонии, Жмуди и Пруссии и могли ли, завладев ими, не идти реками вглубь страны, населенной славянами и лежащей на пути к Черному морю и Византии? Олег уже переместился в Киев, а Святослав даже и не хотел возвращаться в него из Переяславца болгарского. Даже имена их приводят к этому заключению: Олег, Ольга и Ольгерд, Аскольд, Рогвольд, Рингольд и Витольд, Синевс и Миндовс и проч. Но в Литве норманны встретились с систематически организованною религиею и, как немногочисленные завоеватели, сами же сделались последователями ее. Не устояли и восточные славяне перед могуществом этой религиозной системы и стали тоже поклоняться Перкуну, Похвисту и другим богам литовским. Дидись-Ладо (великий порядок, судьба, *fatum*) вместе с Полелем (Люли) и теперь вспоминаются еще в старых народных песнях. Но у литовцев верховным божеством был Знич (из ничего), чествуемый в виде огня, а славяне, кажется, не знали его. Это объясняется очень просто.

⁶⁶ «От ярости норманнов избавь нас, Боже!» (лат.).

Евреи часто поклонялись Ваалу вместо Еговы, буддисты и даже браминисты совсем позабыли Парабраму, да и мы, мы, христиане, из 365 дней ни посвятили ни одного Богу Отцу. Егова, Парабрама и Создатель – идеи слишком отвлеченные и не могущие принять никакой видимой формы, а для народа не развитого, как и для человека в детском возрасте, они совсем недоступны. Первосвященник литовской иерархии Криве-Кривейто был блюстителем и вместе жрецом Знича, и все последователи литовской мифологии поэтому были кривиче. Истуканы Перуна стояли в Новгороде и Киеве, следовательно, и новгородцы, и киевляне были также кривиче, как и смоляне. Нынешний Новогрудок долгое время назывался Кривичинградом. Криве не имел никакой светской власти, и потому восточные славяне, оставаясь кривичами, не имели никаких с ним сношений и не знали его. Спросите крещеного тунгуса или остяка, кому он молится? Он ответит: «Богу». «Какому?» «Николе Чудотворцу и бабе (супруге) его Богородице». И оказывается, что этот христианин ничего не знает про Христа. И это в конце XIX века, а что же было за тысячу и полторы тысячи лет?

Все восточные славяне были кривичи, хотя могли отличаться говором и даже обычаями жизни, а про то, откуда пришли варяги, из Рослагена или из Россиен, не стоило и спорить. Во всяком случае, они были норманны.

III.

Еще до приезда в Смоленск я встретился с одной смоленской личностью, сильно заинтересовавшей меня. Дело было так.

Из Витебска с молодою женою своею я прибыл в Велиж и остановился в гостинице при почтовом дворе, содержимой знакомым Бекертом, бывшим кондитером в Витебске. Намереваясь на другой день выехать пораньше, мы перекусили и легли спать в отдельной небольшой комнате. Часов в 10 или 11 вдруг нас разбудил резкий и звонкий женский голос в соседственном зале, ругающий ямщиков и почтового писаря словами, не допускаемыми в печать, которые сыпались с разными усилениями, вариациями, модификациями и модулированиями так быстро и энергично, что поставили в тупик тех, кому они адресовались. И разудалый писарь⁶⁷, и ямщик молчали. Призван был полицейский пристав с требованием немедленного наказания ямщика за грубость, и

⁶⁷ Писарь этот был самым деятельным сподвижником известного Тришки-Клингера. Он один уцелел из всей шайки по усиленным стараниям г-жи Клиндер. После бегства Клингера из Сибири он скрылся, но куда – неизвестно – прим. М. Маркса.

когда оказалось, что вся грубость его состояла в том, что он сказал: «Ну, полно, барыня, ругаться, ведь стыдно даже слушать твою брань» – и пристав осмелился возразить что-то в защиту его, новый поток брани хлынул на бедного потерявшегося полицейского чиновника. Явился, наконец, городничий, и тот благоразумно заявил, что по требованию ее сиятельства ямщик сейчас же подвергнется сотне ударов розгами. Сиятельство успокоилось, аппетитно поужинало и улеглось в соседственной с нашею комнате. Это была супруга Смоленского губернатора княгиня Трубецкая, дочь фельдмаршала Витгенштейна⁶⁸, дама de la grande [1 слово нрзб.] даже в высшем петербургском кругу. Где и в каком институте или пансионе она изучила все формы народной брани со всеми ее оттенками? Всю ночь мы не могли уснуть. Жена моя от стыда закрылась подушками и, не зная, куда деваться, дрожала, как в лихорадке. Ее сиятельство изволила почивать недолго и уехала раньше нас. Велиж принадлежит к Витебской губернии, и потому городничий отпустил ямщика, назвавши его только дураком за то, что он не промолчал, когда взбесившаяся баба ругала его ни за что, ни про что. Не так бы дело кончилось в каком-нибудь уездном городе Смоленской губернии.

Замечательнейшею личностью в Смоленске был Тимофей, престарелый епископ Смоленский и Дорогобужский⁶⁹. Как и за что попал он в архиереи – трудно ответить, потому что кроме неукротимой страсти делать наставления и читать проповеди не мог никто найти в нем что-нибудь достойное похвалы и уважения. Наставления же его и проповеди только могли возбуждать или смех, или сожаление. Помешанный на какой-то простоте духа он был предметом всеобщего посмеяния. Сам он говорил в простоте духа и настойчиво требовал, чтобы все верили, думали, говорили и жили в простоте духа, которая в большей части случаев была ни более, ни менее, как синоним полного идиотизма.

Однажды его угостили пакетом, полученным будто официально из Петербурга с нотами для полного хора кантаты к тексту:

⁶⁸ Витгенштейн Эмилия Петровна (1801–1869), дочь генерал-фельдмаршала П.Х. Витгенштейна, супруга Смоленского губернатора П.И. Трубецкого (1798–1871). По отзывам современников, славилась своим сильным характером и любила «властвовать без раздела». Ее гнев и силу знали не только в городах, где она жила с мужем и детьми, но и на почтовых станциях, где ее боялись все ямщики.

⁶⁹ Архиепископ Тимофей (в миру Трофим Тимофеевич Кетлеров, 1782–1862), с февраля 1834 г. епископ Смоленский и Дорогобужский.

По имени – Тимофей,
По званию – архиерей,
а по уму – так, ей-ей,
пребольшой дуралей!

Долго доискивались виновника этого шуточного скандала. Но как сами разыскиватели улыбались только исподтишка, то, разумеется, дело нужно было без отлагательства предать суду божию. Так оно и покончилось ничем, как будто его и не бывало.

Зимой по Днепру устраивался конский бег, где особенно отличались лошади одного из Энгельгардов, в самом деле, рысаки не последние. Не понравилось это преосвященному Тимофею, тем более, что никто не явился к нему ни за советом, ни за благословением его. И вот в одно воскресенье оставшимся в соборе несколькими десятками стариков и старух начал он проповедовать, объясняя слова «много воззванных, а мало избранных» приблизительно следующими фразами: «Вот вы, набожные слушатели, верующие в простоте духа, остались здесь, во храмине, чтобы услышать слово божие из уст моих. Блаженны вы есте, яко те немногие избранные. А вот те многие любомудрцы, что побежали и поскакали на ристалище, устроенные неким Энгельгардом, те – воззванные, не явившиеся на пиршество и осужденные на огонь вечный в геенне кромешной!» Можно представить, какое впечатление должны были произвести подобные проповеди.

К 15 августа, дню Успения (по местному говору, Ушествия) Пресвятой Богородицы из всех окрестностей Смоленска, верст за 50 и более, собираются сельские бабы к храмовому празднику Смоленской Божьей Матери на воротах, неся с собою расчесанный лен, выпряденные нитки и сотканые полотенца. Накануне вечером трудно уже пробиваться по улицам сквозь толпу собравшихся крестьянок. Толкотня и говор не прекращаются и ночью, потому что едва ли десятая часть всех пришедших найдет приют в домах города. По тротуарам, у заборов – везде толпы то стоящих, то сидящих, то лежащих женщин. Смоляне прозвали их за что-то авдотками, и какой-то классик-семинарист выразился про них даже гекзаметром:

«Audotae hodie nobis ranarum modo coaxant!»

(«Авдотки нам сегодня по-лягушачьи квакают!»).

Не мог преосвященный Тимофей оставить и авдоток, малых сих, без наставлений и поучений, тем более, что у Днепровских ворот по его же распоряжению, или как он выражался, благословению, поставлен был ящик с призыванием верующих

сносить посильные лепты на обновление износившейся и пришедшей в ветхость ризы Пресвятой Богородицы. И вот, когда весь огромный собор был набит ими, он с умилением увещевал их веровать в простоту духа без любомудрствования, и ежели бы в чем которая из них усомнилась, то да обратятся к нему за просветлением взоры ея. Нашлась же какая-то не только верующая, но и размышляющая авдотка и обратилась к нему с просьбой объяснить ей: «Святое Ушествие – мужчинка али женщинка?»

– Жено, кощунствуешь! Дьявол, исконный пакостник рода человеческого, искусивший праматерь нашу Еву, глаголет твоими устами! Кайся, кайся скорее, да не погибнешь во веки!

Авдотка-то ото всего сердца и слезно покаялась, но сколько людей пожимали плечами и не умели даже скрыть улыбки на лицах своих.

Дряхлый лютеранский пастырь, застраховавший свою жизнь во время оно и внесший ежегодными уплатами сумму чуть ли не втрое больше назначенного им после себя наследства, умер, наконец, в Смоленске, и на его место прислан другой, питомец Дерптского университета, прочно закаленный в буршевских коммермах и кнайпах, а равно и в богословской диалектике. Он, делая визиты всем, без различия вероисповеданий, как властям, так и замечательнейшим из личностей города, явился и к преосвященному. Тот принял его с подобающею важностью, совсем не соответственной простоте духа, и, между прочим, отнесся к нему с фразою:

– Вы – христианский, хотя лютеранский, священник, и потому, я полагаю, что вы сознаете свое низшее значение в сравнении с нашими священниками. Ведь вы верно знаете, что мы-то, мы – первые, а вы далеко за нами.

– Вполне согласен, ваше преосвященство, – сказал пастор, – я не надеялся услышать от вас столь лестную похвалу, за которую приношу чувствительнейшую благодарность.

– За что же? – в недоумении спросил Тимофей.

– Священное писание у нас одно и то же, и потому я осмеливаюсь обратить внимание вашего преосвященства на слова, находящиеся в нем: «Первые будут последними, а последние – первыми».

Остолбенел архиерей и едва собрался с силами ответить на этот ловкий диалектический изворот вздохом и чуть ли не со стоном:

– Любомудрствуете, любезнейший, любомудрствуете. А мы-то в простоте духа, без всякий любомудрствований...

– Змий искуситель! – прибавил преосвященный, обращаясь к стоявшему при нем причетнику и указывая пальцем на удалявшегося в переднюю пастора.

Общество сельского хозяйства и промышленности затеяло выставку произведений своей губернии. Последовало разрешение на нее свыше, и хотя малочисленность экспонатов и жалкий вид представляемых ими предметов очень затрудняли и устроителей, и распорядителей, однако придан был ей вид хотя не блистательный, а все-таки сносный и даже очень порядочный. Оставалось открыть ее поднятием иконы, молебном и водосвятием; и вот затруднение: никто из членов общества не хочет отправляться к его преосвященству в виде депутата с просьбою благословить открывающуюся выставку. Да и в самом деле, что за охота вдруг попасть в некие энгельгарды? Кое-как уговорили, наконец, помощника председателя общества и директора гимназии Петра Дмитриевича Шестакова⁷⁰ съездить к страшному архиерею. Тот поехал и успел склонит его на соизволение, но спрошенный о приеме и разговоре во время приема, ответил с улыбкой и, махнув рукою, только односложным: «Ну!»

По окончании молебна преосвященный выступил с необходимою и неизбежною при каждом случае импровизированною в простоте духа проповедью и разрядился следующим условным периодом:

«Ежели открываемая выставка имеет целью усиления славы божьей и благодарности всевышнему за данные им дары, ежели она будет возбуждать в душах посетителей ее благочестие и набожность, я призываю на нее благодать Создателя и благословляю ее; ежели же напротив она послужит к распространению житейской суеты, роскоши и разврата и отвлечет набожных и преданных веры от простоты духа, смирения и покорности божьему провидению, то я проклинаю ее и предаю анафеме».

Заметим, что это был финал его проповеди или, лучше сказать, заключение высказанной им семинарской хрии, и что вслед за этим хор певчих грянул: «Спаси, господи, люди твоя», – и проповедник пошел окроплять залы выставки святою водою.

– То же он и вчера говорил, – сказал П.Д. Шестаков по окончании обряда открытия.

Простота духа не оставила преосвященного Тимофея и в присутствии государя императора Александра Николаевича в Смоленске.

⁷⁰ Шестаков Петр Дмитриевич (1826–1889), педагог, ученый и общественный деятель. С 1852 по 1855 гг. – инспектор, а с 1855 по 1860 гг. – директор Смоленской гимназии. В 1865–1883 гг. исполнял должность попечителя Казанского учебного округа.

Перед обедом государь, подошедши к столу, хотел налить себе рюмку вина, как вдруг архиерей, приглашенный тоже к столу, обратился к нему со словами:

– Богу нужно прежде помолиться, ваше императорское величество, Богу!

– А, да! Начинайте!

– «Очи всех, Господи, на тя уповают» и т.д., – с чувством, толком и продолжительной расстановкой прочитал архиерей.

Государь пригласил занять его место возле себя и постоянно подливал в его рюмку вина, упрашивая выкушать.

Под конец обеда бедный старик не мог подняться с кресла без помощи двух послушников. Александр Николаевич был, кажется, очень доволен неустойчивостью архиерея, не показывая вид, что не примечает ее.

Через месяца четыре или пять епископ Смоленский и Дорогобужский был уже на упокое на Меже, в Ордынской пустыне Поречского уезда.

IV.

Совершенно в противоположность архиерею можно поставить другую современную ему личность – председателя казенной палаты Колковского. Ежели тот говорил и действовал по своему понятию в простоте духа, то этот напротив и одно, и другое вел выгодным для собственного только индивида и всегда окольным и извилистым путем.

Генерал Черняев был женат на его сестре, женщине замечательной красоты и ума. При помощи ее Колковский поступил в гражданскую службу, начав ее с очень неказистой карьеры писца, но при протекции сестры и ее мужа быстро подвигался и в чинах, и в соответствующих им должностях, и, наконец, дошел до места советника в казенной палате. Тогда в палате за столом сидели четыре советника. Три из них получали не более 400 р[ублей] асс[игнациями] годовичного жалования и должны были довольствоваться исключительно им только. Не то четвертый, заведующий питейным сбором. Этот при таком же жаловании имел с одних откупщиков по губернии более 10 000 р[ублей] так называемого приношения, кроме неопределенной доставки для домашнего употребления натурою quantum satis водок, настоек и наливок. Колковский вскоре занял это теплое местечко и женился на девушке с порядочным приданным и, главное, первой красавице в Вильне.

Тамошний генерал-губернатор кн. Долгоруков был, как и все его однофамильцы, очень липок к прекрасной половине человеческого рода, и эстетическое

сердце его не могло не таять при одном только созерцании красоты. Колковский подметил эту слабость сиятельного правителя страны и расчел, что, ежели красота сестры доставила ему независимое положение со средствами наживы, то из красоты молодой жены можно будет извлечь выгоды далеко большие. Сблизить ее нарочно с кн. Долгоруковым и, как говорится, подсунуть ему. Колковская сделалась явною любовницей генерал-губернатора, который никуда почти не являлся без нее. В театре, на гуляниях, вечерах и балах Колковская везде с Долгоруковым. Весь чиновный мир ухаживал за нею и низко кланялся ей. Она сделалась правительницею целых трех губерний. Чины, награды и ордена посыпались на Колковского, он самодовольно потирал себе руки и зажил на славу. Долгоруков не жалел ничего, кутил, веселился, истощался на дорогие подарки своей возлюбленной и лез в долги, тогда как Колковский наживался со дня на день.

Маленькая тучка набежала раз только на виленский горизонт. Долгоруков распорядился потешить Колковскую неизвестным ей развлечением и устроил возле бульвара великолепные русские качели. В мясоед по воскресениям и четвергам устраивались гуляния с музыкою, певчими и иллюминациями. В особенном мягком бархатном ящике князь с дамой своего сердца изволил то взлетать с восторгом горе, на 5 или 6 сажень вверх, то опускаться с упоением вниз – долу. Но вот случилась беда! В какой-то понедельник утром на рассвете появилась длинная, в несколько сажень, и широкая, более сажени, белая простыня, растянутая во всю ширь качелей, с крупной надписью:

Cud nad cudami w Wilnie się dzieje:

Na szubienicy, nazwanej kaczele,

Co czwartek i co niedzielę

Wieszają się sami złodzieje!

(Чудеса из чудес делаются в Вильне: на виселице, именуемой качелями, по четвергам и воскресениям воры сами вешаются).

Колковская впала в истерические припадки и серьезно заболела. Долгоруков сейчас же приказал поломать качели, и к масленице их уже не было.

Хотя и не в этом же году, а все-таки после масленицы настал котику великий пост. Долгоруков был сменен, оставил Вильну, Колковскую и долги без уплаты. Евреям-кредиторам оставалось только говорить: «Ай вай! Руки уехали, а долги остались».

Колковская вдруг лишилась всего своего ореола, и муж ее заблигорассудил переместиться из не совсем благосклонной к нему Вильны на новую почву в Смоленск,

председателем казенной палаты. Хорошо ему было бы и тут, когда бы не одно, надо полагать, непредвиденное им и не взятое в расчет обстоятельство. Супруга его заболела психическим раздвоением, чуждалась всех, возненавидела мужа, называла его в присутствии слуг и посторонних людей Иудой, осквернителем, унижившим, продавшим и обесчестившим ее, затворилась на несколько даже дней в своей спальне и там плакала, рыдала, била себя в грудь и молилась, стоя на коленях. Как ни ухаживал за нею муж – ничто не помогало. Она впала в религиозную манию и твердила только одно: «Смириться, молиться и каяться!». Колковский *volens nolens*⁷¹ должен был осуществить это ее желание.

Со времен Бирона католической церкви и католических священников не было во всей Смоленской губернии. Это-то и принудило Пржевальских, Синявских, Пташинских и других мелких помещиков крестить новорожденных детей в православии, за невозможностью ездить для того за границу в Польшу. Колковский выхлопотал дозволение построить небольшой костел и при нем иметь постоянного приходского ксендза. Довольно красивая каменная церковь воздвигнута была в так называемой Солдатской слободе, недалеко от Молоховских ворот, вблизи проходящего тут же Рославльского шоссе. При ней приличный ломик для священника со службами, садиком и огородом. Каждое утро часов в 10 в закрытой карете Колковская шагом ездил в церковь к обедне, а в предпраздничные и праздничные дни – к вечерне. Она успокоилась несколько, но осталась до конца грустной, печальной и молчаливой.

После Колковского заведование католическою церковью перешло к синдикам, избираемым прихожанами. Синдики, вероятно, прочитавши поэму Мицкевича «Пан Тадеуш», хотели иметь у себя что-то вроде идеального ксендза Робака и, разумеется, постоянно ошибались. Все присланные ксендзы были люди добрые, неглупые и даже почтенные, но не расставались с аксиомою, выраженною еще в начале XVI-го века польским поэтом Яном Кохановским в его макаронической шутке:

Non licet księdzo poczciwam zonam habere,
Sed licet curvam trzymare kucharkam.

(Неприлично ксендзу иметь честную жену, но прилично содержать развратницу-кухарку).

⁷¹ Волей-неволей (лат.).

Третьею очень замечательной личностью был смоленский Ротшильд еврей Ицко Закошанский. Не было, кажется, помещика, не заискивавшего у него доброго расположения. Все смоленские аристократы: Друцкие, Потемкины, Энгельгарды, Лесли, Криштафовичи и прочие сидели, буквально говоря, в одном из его карманов. Ходил он в длиннополом сюртуке с шестью или семью карманами с каждой стороны. Это была ходячая контора, и в случае надобности в справке Ицко только начинал считать карманы: «Дрей, фир, финф, зекс», и, дойдя до известного года, сейчас же вынимал из него пачку, где находился искомый вексель или другое какое-нибудь долговое обязательство. Удивительна была его доверчивость, и что только с ним не подделывали смоленские помещики! Продавали ему хлеб на корне – он платил, а они жали, молотили и сбывали в другие руки. В гражданской палате у него было постоянно не менее тридцати исков. Но как и председатели, и советники были или родные, или хорошие знакомые ответчиков, то дела тянулись бесконечно, и Ицко морщился, почесывал затылок, терпеливо ждал, и даже, когда имению должника угрожала опись и продажа с аукциона, давал опять деньги под новое обязательство.

Не могу забыть встречи с ним в гражданской палате. На страстной неделе, когда чиновники говели, Ицко зашел в палату справиться о своих делах, так как наступала светлая седмица, в которой присутствий не бывает.

– И вы тут? – спросил он с удивлением, увидевши меня у стола, где записывался протестуемый мною вексель.

– Да, по делу, – ответил я.

– Ну! Так придите завтра, а там послезавтра, а там еще послезавтра, а там после праздников, пока будут делать справки да пойдет переписка.

– Обойдется без всех этих церемоний, – сказал я преспокойно.

– А как же у меня так все идет переписка, да переписка, а когда кончится эта переписка – того не только я, но спросите у них – и они не знают.

– Да вам, жидам, не стоит ничего и делать, – сказал помощник столоначальника, довольно пошленький и глупенький человек.

– А зачем не стоит? Делай дело – так и будет стоять, а как не делаешь ничего – ну, так и не стоит, – сказал Ицко.

– Да вы Христа мучили, – пробормотал чиновничек, вероятно, под влиянием страстного времени.

– Ой, какой же он умный! Ну-ка, умница, скажи же, когда мы начали Христа мучить?

Умница нашелся в сильном затруднении.

– В четверг вечером, – шепотом подсказал я чиновничку, видя безвыходность его положения.

– В четверг вечером! – громко ответил тот.

– Ну, а когда же замучили?

– В пятницу! – сам, без подсказывания, отвечал бедняга.

– Ага! В четверг стали мучить, а в пятницу замучили! А когда к вам попался Христос, то вы как завели бы переписку да справки, так дело тянулось бы, тянулось, и до сих пор вам же не было бы спасения.

Громкий взрыв смеха заставил одного советника выбежать из присутствия.

– Что тут такое?

Ему рассказали слово в слово весь разговор. Советник расхохотался, побежал в присутствие, рассказал председателю и товарищам, и долго, долго хохотала вся говеющая гражданская палата.

Не знаю, что сделалось с этим чудачком Ицкою, но мне казалось тогда, да кажется и теперь, что он должен был неминуемо обанкротиться, несмотря на его гешефтмахерские дарования.

V.

Предметом всеобщего поклонения и чуть не идиолом смоленской аристократии и всего помещичьего сословия был губернский предводитель дворянства кн[язь] Мих[аил] Вас[ильевич] Друцкой-Соколинский. Заклятый крепостник и даже деспот в собственном семействе, он лишь один быстротою соображений и изворотливостью слов мог оправдать надежды своих собратий-помещиков, предчувствовавших уже угрожающую им невзгоду.

Императору Николаю Павловичу опротивело, наконец, постоянное разбирательство так называемых крестьянских бунтов, усмиряемых военной силой, и он невольно пришел к заключению, что положение миллионов крестьянских людей, должно быть, не совсем хорошо и что надо его поправить. Но как это сделать? Вот вопрос, решение которого по неприложимости к нему военной силы было для него недоступно. А между тем то в одном, то в другом месте крестьяне бунтуют, их усмиряют штыками, секут кнутом, плетью, розгами, и многие выносят эти операции молча, без малейшего даже стога; их шлют в каторгу, и они идут туда, как на приходской праздник, с пением песней. Нужно было прибегнуть к каким-нибудь средствам предотвращения этих

беспокойств, и государь решился, вопреки самостоятельности своего характера, призвать верных слуг своих из разных углов обширной империи, внушить им необходимость изменения отношений их к крестьянам и заставить их самих привести дело к лучшему виду. Губернские предводители дворянства, т.е. именно те, которых совсем не следовало бы спрашивать, съехались по приказанию Николая Павловича в Петербург. В числе их был и Друцкой-Соколинский, самоуверенно обещавший провожавшим его из Смоленска дворянам не посрамить земли русской.

Письма Друцкого из Петербурга читались с восторгом и списывались в сотнях копий, которые со всевозможно поспешностью рассылались по всей губернии. Они быстро следовали одно за другим. В первом Друцкой сообщал о приезде своем в Петербург и о сближении своем с влиятельными при дворе Рибопьером и Фантон де-Верайеном. Во втором – о разговоре с министрами внутренних дел и государственных имуществ. В третьем – об аудиенции у государя. По смыслу этого письма Николай Павлович, по заявлении для чего и с какою целью повелено им явиться, прибавил: «Я требую от вас, чтобы откровенно высказали мне свои мнения по этому делу как помещику – первому только среди вас». Этого довольно было для изворотливости Друцкого; он поспешил подать свое мнение скорее других и в нем, как дважды два четыре, доказывал, что primus inter pares⁷² может быть только государь конституционный, и революционные движения в Западной Европе имеют один общий источник – отмену крепостного права! Ненавидные призраки конституции и революции произвели на государя сильнейшее впечатление, и он призывает к себе Друцкого, обнимает его, целует, благодарит за верноподданническую откровенность и обещает назначить его правителем какой-нибудь из лучших губерний при первой открывшейся вакансии.

Восторг смоленских помещиков был неимоверный. Они тоже обнимались и целовались, поздравляя друг друга, многие напились до бесчувствия, иные пустились даже в пляс с присвистом и прищелкиванием. Положено было встретить кн[язя] Мих[аила] Васильевича торжественно на границе Смоленской губернии поднесением ему образа ангела его архистратига Михаила.

Въезд Друцкого в город был в самом деле торжествен. При трезвоне во всех церквях, сопровождаемый вереницею экипажей, выехавших навстречу у границы губернии дворян и архиерея, решившегося при всей своей косности проехаться до

⁷² Первый среди равных (лат.).

первой почтовой станции, он подъехал прямо к дому дворянского собрания, где встретило его музыкою, спичами и тостами собравшееся отовсюду(нем)..... дворянство, которое, отвечая на данное ему в речах имя отца, он назвал: «Дорогие дети мои!»

Слух об этих овациях дошел и до Петербурга и очень не понравился государю. Вследствие чего, когда на место губернатора, кажется, в Олонецкую губернию, был представлен кн. Друцкой-Соколинский, Николай Павлович назвал его болтуном и назначил следующего за ним кандидата.

Как бы в pendant⁷³ к Друцкому была в Смоленске другая личность – граф Пав[ел] Петр[ович] Буксгевден. Сын генерала, прокутившего свое петербургское имение Лигово, он сумел однако же поправить кое-как свои обстоятельства женитьбою на дочери богача Рюмина и наследством в Черниговской губернии имения Ляличи, бывшей резиденции последнего малороссийского гетмана Разумовского, полученном по дяде барона Черкасове; но все-таки, по фамильной традиции, вел свои business⁷⁴ постоянно так, что из карманов Ицки Закошанского никак не мог выйти и по временам только переходил из одного в другой. На словах либерал, толкующий где нужно и где не нужно о равенстве людей и свободе человечества, восхищающийся Маратом, Робеспьером и Сен-Жюстом, на деле был крепостником, нисколько не уступающим Друцкому, ежели только не превосходил его вследствие своей ветрености и невоздержанности.

Будучи еще холостым, он соблазнил девушку, дочь дворового человека в своем смоленском имении Ляхове, лелеял ее, окружил прислугою и, уезжая в Москву, приказал всем своим крепостным беречь и уважать ее. В Москве нашел себе невесту и, чтобы сбить с рук ненужную теперь мебель, выслал приказ своему бурмистру обвенчать ее со старым крестьянином, обремененным большим семейством от первой жены, неисправным ни во взносе податей и повинностей, ни в работе на барщине, и в приданое снабдил ее лошадыю, коровою и 25 рублями денег. И что же? Бедную женщину побоями и толчками втащили в церковь, несмотря на ее стон и крик, обвели вокруг аналая и отвезли в деревню к мужу. Едва ли прежде когда-либо помещичья власть доходила до таких безобразий, до каких дошла она в Смоленской губернии по возвращении Друцкого из Петербурга. Отец несчастной бросился было в Смоленск к архиерею и губернатору; его возвратили под конвоем домой и отшлепали на славу. Жалко было смотреть на самую

⁷³ В пару (франц.).

⁷⁴ Работа, дела (франц.).

жертву прихоти, насилия и самодурства; нелюбимая мужем, ненавидимая его семьей и пренебрегаемая всеми, она в грязном белье и с какою-то тряпкой на голове сидела у ворот на земле, подперши бороду коленями и, обхвативши свои ноги руками, смотрела куда-то вдаль так бессмысленно, что при одном взгляде на нее нужно было сознать, что в этой грациозной даже форме человеческого тела не было уже ничего человеческого.

«Его сиятельство граф по милости своей обеспечивает ее судьбу, а я благословляю. Чего же тебе еще нужно?» – сказал архиерей отцу ее.

Лучшего ответа от преосвященного Тимофея нельзя было и ожидать.

Избранный дворянством в попечители Смоленской гимназии граф стал так помывать и начальством, и учителями, что те поневоле должны были протестовать против самодурных его распоряжений. Сторону попечителя принял отец предводитель дворянства со всеми своими детками, а противоположную – министерство просвещения. Переписка длилась довольно долго и окончилась тем, что г-н попечитель, сознавши свою некомпетентность, отказался от занимаемого им поста и был сменен.

Венгерская война прошла незаметно. Почтеннейшая смоленская публика, читавшая только одни московские ведомости и не имевшая никакой претензии к иностранным газетам, узнала о ней только потому, что кн. Варшавский, пред которым мятежники положили оружие, торжественно встречен государем и награжден фельдмаршальским жезлом.

Зато Крымская война едва ли где в других местах России (кроме Москвы) была встречена с таким жаром, восторгом, и почти исступлением.

Вот, в воинственном азарте

Воевода Пальмерстон

Поражает Русь на карте

Указательным перстом –

повторялось везде, даже на улицах, кстати и некстати. Явились какие-то [4 слова нрзб.], а после и «Марш смоленского ополчения» *maestoso e risoluto*⁷⁵, громкий, трескучий и заунывный вместе. Все это было произведением смоленских виртуозов, и смоляне восхищались ими чуть-чуть не целый год. После как-то про них и совсем забыли. Марш был сочинен каким-то немцем, фамилии которого я не помню, а знаю только, что в то же время он занят был композицией русской оперы «Леший», отдельные номера которой разыгрывались в зале дворянского собрания. Другой немец,

⁷⁵ Величавый и решительный (итал.).

капельмейстер и хороший знаток музыки уверял, что в третьем минорном колоне смоленского марша в самом деле слышится мотив народного *pastorale* «ты поди, поди, коровушка».

Смоленск кипел патриотическим энтузиазмом. Только и разговоров было о войне и победах. «Шапками закидаем эту сволочь». «Шапками вбросим нахалов в море». «Напрям, ударим, победим!» «Не нужно нам их вино и шелков, есть свои в Крыму и на Кавказе, а мало их – так есть меды и кислые щи!» «Вот посмотрим, как эти нищие обойдутся без нашего хлеба», – кричали смоляне и в то же время хлопотали о пособии из казны на прокормление умирающего с голоду народа. Чиновникам (кроме служащих по министерству просвещения) выдана была не в зачет треть годового жалования, а крестьян за недосугом позабыли, хотя в запасных магазинах наличного хлеба нашлось что-то менее нуля, т.е. какое-то отрицательное количество, называемое долгом на помещиках и значащееся временно на бумаге до появления нового всемилостивейшего манифеста Николая Павловича, который однажды в бытность свою в Смоленске выразился даже так: «Ежели бы я не был императором всероссийским, то желал бы быть губернатором Смоленским».

Особенно эффектно были выборы в офицерские чины ополчения. Кн. Друцкой, стоя перед портретом государя, говорил пламенную речь, поворачивался и бросался то к портрету, то к публике, размахивал руками, бил себя кулаками в грудь и сыпал самые блистательные фразы, заимствованные из речей героев древней, средней, новой и новейшей истории. Грудной ящик князя оказался с отличнейшим резонансом, потому что кулачные удары в него были слышны на хорах обширного и высокого зала.

– Государь! Мы прольем последнюю каплю нашей крови и ляжем костями, защищая тебя и отечество! – кричал он с грудобитьем, обращаясь к портрету.

– Заложим жен наших и детей и пойдем поголовно, стар и млад, – говорил он, повернувшись к дворянам, как будто жен их и детей взял бы кто-нибудь в заклад и будто они нужны кому-нибудь, хотя бы даже Ицке Закошанскому.

– Иду, государь, иду, а за мною все доблестное смоленское дворянство, – это к портрету.

– Дети мои! Как же мне расстаться с вами? Нет! Я останусь здесь оберегать ваших жен и детей, – это к любезнейшим деткам-дворянам.

И последнее желание его исполнилось – он остался. Начальником ополчения Смоленской губернии избран старый генерал Гернгросс, а смоленским уездным командиром – поручик граф П.П. Буксгевден.

Последний, подражая Александру Великому, Аннибалу и Суворову, вел свой отряд, идя пешком, спал на сырой земле под шинелью только, питался одною же пищею со всеми ополченцами и, едва вышел из границ своей губернии, заболел тифом и умер.

– Уж слишком дурил, – говорили все почти его поклонники и знакомые.

– Когда не дюж, не берись за гуж! – прибавляли другие, и только очень немногие сказали короткое, но сочувственное «жалко!», на которое, по всей справедливости, он все-таки заслужил.

По поставке ополчения и выходе его Смоленск, как будто сваливши гору с плеч, успокоился. Мало его занимали известия из Севастополя, день ото дня худшие и худшие. Вступление на престол Александра Николаевича и Парижский мир несколько, однако же, его расшевелили. Радостно поздравляли смоляне друг друга с окончанием войны. «Да ну ее, опротивела!» – говорили с омерзением прежние ретивые охотники до медов и кислых щей.

Явились обратно и ополченцы.

– Где же вы были?

– А в Бендзерах.

– Что ж делали?

– Да стояли там.

– Только-то?

– Ну! И работали – муку рубили.

– Как?

– А топорами.

– Что же, и эту муку ели?

– Нам-то не досталась – гвардия съела.

В Москве тогда производился суд над Затлером и Вердеревским, и потому дальше не нужно было спрашивать.

Прошли через Смоленск в Москву и севастопольские герои с генералом Липранди, тем самым, про которого его же солдатики пели:

А Липранди: «Нет-с, аттанде,

Уж я не пойду.

Ведь там умного не надо,

Так пошли туда Реада,

А я погляжу!»

– Что, каков теперь Севастополь? – спросил я тамбур-мажора, поставленного на три дня в дом, занимаемый мной.

– Да как вам сказать, ваше благородие, видали вы когда-нибудь огород, изрытый свиньями? Вот вам и Севастополь.

– Метко и картинно, брат, выражаешься.

– Поверьте, что так, ведь я мог хорошенько приглядеться.

– Верю, верю.

VI.

Все, что думало и чувствовало по-человечески, скопилось в училищном ведомстве Смоленской гимназии. И начальники, и учителя, были люди большею частью молодые, только что окончившие университетские курсы, со светлыми идеями в голове и с теплым человеколюбием в сердце. Понятно, что дух крепостничества, обуявший всю местную дворянскую интеллигенцию, отчуждал их от себя с ненавистью и презрением. Когда смоленское дворянство испрашивало пособия у казны по причине голода и чрезвычайной дороговизны, учителя гимназии были исключены из числа чиновников по настоятельному совету предводителя Друцкого, а попечитель Буксгевден стал присылать в гимназию свои распоряжения с требованием исполнения их, точь-в-точь как к бурмистру и старостам в своем имении.

Попечителем Московского учебного округа был тогда генерал Назимов⁷⁶, добряк в душе, но в высшей степени бестолковый в деле управления учебной частью. В одно из своих посещений Смоленска он наивно проговорился: «Господа! Образование и наука – дело второстепенное, прикладное; главное – порядок, повиновение и субординация!» Не было почти дня в Москве, чтобы не явился разносившийся по всему городу анекдот о нем. То он приказывал провести диагонали на его же счет, то хотел присмотреться [к] гербу империи и Московской губернии в гербариях, то у него гипербола съедала в сутки 300 пуд[ов] сена и проч., и проч. до бесконечности. Надеяться на его заступничество было бы крайне неосновательно, оставалось одно – бороться

⁷⁶ Назимов Владимир Иванович (1802–1874), на то время генерал-адъютант. С 1849 по 1855 гг. – попечитель Московского учебного округа. Позднее был назначен в Вильно военным губернатором и управляющим гражданской частью, а также Гродненским, Ковенским и Минским генерал-губернатором. С 1861 г. – член Государственного совета.

собственными силами, твердо отстаивая свои права и разумно подыскивая средства защиты.

Не у всех хватило на то энергии. Учитель математики Еленев переехал в Петербург, где потом нашел для себя отличное поприще службы в комитете об улучшении быта крестьян, под руководством генерала Ростовцева. Сам директор Философов покоя ради исхлопотал себе перемещение в другое ведомство и уехал. Оставшийся инспектор Петр Дмитр[иевич] Шестаков должен был в то время заступить место директора и даже эконома при гимназическом пансионе. А тут нужно еще было вести к концу распрю с Буксгевденом. Храбро и стойко повел он дела гимназии: Буксгевден принужден был отказаться от попечительства, и сам Назимов после долгого колебания назначил директоров все-таки Шестакова, которому этого было достаточно, чтоб самому стать и поставить весь персонал учителей на незыблемой почве легальной независимости от капризных настояний сословия, мечтавшего прибрать в свои руки всех и вся.

После Назимова (назначенного Виленским генерал-губернатором) попечители Евгр[аф] Петр[ович] Ковалевский (после министр просвещения) и Ник[олай] Вас[ильевич] Исаков (потом начальник военно-учебных заведений) оценили по достоинству и Смоленскую гимназию, и ее директора, и учителей. Шестаков был вскоре назначен инспектором студентов Московского университета, потом инспектором училищ Московского округа, затем директором Демидовского лицея в Ярославле и наконец попечителем Казанского учебного округа. Когда же Н.В. Исаков хотел основать в Москве образцовую гимназию, то имел в виду почти половину комплекта всех учителей из Смоленска.

Особенно памятно столкновение Шестакова с генералом Липранди.

В половине третьего по окончании уроков ученик 1-го класса, маленький мальчик лет 10-ти, сын бедного чиновника, жившего где-то за Днепром в конце города, шел домой по большой улице и у собора встретился с ген[ералом] Липранди, едущим на обед, данный ему дворянами в зале собрания.

– Стой! – грозно закричал генерал.

Мальчик, никак не воображая, что этот приказ относится к нему, осмотрелся только и пошел дальше.

– Задержать его! – скомандовал Липранди шедшим по улице солдатам.

Бедняжку, совершенно потерявшегося, солдаты схватили и представили пред ясные очи его превосходительства.

– Как ты смел, щенок, не стать во фронт и не отдать чести начальству?

Мальчишка дрожал только и не отвечал ни слова.

– На гауптвахту его и держать там до моего приказа!

И мальчик очутился на гауптвахте.

Родители бросились на поиски за неявившимся домой сыном. Отец прибежал в гимназию узнать о нем что-нибудь, ему сказали, что он по окончании уроков пошел домой. Через час явился снова с известием, что сын его арестован генералом и содержится на гауптвахте. Директор сейчас же поехал к Липранди.

– Разве вам неизвестен приказ покойного государя императора, чтобы все воспитанники учебных заведений отдавали честь генералам и всем высокопоставленным лицам? Да сами вы и ваши учителя – вольнодумцы и беспокойные люди, не желающие повиноваться властям. Знаю я всех вас, знаю, сказывали мне про вас. Не пущу! Пусть сидит там до моего отъезда из Смоленска.

Шестаков, получивши такое dictum acerbum, тотчас же обратился к губернатору и настоятельно потребовал выдачи мальчика в ведомство гимназии, которой он состоит учеником. В тот же вечер мальчик был под конвоем доставлен родителям и сдан под расписку в получении.

– Я не прощу этого своеволья и сообщу о нем высшему начальству. Разогнать надо это революционное гнездо и загнать его, куда и Макар телят не гонял! – сказал генерал, уезжая из Смоленска.

Сообщил ли он по обещанию или нет – это неизвестно, но только угроза его осталась угрозою и никак не больше.

Tempora mutantur⁷⁷, и теперь это событие может показаться невероятным; но что же делать? – факт фактом, и его, как говорится, и топором не вырубить!

Выдающимся из учителей были: Нилендер (лат[инского] яз[ыка]), Домбровский (истор[ии]) и Гурский (русск[ого] яз[яка]).

Первый – питомец Дерптского университета, отличался и как опытный педагог, и как многосторонний филолог. Как немец, точный исполнитель своих обязанностей и строгий блюститель порядка и справедливости, он, однако же, подобно прочим немцам с годами несколько не потерял юношеского пыла и благородной снисходительности. Ученики любили и уважали его, хотя между собою называли его Зум за его немецкое произношение при латинском чтении.

⁷⁷ Времена меняются (лат.).

– Братцы, Зум идет, по местам! – сообщали товарищам караульные вестовые перед латинским уроком.

Домбровский – одесский лицеист, а потом московский студент как ученик Грановского к каждому историческому факту отыскивал производшую его причину, так что все события сводились у него в одну непрерывную нить последовательного развития человеческой деятельности. И этот глубоко критический взгляд он умел сообщать детским еще умам гимназистов так просто и доступно, что не было почти ни одного мальчика, который не занимался бы историею с охотою и не знал бы ее, по крайней мере, в степени, доступной умственному развитию его в других отраслях знаний. Попечитель Н.В. Исаков предлагал ему составить записки его уроков для облегчения при преподавании, но Домбровский отказался от этой работы, находя ее излишнею. Обеспеченный материально, он был порядочно ленив и отказывался от всех частных уроков за какую бы то ни было плату. Содержательница женского пансиона г-жа Зенкович, несмотря на уверение директора Шестакова в неуспешности ее предприятия, стала усиленно упрашивать Домбровского заняться преподавание истории в ее заведении. Он отказал ей наотрез.

– Как же быть пансиону без истории? – спросила она, потерявши уже последнюю надежду в успехе своей просьбы.

– Не печальтесь, сударыня, а радуйтесь, что в вашем пансионе нет истории. Ведь согласитесь, что это редкость, быть может, единственная в мире, – ответил Домбровский.

Гурский, старый и недужный холостяк и калека (он был без правой руки), из духовного звания, воспитанник Нежинских сперва бурсы, а потом лицея, был из тех людей, которые после разных тяжких передрыг смотрят на жизнь стоически и относятся к ней саркастически. Не будучи в состоянии позабыть невзгод своего детства и своей юности, он возненавидел духовенство, а ни разу не подвергшись страстным ласкам женщины, он сделался циником во взгляде на семейные отношения. Одаренный недюжинным поэтическим талантом, он всю горечь, накипевшую у него на сердце, излил прозою в письмах к своим знакомым и стихами в сатире «Попияда». «Попияда» эта состояла из четырех песен, не уступающих по объему песням «Илиады» или «Энеиды», и в ней картинно и, можно сказать, с фотографическою верностью представлен отвратительно грязный и в физическом, и в нравственном отношении быт тогдашнего темного сельского духовенства. Особенно комична обстановка этих картин. Там тараканы собираются сделать нападение на объедки пирога, оставшегося на столе, тогда как духовные отцы лежат в невменяемом состоянии после пира в престольный праздник,

одни вокруг стола, а другие и под ним. В другом месте подгулявший поп не на шутку объясняется в любви глупейшей бабе дьяконице уморительным церковно-семинарским языком, совершенно ей непонятным. Полнолуние ошкицировано двумя стихами:

«Луна раздулася, как поп
После попойки погребальной».

Так и кажется, что она лопнет. Описание же ночной тиши невольно хочется дочитать шепотом только и даже мысленно, не произнося ни слова. И что же, как она прерывается?

«Лишь сонный батрак на печи
Трещит в зените и надире!»

Сам Гейне не сумел бы безжалостнее разбивать свои сладостные мечты!

«Попияда» как всякое сочинение, не могущее явиться в печати, списывалась в тысяче экземпляров. Все читали ее и все знали ее автора. Кто-то поднес ее и преосвященному Тимофею. Тот в простоте духа хотел предать сочинителя анафеме с амвона, но никак не мог, к чести жителей Смоленска, узнать его имени, хотя оно было очень известно даже секретарю консистории Богдановскому, полнейшему распорядителю как Смоленскую епархию, так и самим архиереем. Жалко, если списки «Попияды» затерялись, со временем они могли бы быть ценным материалом для бытовой истории.

Гурский по наружности был очень неказист. Безрукий, сутуловатый, плешивый, подслеповатый, он имел еще и лицо очень непрезентабельное – точь-в-точь какой-то непотрезвляющийся пропойца, тогда как он никогда не только никакого вина, но даже и пива не употреблял ни капли. Попечитель Назимов никак не мог разувериться, что он не пьяница, и бедный Гурский ни за что ни про что был у него на худом счету. А между тем он был ловким, ласковым и опытным педагогом. Ученики любили его, хотя вместе с тем и боялись; его саркастические похвалы были для них одним из строжайших наказаний.

Выдающеюся личностью из среды учителей был преподаватель математики Синявский, но как деятельность его светло высказалась на другом поприще и только впоследствии, то об нем расскажем после.

Строение гимназии было ветхое, полуразрушающееся, сырое и нисколько не приспособленное к своему назначению. В нем помещался вместе же и благородный пансион, отчего теснота была страшная. Пансионская больница очутилась в деревянной надворной избушке. Библиотека и физический кабинет – в деревянном казенном доме за

мостом и женским монастырем, в полуверсте, ежели не более, от главного корпуса. Директор жил в особенном деревянном домике, где помещалась и гимназическая канцелярия, а инспектор занимал две или три комнаты при библиотеке, за горами и долами. А тут, к несчастью, первые три класса по многочисленности делились на два параллельные отделения. Про вентиляцию и помину не было, и в самом сборном зале нижнего этажа сернистый аммиак сильно действовал на органы обоняния. Прошло более 10-ти лет, как богач Аничков, умирая, завещал сумму, очень достаточную для постройки нового и в большем размере здания для гимназии и пансиона при ней, но обстоятельства наследника его как-то запутались, и едва-едва нашлось у него, наконец, средство исполнить завещание отца. Место избрано бойкое и прекрасное, вблизи городского сада, называемого Блоньем, губернаторского дома, площади с памятником 1812 года и Королевской крепости. Все уже было заготовлено, как вдруг получено известие, что сам государь император хочет заложить краеугольный камень новой постройки при своем проезде Старосмоленскою дорогою из Москвы в Варшаву. Из окружного Московского управления сейчас же ассигновалась незначительная, впрочем, сумма для замазки и окраски ветхой гимназической полуразвалины с предписанием как можно поспешнее привести ее в более казистый вид, потому что Александр Николаевич обращает особенное внимание на учебные заведения. Видно, судьба всех государей такова, что им никогда не приходится видеть гадость в подлинном ее безобразии. Подмалюют, пригладят, раздушат – и гадость сойдет с руки преблагополучно.

Государь приехал в Смоленск под вечер и ночью разослано было извещение о порядке его посещений на следующий день. В 10 ч[асов] утра – собор, оттуда – гимназия, потом женское училище, затем закладка новой гимназии и т.д. Как военные, так и гражданские власти смоленские стали в тупик: «гимназия, училище, опять гимназия» – это их совсем ошеломило. А казармы, тюрьма остались как бы в пренебрежении и отложены на второй и даже третий план. Толковали, шептались, пожимали плечами, а учебные заведения оставались все-таки на первом плане. Ну, что делать? Нужно, по-видимому, помириться с ними. Ни Буксгевден, ни Липранди не сделали ничего!

Встреча государя в гимназии была произведена в нижнем, самом неблаговоном сборном зале; здесь директор, инспектор и учителя разместились в два ряда у самых входных дверей, далее стояли рядами ученики, сгруппированные по классам. Александр Николаевич поздоровался с учителями наклоном головы и словами: «Здравствуйте, господа». Те ответили ему глубоким поклоном. Пройдя шагов пять, государь обратился к ученикам: «Здравствуйте, дети!» Заученное «Здравия желаем, в[аше] и[мператорское]

величество!» – грянуло разом со всех сторон зала. Государь улыбнулся и начал очень ласково расспрашивать директора о состоянии и нуждах заведения и остался доволен всеми его ответами и откровенными заявлениями.

Надобно заметить, что знаков отличия, ежели не считать бронзовую медаль в память Севастопольской войны, не было ни у директора, ни у учителей. Исключение составлял инспектор Никитин с орденом Станислава на шее. Государь, выходя из зала, заметил это и обратился к нему с вопросом: «Ваша фамилия?»

Никитин, кандидат Московского университета времен управления округом Голохвастова и Назимова, захваченный так нечаянно, растерялся окончательно, хотел что-то сказать и издал только какой-то звук, похожий больше на мычание. Государь между тем стоял пред ним. Находившийся тут же учитель Домбровский поспешил выручить бедняка Никитина из затруднения. «Инспектор Никитин, в[аше] и[мператорское] величество!» – громко произнес он, обращаясь к государю. Государь повернул голову к Домбровскому, улыбнулся ему, кивнул головою Никитину и пошел далее осматривать классы, дортуары и прочие части заведения.

– Лучшее, чем ожидал, – были слова Александра Николаевича, сказанные после осмотра гимназии.

– Что с вами сделалось? – спросил Домбровский Никитина.

– Сам не знаю. Я не мог сообразить, что сказать, – ответил тот.

– *Vox faucibus haesit!*⁷⁸ – пояснил Нилендер Вергилием.

Церемония закладки новой гимназии произошла в полном великолепии и в присутствии чуть не всех жителей города. На эстраде у иконы Божьей Матери архиерей с певчими совершал молебен с водосвятием. Государь император стоял впрямь пред иконою. Весь гимназический персонал как учителей, так и учеников широким кольцом окружал их. Далее военные и гражданские чины и представители дворянства опоясывали края эстрады, за которой толпился народ без различия лет, пола и состояний. Государь сам положил поднесенную ему доску с вырезанною надписью, вынул портмоне и из него несколько золотых и покрыл кирпичом и цементом все положенное. Громкое «ура» раздалось прежде на эстраде, повторилось в толпе и понеслось далее и далее по Блонью и по сходящимся у него улицам. День был торжественный и торжественный неофициально только, а что выше всего, тепло, искренне и сердечно торжественный! Как

⁷⁸ Голос у меня в горле! (лат.).

хотелось бы таких дней начесть в жизни побольше! Но, увы, spes vanae⁷⁹! Государь был так ласков, так прост и мил, что и сам Никитин, спрошенный вторично, верно не сконфузился бы и отвечал храбро и не запинаясь. Совсем не так держал себя бывший с ним генерал Адлерберг. Этот сановник походил на какого-то Юпитера-громовержца и смотрел на всех как будто бы с высоты, по крайней мере, хеопсовой пирамиды.

Вечером того же дня был бал в зале дворянского собрания. Смоленские барыни и барышни хотя не хотя должны были как провинциалки уступить первенство г-же Юрьевич, приехавшей с мужем – предводителем витебского дворянства, дамы великосветской и практически изучившей искусство нравиться и завлекать. Аптекарь Мехо уверял, что одна ванна, принятая ею, собираясь на бал, стоила более полутора рубля. Зато же и блеснула она, что называется, очаровательно: овладела Александром Николаевичем на весь этот вечер и сумела приковать его к себе так, что он во все время бала был ею chevalier servant⁸⁰. И неудивительно, : ведь спустя полгода эта же comtesse Yourievitché⁸¹ конкурировала с princesse Meternich⁸² в Париже и на великолепном маскараде явилась с торжественною свитою в костюме царицы Саввейской, приехавшей к Соломону (т.е. Наполеону III) с целью удивляться его мудрости. Было ли тут чему удивляться, про то, без сомнения, не умолчит впоследствии брезгливая старуха-история, а теперь можно сказать утвердительно только одно, что удивление царицы Саввейской воплотилось в длинейшее родословие великих негусов абиссинских, страшных когда-то византийской империи и съякшавшихся теперь с нашею волжскою вольницею, а с comtresse ничего подобного не произошло.

«Знать, прошли уже дни Соломона

С виноградом и смоквой его!» –

как говорил Гурский.

К приезду государя Гонор, учитель немецкого языка⁸³, сочинил приветственное стихотворение, не лишённое поэтических достоинств, а советник палаты

⁷⁹ Надежды пусты (лат.).

⁸⁰ Галантный кавалер (франц.).

⁸¹ Графиня Юрьевич (франц.).

⁸² Принцессой Метерних (франц.).

⁸³ Очень удачно переводивший Кольцова. Жалко, ежели после него затерялся этот поэтический труд, в бытность мою в Смоленске уже приводившийся к концу – прим. М. Маркса.

государственных имуществ Щавинский, воспитанник бывшего Кременецкого лицея, составил исторический план окрестностей Смоленска с подробным обозначением на нем стоянок лагерей и размещения войск Сигизмунда III, Шеина, Наполеона I и Кутузова. Оба эти произведения представлены были в походную канцелярию его величества и после отъезда государя возвращены авторам чрез губернатора.

В стихах Гонора был, впрочем, намек, что для полного счастья человечества остается теперь только освободить его от ...нем В Вильне Ант[оний] Одынец поднес тоже государю свою сильно напыщенную, ловко отрифмованную оду безо всяких намеков, и та была принята очень благосклонно. К работе же Щавинского нельзя было сделать никакой придирки. Кто тут сородовал – неизвестно, но государю ни то, ни другое не было представлено.

– Руска язык – это нежна язык, тонка язык, она может все, все, все! – говаривал учитель французского языка Ян, валлонец родом, державшийся оранской партии, бежавший из Бельгии в Голландию и высланный оттуда королевой Анной Павловной к Николаю Павловичу в Россию *pour être outehitele*⁸⁴.

– А ну, дорогой наш славянофил, переведите-ка на русский язык словечко ...нем...., – сказал, озадачивая его, Домбровский.

– Я не знай, а вот Гавриль Антонович.

– Что вам нужно? – спросил Гурский.

– «Kforttru...ntf» – что это такой?

– Ну! – попобесье, и все тут.

Все расхохотались, но довольнее всех остался Ян, переводивший:

Le rossignol perché sur un rameau,

нежною и тонкою русскою фразою:

Соловушка на сучке сидит.

Что же делать – «семья не без уroda»! Но этот урод был предобрый и пресмирный человек и, вдобавок, старательный исполнитель своей обязанности и образцовый служака.

VII.

⁸⁴ Чтобы быть утешителем (франц., русск.).

«Vu choc des opinions jaillit la vérité!»⁸⁵ – говорят французы и говорят сущую правду. Но от столкновения стремлений, направленных даже в одну сторону, что происходит, на то ответить очень трудно. Гримальди еще в 1663 г. пришел же к странному заключению, что свет, прибавленный к свету, порождает тьму; что-то похожее свершилось и в Смоленске спустя почти 200 лет после Гримальди.

Помещик Бельского уезда Рачинский (имени и отчества не могу вспомнить), ярый крепостник и вместе с тем пылкий славянофил погодино-аксаковского пошиба был консулом в Варне. Болгаре, угнетаемые не столько турками, сколько своими единоверцами-фанариотами, вздыхали давно уже к России, считая единственной державою, могущею освободить несчастную их родину как от тяжелой власти магометан, ослабевших уже, обанкротившихся и, в сущности, не страшных им, так и от несносного гнета пройдох греков и армян, капиталистов и кредиторов, державших своих должников турок в полной зависимости и повиновении. Рачинскому открылось здесь поприще прилагать свои славянофильские идеи к житейской практике. Он интимно сошелся не только с болгарами pur sang⁸⁶, но и со всеми их фракциями: потурченцами, погерченцами, понямченцами и прочими отщепенцами. Набрал кучу ребят и молодых людей всяких состояний и вывез их в Россию. Прежде оставил он их у себя в бельском своем имении, а сам отправился в Петербург постараться о размещении их. Это ему удалось, кажется, лучше даже, чем он надеялся. Государыня Мария Александровна взяла на себя содержание их и размещение по разным учебным заведениям. В пансион при Смоленской гимназии помещены были на ее счет три болгарина: Диньков, Витанов и Тенов. Рачинский привез их в Смоленск очень не вовремя, весною, почти в конце учебного года. Нужно было оставить их в городе в каком-нибудь семейном доме, где бы они, кроме того, могли приготовиться к поступлению в один из классов гимназии сообразно степени их знаний. По совету директора П.Д. Шестакова и других знакомых г-ну Рачинскому лиц, он обратился ко мне с предложением взять их к себе до августа месяца. Таким образом, трое молодых болгаров очутились под моею опекою. Прочие их товарищи отвезены были в Петербург и в Москву и сданы в распоряжение славянских комитетов.

Диньков, Витанов и Тенов были три чрезвычайно разношерстные личности. Общего между ними, кроме того, что они болгаре, ничего не было. Даже и того

⁸⁵ «В спорах рождается истина!» (франц.).

⁸⁶ Чистокровный (франц.).

расположение, которое невольно связывает земляков на чужбине, я за ними не приметил. Вообще они сносились между собою очень недоверчиво и крайне несочувственно.

Старший из них, юноша лет 19, с пробивающимися усиками, Георгий Диньков, был сын солунского богача, имевшего коммерческие сношения с Гермополисом, Марселью и даже Ливерпулем, погерченца (как занявшегося торговлею) и даже потурченца (потому что был в самых дружественных сношениях с Садык-пашою, т.е. с М. Чайковским, командиром гнат-казаков). Он поступил в Афинах в военную службу прямо в гвардию королевы эллинов, но пробыл в ней недолго, пырнул кинжалом своего командира и бежал восвояси, где, однако, не мог жить явно и должен был скрываться. Это не составляло для него большого затруднения, так как близ Солуни есть горы, а в горах ускоки, имеющие своих агентов не только в каждом городе, но чуть ли не в каждом селении. Отец Динькова был в больших хлопотах, что делать с любезным и вдобавок однородным детищем и куда сунуть его. Как вдруг явился, как *deus ex machina*⁸⁷, к чадолюбивому батюшке Рачинский с предложением отправить сынка для образования ума и сердца в Россию. Предложение было принято с восторгом, выразившимся материально значительною суммою, отпущенною на столь благую и высокую цель. Чрез Балканы явился Диньков в Варну, а оттуда без всяких затруднений вместе с другими под эгидою консула прибыл в Одессу.

Другой, лет 17, Витанов был сын какого-то духовного лица. В детстве занимался чисто народною профессиею, т.е. пас свиней, потом поступил в какое-то католическое духовное училище, откуда отец взял его поспешно, боясь, чтобы он там не сделался понямченцем. Он был суеверен: упыри и вилы (русалки) дополняли его богословские сведения, и любил говорить много, переливая из пустого в порожнее, по привычке всех недоучек, считающих себя мудрецами среди темных, безграмотных и развесивших уши слушателей. И физиономия его, и цвет волос (он был блондин) изобличали в нем какое-то не южное происхождение, а хитрость, пробивающаяся в каждом его слове и взгляде, еще сильнее отличала его ото всех болгар.

Третий, Тенов, лет не более 14, был истый сын народа со всеми хорошими и нехорошими качествами. Застенчивый, скромный, тихий и молчаливый, он редко даже вступал в разговоры со своими земляками, а плохо владея русским языком, еще меньше с кем бы то ни было из посторонних. Умственные способности его были не бойкие, но

⁸⁷ Букв.: «бог из машины» (лат.). Развязка вследствие непредвиденного обстоятельства.

старательность и усидчивость чрезвычайные. Он был круглым сиротой, и сношений с родиной у него никаких не было.

У покойной жены моей была особенная страсть, которую я часто потешался и любовался – это накормить каждого родным его блюдом. Приедет кто из Варшавы – и на столе непременно явятся фляки, из Малороссии – галушки и вареники, из Литвы – колдуны, из Белоруссии – кулага. Она кормила пленных турок мамалыгой и пилавом, а заезжих итальянцев – макаронами и полентой. Испанца, приехавшего с М.И. Глинкою⁸⁸, попотчевала яичницей с чесноком на деревянном масле, которую тот с умилением съел, запивая хересом, целую большую сковороду, и потом более часа, т.е. во все время переваривания этой отвратительной яичницы, не мог оторваться от рояля и варьировал на всевозможные лады родную свою хоту арагонезу.

На другой день пребывания болгар в моем доме пилав, маслины и стручковый перец за обедом и кофе после обеда произвели на них подобное же действие. Они бросились целовать руки у моей жены и стали звать ее с тех пор момкой⁸⁹, а дочь мою – госпожанкой.

В первое воскресенье я им заявил, что они, ежели желают, могут идти к обедне в любую церковь с условием только не разлучаться в разные стороны и по окончании богослужения возвращаться домой. Им очень понравилось, что я предоставил это дело их воле.

Через несколько дней Диньков и Витанов обратились ко мне с просьбой дозволить им написать письма к родным в Турцию и к товарищам в Москву.

– Пишите, сколько вам угодно. Вот вам почтовая бумага и конверты. Только потрудитесь сами относить на почту, – сказал я.

– И нам можно писать по-болгарски? – спросил Диньков.

– По-китайски даже, ежели умеете. Мне все равно, я ведь не стану читать ваших писем. Вот вам еще сургуч и печать. Только надпись на конверте чтобы была написана четко и правильно, ежели хотите, чтобы письма ваши доходили по адресу.

Через полчаса Витанов опять спросил меня, можно ли им будет получать письма к ним под моим адресом.

⁸⁸ Глинка Михаил Иванович (1804–1857), русский композитор. Родился в селе Новоспасское Смоленской губернии. Летом 1847 г. останавливался в родовом имении, возвращаясь из Испании в Петербург.

⁸⁹ Матерью (болг.).

– Извольте, но на конверте должна быть надпись «для передачи» такому-то.

– А без этой надписи нельзя?

– Без надписи я поневоле распечатаю письмо, писанное не ко мне, а это, согласитесь сами, не совсем хорошо и даже очень некрасиво.

Вследствие этого я вскоре стал получать письма к ним из Солуни, Трнова, Одессы, Киева, Москвы и, как помнится, одно из Петербурга.

Однажды вечером, занимаясь у себя в кабинете, я услышал какое-то пение, отворил дверь и стал прислушиваться к нему. Мотив был до скуки однообразен и совсем неизящен, быть может, потому, что все три голоса пели в унисон, не варьируя нисколько.

За первую песню последовала вторая и третья, но и те показались мне не лучше первой. Кроме великорусских, малороссийских, белорусских и польских мотивов мне хорошо еще знакомы румынские, и все они нежны и грациозны, а в болгарских нет ни того, ни другого. А между тем румын от болгар отделяет только Дунай, а что тот Дунай в сравнении с Леной или Ангарой даже!

– Что вы тут пели? – спросил я, вышедши из кабинета.

– Момка и госпожанка хотели послушать наших песен, – отвечали они, заминаясь.

– Да пойте себе, сколько вам угодно, только я советую вам спеться получше.

– Вот Диньков все затягивает по-гречески, Тенов держит хорошо, – сказал Витанов.

– А вы, Диньков, знаете греческие песни? – спросил я.

– Знаю.

– Так я попрошу вас, спойте какую-нибудь.

– Какую же? Я знаю военные, солдатские.

– Ну! Давайте сюда солдатскую.

И Диньков затянул какую-то мелодию. Но что же это за мелодия и можно ли ее так называть? Чистый сарказм над пением! Мне тотчас же вспомнился профессор греческой литературы в Московском университете, Оболенский, который однажды запел на лекции Анакреонову оду таким нечеловеческим голосом, что в аудитории

Constupuere omnes, apertaue ora tenebant,

как мы переделали из вергилиева

*Conticuere omnes, intentique ora tenebant*⁹⁰.

⁹⁰ Все молчали и пристально наблюдали за открытыми ртами (лат.).

– Пойте, пойте, но только прошу вас, греческие песни оставьте. От них ушам больно, – сказал я, выходя из гостиной.

В Древней Греции были Аполлон с семиструнной лирою и с девятью гетерами-музами и Орфей, усмирявший Цербера, и сирены сладкогласные. В ней когда-то Паны и Селены играли на дудочках, а Тритоны трубили в рога! Куда все это девалось? Правда, Константин Порфирогенит в X веке говорил, что вся Морея уже ославянилась. Пусть так! Но нынешние греки не умеют петь даже и по-болгарски, до других же славян им очень далеко, а воют точь-в-точь шакалы во время течки. Итальянцы не претендуют на свое происхождение от римлян, а ромеосам и фанариотам непременно хочется быть эллинами, и каждый торговец халвою считает себя потомком по крайней мере Аристида, Перикла или Филипомена, ежели только не Гесиода, Сократа или Демосфена.

Вскоре из Москвы было получено известие, что один болгарин в пансионе при 1-ой Московской гимназии повесился. Это и Динькова, и Витанова, и смиреннейшего Тенова сильно обескуражило. Они впали в задумчивость и молчали.

– А вот что, господа, – сказал я им, – послушайте моего совета и отвыкайте понемногу от табаку. После каникул поступите в пансион, а там курить вам не позволят. Тяжко будет.

– Мы и в бельской деревне не курили, – прервал меня Диньков.

– Как знаете. Только я полагаю, что это нелегко.

– Что же делать. Нельзя будет, так и не будем курить, – ответили они.

Оказалось из рассказов, сообщенных ими мамке и госпожанке, с которыми они были далеко откровеннее, нежели со мною, особенно с первою, которой они постоянно целовали руки, что г-н Рачинский держал их у себя, что называется, в ежовых рукавицах. Они там не курили, утром и вечером читали по очереди предлинныя молитвы, все среды и пятницы постились елеем, а великим постом, особенно во время говения, оставались вполне на сухоядении даже без елея. В будни занимались переписыванием каких-то бумаг, а в праздники – чтением Евангелия, Четьи-Минеи и других душеспасительных книг. Письма их подвергались строжайшей цензуре и корректуре, а полученные ими – перлюстрации. Одним словом, жутко!

Через месяца два я получил с почты пакет, а в нем, во 1) хвалебную оду на болгарском языке ко мне и моему семейству, и во 2) благодарственный адрес всей

болгарской молодежи в Москве. Ода, сочинение Райко Ив. Жинжифова⁹¹, была написана гладкими и звучными стихами (пятистопный хорей с цезурой за третьей стопой) и, что именно мне понравилось, с благородным достоинством и без унижительной лести. В одном месте только теплая и сердечная благодарность выразилась у поэта уж чересчур гиперболически, потому что он произвел жену мою в какой-то духовный чин женского рода, повелевающий ангелами. Я ответил на одно и на другое и, кажется, не остался в долгу, потому что после в Москве был встречен болгарам с сердечно теплым радушием. Очень жаль, что при общей гибели всего моего имущества лишился я вместе с прочими и этих драгоценных для меня бумаг. На адресе, твердо помнится, была подпись Каравелова⁹².

В половине августа болгаре переместились от меня в пансион. Все они поступили в третий класс. По закону божию и русскому языку их нельзя было принять выше. Таким образом, девятнадцатилетний полудикарь, гвардеец королевы эллинов и ускок очутился среди ребятишек и под строгим надзором школьной дисциплины. Ну, как тут не произойти гримальдиевской теме?

В январе совсем неожиданно получается официальное предписание немедленно отправить Динькова в Москву, откуда он с величайшею поспешностью должен ехать в Салоники для принятия наследства по смерти отца. Славянские комитеты в Москве и Петербурге снабдили его деньгами на путевые издержки, и он через Варшаву и Вену очутился в Новом Саде [нрзб], откуда прислал под моим адресом письмо своим товарищам с известием, что отец его жив, здоров и не думал умирать, что все это шутка за шутку! Письмо было наполнено очень непохвальными отзывами о России и оканчивалось словами: «Я за границею, всему конец и пусть обо мне никто не беспокоится». Нечего сказать – ловкая шутка!

Но не прошло и месяца, как к величайшему удивлению я получаю другое письмо от какого-то г-на Мирковича. Он сообщает, что супруга его по железной дороге ехала с болгаринном Диньковым и в порыве своего благорасположения к нему вручила

⁹¹ Жинжифов (Жинзифов) Райко Йоанов (Иванов) (1839–1877), болгарский писатель, журналист, переводчик. На то время студент историко-философского факультета Московского университета.

⁹² Каравелов Любен Стойчев (1834–1879), первый болгарский профессиональный писатель, крупная фигура Болгарского национального возрождения. На то время студент историко-философского факультета Московского университета.

ему дорогой револьвер и коробочку с драгоценностями, что обе вещи составляют собственность его, ее мужа, а не ее, его жены, и что он обращается ко мне с требованиями, чтобы я поспешил принять все меры, от меня зависящие, к возвращению этих вещей их законному владельцу, так как он намерен судебным порядком требовать отдачи их и притянет в таком случае и меня к делу.

Как тут Диньков приплел меня к своим шурам-мурам с г-жею Миркович и почему г-н Миркович обратился ко мне со своими требованиями и угрозами – трудно понять.

А все-таки на невольный вопрос: «А сколько Диньковых, *utrius que generis*, не бежало из России, а, оставаясь в ней, пользовалось ее благодеяниями, пока они им были нужны?» – остается отвечать последними болгарскими событиями.

VIII.

Никак неожиданно на помещичьем горизонте явилась зловещая туча.

В доме Петра Петровича Клачкова у Никольских ворот мне случилось быть свидетелем следующей сцены.

В гостиной находились, во 1) хозяин дома, помещик Красненского уезда, тощий, тщедушный, с огромными бакенами и усами с проседью, провалившимся носом и широко, почти колесообразно раскрытыми веками. Во 2) Яков Федорович Азанчеев того же уезда, полнолицый брюнет атлетического сложения без одной ноги, но зато с двумя костылями. Ногу потерял он при штурме Варшавы в 1831 г. и вследствие этой болезненной потери терпеть не мог ничего польского, начиная с ядра, оторвавшего ему ногу, до малейшего оттенка в говоре своих крепостных белорусов, которых немилосердно плетью обучал правилам русской грамматики в живой речи, а никак не в чтении или на письме, потому что, чего доброго, они станут рассуждать несоответственно своему званию и назначению. Это было *alter ego*⁹³ кн[язя] М.В. Друцкого и его интимнейший ближний. В 3) известнейший свету полковник Шервуд-Верный⁹⁴, проживавший тогда в Смоленске по выпуске из семилетнего заключения в Петропавловской крепости за мошенническую выходку пред покойным Николаем

⁹³ Второе я (лат.).

⁹⁴ Шервуд Иван Васильевич (1798–1867), офицер русской армии. Известен доносом Александру I о готовящемся восстании декабристов, за который ему позже Николаем I была присвоена фамилия Шервуд-Верный.

Павловичем, упрятавшим его туда на всю жизнь. Он не расставался с орденом св. Анны на шее, за который даже получал ежегодную пенсию из капиула. Жил он в Смоленске с супругою (?), бывшею прежде будто бы графинею Струтинскою, и сыном ее, мальчиком лет 14, которого все в городе звали Шервуденком. Потом он уехал в Москву, поселился в гостинице «Рим» и там в одно прекрасное утро улетучился камфорообразно со всем своим семейством, так что московская полиция очень долго билась над его розыском.

Когда я вошел в гостиную, почтеннейший кавалер св. Анны рассказывал свои похождения на мистических вечерах у г-жи Татариновой в Петербурге, куда он был командирован для подробнейших исследований тайны этих сходок. Клочков и Азанчеев слушали его со вниманием и ловили каждое его слово. У начала рассказа я не был, но из того, что пришлось мне слышать, я мог заключить только, что или Шервуд врал бессовестно, или все тогдашние мистики, иллюминаты и прочие эксцентрики мужского и женского пола, несмотря на их высокое положение в обществе и внешний лоск цивилизации, были не то что безумными, а просто сумасшедшими субъектами, которых следовало поместить не в монастыри и тюрьмы, а прямо в Обуховскую больницу и, обривши им головы, лечить их там холодной водою.

Подали закуску с коньяком, настойками, водками и винами, и все устремились к столу.

В это время принесли с почты «Московские ведомости», Клочков стал просматривать их и чуть-чуть не подавился находящимся во рту куском.

И в самом деле было чем подавиться! В ведомостях черное на белом стояло известие, что помещики литовских губерний подали государю императору чрез генерал-губернатора Назимова всеподданнейший адрес с просьбою об освобождении крестьян от крепостного права.

– Это что затеяли мосцивые паны..!? – прогнусил Петр Петрович, заканчивая фразу непечатною бранью.

– Старые штуки!

Boże daj, boże daj,

By zabłąsnał znowu maj! –

пропел под нос Шервуд-Верный, остро, пронзительно и ехидно всматриваясь в Азанчеева.

– Польская интрига! – проревел тот, хватаясь за свои костыли.

Настало общее молчание, которым пользуюсь, и я заглянул в газету. Так! И дышать легче, и в глазах посветлело! Но что же предо мною воочью?

- В каторгу мерзавцев! – со свистом прогнусил Клачков.
- Не к декабристам ли в помощь? – спросил насмешливо Шервуд.
- Повесить всех до единого! – громко возопил Азанчеев. – Что та каторга?

Сейчас же к князю Михайлу Васильевичу!

Он схватил костыли и, не простясь ни с кем, зашагал в переднюю и уехал к отцу Друцкому.

Словечки «польская интрига», послужившие «Московским ведомостям», а за ними и другим газетам балансиrom при прыжках на туго натянутом канате тенденции и при производстве иногда очень ловких, а иногда и безобразных сальто-морталей, изобретены и в первый раз произнесены были Яковом Федоровичем Азанчеевым, а не «Московскими ведомостями», и в Смоленске, а не в Москве. Святая истина требует от меня заявления этого факта во всеуслышание с подробным изложением всех обстоятельств, сопровождавших его. *Fiat justitia!*⁹⁵

Чрез несколько дней новый удар: петербургское дворянство подало такой же адрес! Почва под ногами крепостников зашаталась.

А тут выступили еще и тверичи да махнули так ловко, что их безумные (по-тогдашнему) мечты могли осуществиться только в конце всех реформ царя-освободителя. Когда их арестовали и развезли по местам не столь отдаленным, проблеск надежды на лучшее будущее засиял на лицах смолян.

– Тверичи – вечные враги Москвы и ее порядков. Они всегда тяготели к Литве, – изрек кн. Соколинский с важностью компетентного историка.

Несколько перед тем в Ковенской губернии по инициативе епископа Волончевского образовалось общество трезвости и, расходясь во все стороны, подвигалось к Смоленской губернии. Министр М.Н. Муравьев прислал строжайшее предписание в палату государственных имуществ о воспрепятствовании всеми возможными средствами распространению этого вредного и непозволительного направления между казенными крестьянами. Вот и нашлась же устойчивая точка опоры для противодействия всем неприятным для крепостников новшествам. В сердцах смоленских помещиков выиграла опять уверенность в непоколебимости их прав и привилегий.

⁹⁵ Да будет справедливость! (лат.).

– Муравьев и Панин⁹⁶ за нас! Пусть толкуют, сколько кому хочется, а на деле выйдет шиш, – говорили они с полной уверенностью в прочности своего положения.

Недолго, однако же, продолжалось это убаюкивание себя надеждами. Пришло высочайшее повеление составить из административных членов и депутатов от дворянства комитеты для улучшения быта крестьян и освобождения их от помещичьей власти.

«Поникли головы и протянулись лица!»

В дворянских собраниях сотня крепостных душ мужского пола (женские не считались за человеческие) давала право голоса дворянину, владеющими ими. Мелкопоместники должны были соединяться в группы суммою во 100 душ и избирать из себя одного, которому вручался шар при общей баллотировке. Понятно, что голоса их шли постоянно в пользу крупнопоместных, а сами они никогда не были баллотированы в какую-нибудь почетную должность. Но в такой комитет, который экстренно учреждался по высочайшей воле и в котором нужно было не только заседать, но и работать головою, неизбежно понадобилась и мелюзга. И что же вышло?

Лондонский «Колокол» Герцена, зорко следивший за всеми фазами комитетов, вдруг выразился:

– В Смоленской губернии отозвался только один человеческий голос, и голос этот был мелкопоместного.

Вполне справедливо: это был голос Синявского, владельца чуть ли не $\frac{1}{3}$ души.

Никанор Вас[ильевич] Синявский, дворянин Смоленской губернии и уезда, воспитывался в Смоленской гимназии и потом в Московском университете. По окончании курса со степенью кандидата он определился в Смоленскую гимназию учителем математики. Тихий, скромный, и даже застенчивый он, в случае надобности, оказывался стойким, упругим и твердым в раз избранном направлении. Молчаливый в светском обществе, он, когда дело потребовало точного и подробного разбора, умел так многосторонне рассмотреть его, так последовательно вникнуть в самую сущность его и так красноречиво изложить свои мысли и взгляды, что противоречить им не оставалось никаких шансов. Любимый всеми за мягкость характера, он, кроме того, привязывал всех к себе юношескою теплотою гуманных чувств, вынесенных им из студенческой среды и не успевших еще охладиться мертвящею средою гражданской официальности.

⁹⁶ Тягавшийся тогда со своими крестьянами – прим. М. Маркса.

Мелкопоместные дворяне избрали его одним из своих депутатов, а тузы, рассчитывая на его умственные способности, трудолюбие и усидчивость, нашли в нем нужного в текущих обстоятельствах работника, и он их же баллотировкою был избран в члены комитета, оставил службу в гимназии и с жаром предался новой излюбленной им работе.

– Без самопожертвования ничего невозможно сделать у нас для пользы общей, – говаривал он часто и работал в комитете, как говорится, за десятерых, борясь в то же время с дикими и безобразными выходками заклятых крепостников, никак не могших расстаться с вошедшими в кровь и плоть их взглядами на человечество.

- Да, хорошо вам, Никанор Вас[ильевич], толковать о равенстве и свободе людей. Вы что теряете – две-три душонки. А нам расстаться с сотнями, составляющими собственность нашу, унаследованную от предков, каково? Да спросим, наконец, что такое собственность. Сегодня подай людей, завтра – землю, а там ступай хоть на луну! Какая же это собственность и можно ли называть ее собственностью? – сказал один туз Вяземского уезда.

– Нет собственности – ну так пойдем в Тришки! – договорил красненский рабовладелец.

– Ладно, останусь без крестьян. Но ведь я человек, понимаете ли, человек; могу рассердиться, взбеситься – не прикажете ли мне тогда бить жену, колотить детей своих? – так наивно проговорился в пылу комитетского спора один богач Юхновского уезда.

Вот с какими экземплярами нужно было бороться, все-таки поглаживая их, как сильных, по шерсти и заставляя постепенно уступать необходимости, крайне для них ненавистной.

Смоленский комитет покончил свои работы не хуже прочих, и в числе отправленных в Петербург депутатов уехал и Синявский. Там он обратил на себя внимание государя императора и вел[икого] кн[язя] Константина Николаевича и уже не возвратился в Смоленск.

Какие светлые личности являлись тогда прямо со студенческой скамейки на борьбу со злом! В одной Смоленской гимназии нашлись Шестаков, Еленев и Синявский; то же, без сомнения, было и в других местностях. Никогда, кажется, наука не принесла у нас более пользы государственному благоустройству и общечеловеческому благополучию, и мы, и потомки наши должны с благоговением вспоминать после имени Александра II еще имена тогдашних министров просвещения Евгр[афа] Петр[овича]

Ковалевского и Алексан[дра] Вас[ильевича] Головнина. Без их энергического толчка едва ли не закоснели бы и тогда молодые силы деятелей, потребность которых чувствуется и будет чувствоваться постоянно.

Вскоре я, после продолжительного колебания, соблазнился перебраться в Москву и уехать из Смоленска. Жалко мне было расставаться с добрыми и милыми знакомцами своими, и с каким-то грустным предчувствием я простился с ними. Что там было после моего отъезда – обстоятельно не знаю; здесь же я записал все из виденного и слышанного, что сохранилось в памяти моей по прошествии более четверти столетия и что невольно рвалось на бумагу. Взгляды мои с тех пор, кажется, ни в чем не изменились, и поэтому полагаю, что они остались, как и были, правдивыми.

Енисейск

1887 г.

4 августа

М. Маркс

Москва

1861–64

I.

10-го января 1861 г. я выехал в знакомую мне белокаменную. Здесь я провел четыре незабвенные года. Да и для кого прекраснейшие лета тогдашней студенческой жизни не незабвенны? То было строгоновское, или станкевичево время. Называйте, как угодно. Дело не в названии, а в самой сущности, самом содержании его. Я, впрочем, за первым названием, и вот почему. Не будь такого попечителя как гр. С.Г. Строганов, не было бы и таких студентов, как Станкевич. Их разослали бы в местности, куда и Макар телят не водил, или не в столь отдаленные, как Герцена, или, по крайней мере, восвояси к родителю, как Огарева, ежели не забрили бы лоб в Ордонанс-гаузе, как Полежаеву. При гр. Строганове все переродилось. Помощник его Д.П. Голохвастов, прежде десятками исключавший из университета за одну не застегнутую пуговицу в мундире и

ругавший площадной бранью проректора Котельницкого за то, что в одно из очень частых посещений университета не оказалось ни одного заключенного в карцере, этот молниеносный Дмитрий Павлович сделался добрым, мягким и милым человечком. А инспектор Платон Степанович Нахимов, памятный кадетам морского корпуса своею ярою щедростью в приложении розог к их телесам, преобразился в гуманнейшего, хотя Флакона Стакановича, но все-таки любимого и теперь даже с любовью вспоминаемого начальника. Вот как изменяются люди, и вот сколько добра может сделать одна светлая личность, хотя бы и при самой тяжелой и гнетущей обстановке. Гр. Строганов сумел поставить Московский университет так прочно, что и после него люди, которые умели только портить все хорошее, не испортили его нисколько.

Чрез Драгомилавскую заставу на лихой тройке влетел я с женою в Москву и удивился. На заставе нет шлагбаума. Никто не остановил меня, никто не спросил у меня приготовленного уже на последней станции паспорта и никто не залез в возок проводить меня, записать место, где я остановился, и сообщить о том его благородию господину квартальному надзирателю. Времена изменились!

Целые два дня я осматривал Москву и показывал ее жене. На мой взгляд, сама она все-таки очень мало или, лучше сказать, не изменилась нисколько. Правда, над рекою воздвигнулся огромный и с огромным блестящим куполом храм Спасителя, за мостом выросла Кокоревская гостиница, в соседстве с высочайшею колокольнею при малейшей церковке; пожар много способствовал к украшению театра, дома Пашкова реставрированы и один сделался новым корпусом университета, а другой четвертою гимназиею (вскоре – Румянцевским музеем), явились станции железных дорог, Николаевской и Нижегородской, и даже конка – из рядов к бирже и на Покровку, а газ стал освещать, хотя только магазины и трактиры. Но я рядах стояли такие же зазывальщики и визгливо кричали проходящим: «Чай, сахар, кофе; сукна, материи, полотно; платки, шали, бурнусы; сапоги, туфли, башмаки; сюртуки, жилеты, брюки» и пр., и пр., и пр., «все хорошие». Сидящие за прилавками коммерсанты так же прохлаждались чайком у самоварчиков. В Охотном ряду, у Воронина, блины те же, и курить поганое зелье – табак – так же не разрешается. В Замоскворечье вечером, часов в 8 или 9, когда все ворота и калитки заперты, и цепные собаки спущены, можно не только заблудиться, но даже разбить себе нос или лоб, как это случилось с Меркурием, явившимся у Юпитеру из посылки в Серпуховскую часть («Орфей в аду» Оффенбаха). У будок так же стоят с алебардами блюстители порядка, и так же на Самотеке,

Дербеновке и даже самом модном Кузнецком мосту милые существа ловят и тащат к себе проходящих молодцов.

Без сомнения, все то же и теперь, хотя протекло с тех пор целые полвека. Москва и консерватизм – это *les idées inséparables*⁹⁷. Представитель московской интеллигенции, профессор и академик М.П. Погодин, хотя и житель не Замоскворечия, не мог не восставать против европейского нововведения освещать улицы газом и восставал в думе всюю силою исторических и народнических доказательств.

12-го числа – св. Татьяны и праздник основания Московского университета. Я отправился в университетскую церковь, виделся со многими прежними товарищами своими и обедал с ними⁹⁸. Приятно мне было с ними встретиться, радостно и они встретили меня. Несмотря на то, что воспоминания о студенчестве нашей жизни было почти единственною темою, варьированною при разговоре с каждым отдельно, мне удалось много и очень много узнать нового. Довольно значительное число сотоварищей отправилось уже *ad patres*⁹⁹, иные расползлись далеко по лицу земли русской и нерусской, многие из прежних сорванцов и повес сделались солидными, а некоторые и важничали. Даже несколько прежних тружеников потолстело, почреватело, расплылось и, по всему видно, что изменилось. Были и такие, которые ни по наружному виду, ни по внутреннему содержанию, увы, никак нельзя было узнать. И все это – в 20 лет!

Я радовался одному, что, не смотря на приобретенную мною в это время плешь во всю голову, все-таки все сразу узнавали меня. Порядочное число было здесь и с проседью, один или два – совсем седые, плешивых в разных степенях и размерах – много; и, несмотря на то, в заключение обеда мы все пропели, или правильнее и справедливее сказать, проревели: «*Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus*»¹⁰⁰, совершенно забывши, что мы никак уже не *juvenes*...

Генерал-губернатором Московским был тогда генерал Тучков, обер-полицмейстер, кажется, ген. Потапов, попечителем учебного округа – Н.В. Исаков (потом начальник военно-учебных заведений), инспектором студентов П.Д. Шестаков (впоследствии попечитель Казанского округа) – все это люди *par excellence*¹⁰¹, каких

⁹⁷ Неразделимые идеи (франц.).

⁹⁸ М. Маркс учился в Московском университете в 1837–1840 гг.

⁹⁹ К праотцам (лат.).

¹⁰⁰ Начальные слова студенческого гимна: «Возрадуемся, пока мы молоды» (лат.).

¹⁰¹ Исключительные (франц.).

трудно найти даже днем с фонарем. Казалось, лучшего и желать нечего. Но это казалось только: обстоятельства общие – выше обстоятельств местных.

II.

Первый визит, сделанный мне, был Райко Ив[ановичем] Жинжифовым с другим болгаринном, фамилии которого теперь не упомяну. Они не застали меня дома. Их приняла жена моя и просила вечером на другой день безо всяких церемоний побывать у нас. На оставленной карточке была надпись «Ксенофонт Иванович Жинжифов».

Болгаре, с очень небольшим исключением, почти все были стипендиатами университета, получавшего за их содержание и обучение плату то из кабинета его и ее величеств, то из славянского комитета, состоявшего под высочайшим покровительством. В комитете этом числились и были главными орудователями: Погодин, Вельтман, Аксаков, Бартенев и многие другие, носившие не совсем правильное название славянофилов, потому что одни из них (Погодин) были начисто москволюбцы, а некоторые (Аксаков) и монголюбцы даже. Одного только Вельтмана, автора романа «Святославич – вражий питомец» можно назвать руссо- или варяголюбцев. Общая славянская идея была им неизвестна или, по крайней мере, игнорировалась ими. Неопределенность понятий и тенденций вела к разладу, и прежде Аксаков, а потом и Погодин, каждый отдельно перессорились с прочими.

На другой день Жинжифов с товарищем явился в назначенный час и отрекомендовался мне именем Райко, т.е. тем, каким он подписывался в письмах ко мне в бытность мою в Смоленске. Я невольно спросил, почему же братец его, Ксенофонт Иванович, посетивший меня вчера, не соблаговолил прийти вместе с ним.

– У меня нет никакого брата, и это карточка моя, – ответил он с каким-то смущением.

– Да, ведь вы – Райко Иванович?

– Точно так, но все-таки я должен зваться и подписываться ненавистным мне греческим именем Ксенофонт. Только между своими я Райко.

Я стал в тупик, но дело объяснилось вот чем. В церковных русских святцах нет имени Райко, и на этом основании славянин Райко по настоятельному требованию славянского комитета должен был официально фигурировать под греческим именем Ксенофонта.

В этот же вечер я узнал Жинжифова вполне. Он был со мною откровенен. Идеалами его как истого народника были: равенство прав, вече – рада – сейм – скупчина

с общею подачею голосов. Болгарию свою любил он всю душою, любил ее загнанный народ и готов был за него пожертвовать не одною только своею собственною жизнью. К туркам питал более презрение, нежели ненависть, но фанариотов готов был хотя бы до последнего всех перевешать. После, именно по случаю бегства Лангевича за границу, я слышал от него слова:

– Дельно полякам! За что они не послушали Мерославского и не перевешали панов – своих угнетателей.

Тут, кажется, не нужны никакие комментарии.

И странную комедию сыграла судьба с этим человеком: он умер, не дождавшись освобождения своего отечества, и умер Ксенофонтом и преподавателем греческого (!) языка.

Чрез несколько дней я обещал быть в собрании болгар.

Там было около двадцати молодых людей, встретивших меня очень радушно (что мне бесконечно понравилось) и почтительно (что меня вводило в какое-то неловкое положение). Вскоре, однако же, я сумел приобрести общее дружеское расположение всех присутствующих. Мне очень понравилось, что они между собою говорили непременно по-болгарски, и только с одним мною, в виде исключения, должны были объясняться по-русски. Жинжифов тут же прочел новое свое стихотворение, и оно понравилось всем. Меня спрашивали о болгарях смоленских, о Рачинском и очень возмущались поступком Динькова на железной дороге.

– Погерченец! – было окончательным решением одного, по-видимому, старшего как летами, так и значением, болгарина.

– Погерченец! – повторил за ним весь наличный хор.

Был тут один серб и один черногорец. Сербя нельзя было отличить от прочих, но черногорец поразил меня и своим телосложением и физиономиею. Атлет с сильно откинутым назад челом, горбоносый, с сильно выдавшимися вперед бровными дугами, черноволосый и черноглазый, с длинными висячими усами и торчащим между ними выбритым подбородком, он показался мне вышедшим из рам в галереях старопольских домов, каким-нибудь Жолкевским, Кмитою, Замойским и пр. Удивительное сходство! И когда бы подбрить ему голову, оставить только на макушке чуприну, то, верно, в каком-нибудь доме нашелся бы самый сходный портрет виденного мною сына Черной Горы.

Пропели несколько народных песен. Мне понравился марш, смахивающий несколько на «Марсельезу». Угощение, как и следовало, состояло из чаю и табаку. Разошлись мы по домам уже за полночь.

Не более как через неделю явилась к моей жене молодая, не более 16 лет, болгарочка. Она привезла с собою для передачи мне «Болгарский сборник», только что вышедший тогда в Москве. Книжечка была в изящном переплете и с надписью: «От московских болгар». При первом свидании с женою девушка хотела поцеловать у нее руку, как момке. Это ей не удалось. Жена обняла ее и сперва поцеловала в голову, а потом в щечку. Она воспитывалась в каком-то княжеском или графском доме и была вывезена, кажется, из Кишенева. Милая и бойкая, она очень понравилась моей жене, и после когда, хотя изредка, посещала нас, была сердечно принята и обласкана ею.

Однажды я, выходя из своего кабинета, был поражен неожиданной картиной. В гостиной жена моя сидела в кресле и держала в объятиях болгарочку, припавшую лицом к ее груди и, видимо, рыдающую. Встретя какой-то умоляющий взгляд жены, я отступил и вернулся в кабинет. Девушка уехала, провожаемая женою, не видевшись со мною. На вопрос: «Что там у вас было и чего она плакала?» – жена отвечала мне:

– Тоскует, бедняжка, по родине, и неудивительно: на чужой стороне и среди чужих людей!

– Так зачем же эти чужие люди завезли ее на чужую сторону?

– Спроси у них, и едва ли они сами знают это.

В самом деле, любопытно было бы услышать от этих благотворителей ответ на этот вопрос.

Говорят, что болгарки, воспитывавшиеся в России деятельны, энергичны и храбры, но не благосклонны к русским. Должно быть, и благотворить нужно с умением, а его что-то не видно ни в комитетах, ни в частных домах.

III.

Знакомых в Москве нашли мы множество. Кроме университетских товарищей, большею частью семейных, явилась и университетская молодежь, сперва из витебских и смоленских, а вслед за ними и из других местностей. Редко, очень редко обедали мы без двух-трех гостей студентов, а когда по прошествии полугода и дочь моя прибыла из Вильны, у нас установились по пятницам домашние вечера, на которых никогда не было менее 15 человек. За чтением и пением, музыкою и танцами, чаем и легкою закускою, время проводилось очень приятно и пролетало так быстро, что гости наши расходились не ранее двух-трех часов утра. О картах не было и помину, и любители игры редко являлись к нам.

Студенты уже были без мундиров, некоторые только на последних курсах донашивали свою форменную оболочку. Казеннокоштные сделались стипендиатами и жили вне университета, на частных квартирах, по своему выбору. Бриться и стричься под гребенку не считалось обязанностью. Голохвастову, Нахимову и анекдотическому Вл.Ив. Назимову и делать ничего не оставалось бы в университете. Даже введенная последним, любимая им и специальная его наука – шагистика была отменена. *Horribile dictu!*¹⁰²

– Когда ко мне является кто-нибудь в мундире своего ведомства, то я и знаю, с кем имею дело, а фрак вводит меня в недоразумение. Согласитесь сами, ведь его может надеть каждый сапожник, – сказал мне Вл[адимир] Иван[ович] в 1860 г., когда я, увы, в черном фраке явился к нему, как к генерал-губернатору во время поездки моей из Смоленска в Вильну.

Студенты разделялись тогда по землячеству на кружки, принадлежность к которым не была, однако же, обязанностью, подобно германским корпорациям. Кружки эти составлялись почти по необходимости. Молодой человек, приехавший из провинции для поступления в университет, отыскивал прибывшего прежде в Москву своего знакомого, а иногда и родного, советовался с ним, сближался и часто даже поселялся у него. За ним в том же году или в следующем являлся другой-третий и т.д. Вот и кружок. Сходные, или же одинаковые условия жизни и отношений связывали их теснее и теснее. Потребности их делались общими, в случае нужды каждый прибегал за помощью к своему кружку. Составлялись из пожертвований и взносов кружковые кассы и библиотеки. Вновь выходящая книга, приобретенная студентом, не переставая быть его собственностью, входила в каталог кружка. Когда владелец ее по окончании курса уезжал, мог взять ее с собою или оставить для общего употребления. Из этих-то остатков составлялись маленькие, но отличные по содержанию кружковые библиотеки из самых важных и капитальных в науке сочинений. Уезжающий на каникулы студент в случае нужды мог позаимствоваться в кружковой кассе, с обязательством уплатить по возвращении в августе или сентябре. В случае болезни студент был обеспечен лекарствами, а врачей бесплатно было своих *ad libitum*¹⁰³.

Рассматривая каталоги кружковых библиотек, каждый должен был убедиться, что молодежь работала, трудилась и училась не для выдержания экзамена только и для

¹⁰² Страшно сказать! (лат.).

¹⁰³ Сколько угодно (лат.).

получения диплома. На что студентам нужны были Блохнер и Фейербах, а между тем они не только составляли необходимость каждой библиотечки, но даже явились литографированные переводы их сочинений. Кто же нибудь переводил их и издавал, и без сомнения, не без нужды были деланы эти переводы.

В мое время все это было, но еще в эмбриональном только периоде, а многое считалось и утопиею. А мое время было строгановское, про которое все вспоминают как об одном из лучших моментов своей жизни. Закон прогресса всегда и везде одинаков: последующее лучше предыдущего.

Не знаю, везде ли также устроились студенты, как в Москве. Знаю только, что в Петербурге они пробавлялись и пустячками. Там даже выходила печатная скабрзная газетка «Клубничка», многие статьи которой, судя по содержанию, писаны в Москве, но не получили в ней ходу. По Николаевской чугунке прилетали тоже не в малом количестве листки «Великоросса» и «Земли и воли». Пресловутый редактор «Московских ведомостей» и «Русского вестника» М.Н. Катков знал все это очень подробно и – молчал, т.е. находил выгодным для себя делом молчать. После Севастопольской войны у нас вдруг повеяло либеральным духом, а широкая русская натура сейчас же понатужилась и захотела превзойти либеральные идеи всех народов. Уж либеральничать – так либеральничать навскачь, очертя голову! Чего тогда не говорилось и чего не писалось? Вспомнить теперь – и грустно, и смешно.

Кружки формировались большею частью по губерниям. Были тверичи, смоляне, калужане и пр. Был даже кружок и новороссийских евреев, но тот держался как-то в стороне и вполне изолированно. Жители самой Москвы, особенно аристократического пошиба, не составляли никакого кружка, и ежели у них было что общее, то не иной что как разгул и кутеж, избегаемые прочими как по недостатку средств, так и по убеждению. Аристократы, как и в мое время, приезжали в университет на ухарских рысаках или на мышьеобразных пони, постоянно в белых перчатках и говорили между собою не иначе как по-французски. Предметами их разговоров как любителей изящных искусств были: балы с графинями и княжнами, театры с балеринами, цирки с наездницами и хоры с цыганками. Только обожаемые ими мундиры, треуголки и шпаги подменились кратчайшими пиджаками и визитками, белыми жилетами, вычурными галстуками и шляпами ronds, plats¹⁰⁴ и пр. всех возможных и невозможных фасонов.

¹⁰⁴ Круглые, плоские (франц.).

Для взаимных сношений и во избежание всяких столкновений между кружками введены были сходки. Место сходок летом назначалось обыкновенно в университетском саду, а зимою – в одной какой-нибудь аудитории.

IV.

Самым многочисленным и вместе с тем плотнее организованным был польский кружок. И неудивительно. Русские кружки были раздроблены и считали в своем составе только десятки студентов. В польский же кружок входили сотни, прибывшие из огромного пространства от Западной Двины и Днепра до границ империи с Пруссией и Австрией, т.е. из тех учебных округов, которые лишились в 1831 г. своих университетов.

Каждый член кружка заявлял свои житейские средства и вносил определенный процент с заявленной суммы в общую кассу. Процентный налог соизмерялся потребностями кружка и производился крайне добросовестно. Контроль, пред которым ничто не могло укрываться, ни получаемые из дому деньги, ни приобретенные частными уроками или другими работами доходы; контроль не официальный, мертвый и всегда обходимый, а товарищеский, живой и строгий, заставлял всех быть крайне откровенными, и нести этот налог не только без ропота, но даже с каким-то предупредительным рвением. Многие добровольно уплачивали значительно более причитающегося за ними. К чести кружка должно заметить, что ценз взносы не давал взносившему никаких особенных преимуществ.

Собранная сумма возрастала коммерческими оборотами, а именно: 1) Каждый член кружка, обеспеченный или необеспеченный, за поручительством обеспеченного в случае крайней необходимости мог взять заимообразно из кассы нужное ему количество на короткий срок, с уплатою одного процента за это время; 2) в разных местностях обширной Москвы устраивались мелочные лавочки. Товары для снабжения сих закупались оптом, прямо из фабрик или заводов, а продавались врозь по общепринятым ценам всем покупателям, за исключением членов кружка, получавших из лавок чай, сахар, табак, писчую бумагу, свечи и пр. по ценам фабричным.

Главными статьями расхода были: во 1) ежемесячное безвозмездное вспомоществование неимущим товарищам, по 6 рубл.; 2) плата за свидетельство на право торговли в лавочках, наем помещения и сидельца, закупку товаров и пр.; 3) приобретение книг, как научных, так и литературных, на всех без различия языках, для кружковой библиотеки. Библиотека составляла общее достояние и отличалась как выбором, так и числом входящих в нее сочинений. После расходы увеличивались еще

вновь явившимися потребностями, вызванными безотрадным положением учебного дела в Белорусском округе.

Трудно представить, как низок был уровень знаний кончивших курс гимназий в Литве и Белоруссии. Слушать профессорские лекции для них было впрямь невозможно. В учителя поступали в виде обрусителей люди, нисколько не подготовленные и даже нисколько не способные. За малыми исключениями это были по большей части бурсаки из великорусских губерний, убоявшиеся бездны премудрости. Были и канцелярские служители, получившие за выслугу лет чин XIV-го класса – отъявленные пропойцы и забулдыги. Даже унтер-офицера, выдержавшие экзамены в гимназиях на первый офицерский чин, высылались в уездные учителя. Можно судить, что и как могли преподавать такие личности, и легко понять, что, кроме отвращения и пренебрежения к себе, они ничего не могли возбудить в окружающей их среде. Дело обрусения по так мило придуманному плану вместо успеха понесло, как и следовало по порядку вещей, блистательное фиаско, заставившее потом прибегать к муравьевскому террору.

Потребность учения между тем усиливалась со дня на день и чувствовалась в жизни все назойливее и настойчивее. Число желающих поступить в университет ежегодно возрастало, и молодежь толпами ехала в университетские города. Образцовое устройство кружка, известное и на родине, влекло чуть не всю массу в Москву, и наехало полуголовых (rółgłówków) тьма тьмуцая. Им советовали приготовиться к поверочному экзамену, не теряя нисколько времени, но известно, что люди этого сорта не слушают умных советов. Они все знают, потому что всему обучались. Историю они знали из руководства Устрялова, географию из Ободовского и т.д., и когда им говорили, что лучше совсем не знать ни истории, ни географии, нежели знать по Устрялову и Ободовскому, что по-русски они не выучились, в латыни не смыслят ни бельмеса, что в математике они очень слабы, а в физике – совершенные невежды, они не только не верили, но еще и обижались таким дружеским предостережениям. Хуже всех были фармацевты, большею частью удовлетворявшиеся уездным училищем. Этих субъектов, по справедливости, в параллель прочим, надо было звать окончательно безголовыми (acerphali).

Настали экзамены – и совершилось избиение младенцев! Воплям, жалобам, стонам и упрекам не было конца. Сильнее всех досталось почтенному и добрейшему

профессору О.И. Пеховскому как поляку, который с строжайшею справедливостью и беспристрастием немилосердно castigavit¹⁰⁵ и полу- и безголовых.

– Вы нас погубили, куда нам деваться? – кричали они ему.

– Домой ехать, – отвечал профессор.

– А там что делать?

– Bóty szyć, bóty¹⁰⁶ (сапоги шить, сапоги), – было ответом.

И в один прекрасный полдень в конце августа по рельсам николаевской чугулки летел вагон III-го класса, сплошь и исключительно набитый будущими bóty szyć.

Некоторые, однако же, поблагоразумнее остались в Москве с целью усидчивым трудом наверстать прежнюю невольную потерю лет, и кружок пришел им в помощь. Им доставлены были все средства самообразования, и нашлись даже добровольные и безвозмездные руководители и наставники. Вскоре прибыла и новая молодежь, не самонадеянная и готовая трудиться в поте чела, лишь бы выйти из ненормального положения своего в обществе. Их звали футурами (будущими, подразумевается, студентами).

Футуры входили в кружок студентов без малейшего различия в правах и обязанностях. С присоединением их увеличились средства кассы, но зато увеличился в таком же отношении и расход ее на учебные пособия, для них и годные только.

Десяток (приблизительно) студентов и футуров, живущих по соседству, избирали одного из себя в десятники, как представителя своей общины. Сотник, тоже избранный, представлял за десять таких десятков интересы более общие. Избирались, кроме того, кассир, библиотекарь и по одному помощнику к ним, а в конце учебного года – три члена для всеобщего контроля.

Кончившие университетский курс и остающиеся на жительство в Москве большей частью не выходили из кружка и оплачивали соответствующий своим доходам налог. Богатая библиотека была тут главною приманкою. Но они не входили в счет сотен и десятков и, не имея голоса на сходке, не могли быть избираемы ни в какие должности, от которых, впрочем, каждый принужден был бы отказаться по их обременительности.

Самыми выдающимися сотнями были арбатская и трубецкая. Первая состояла почти вся из молодежи зажиточной, аристократической, князей, графов, любивших жить поприличнее, даже с великосветским комфортом. Зато чуть не две трети всего сбора в

¹⁰⁵ Фигурально: резать на экзаменах (лат.).

¹⁰⁶ Орфография автора.

кассу кружка уплачивались ими. Труба, напротив, состояла из плебса, пробивающегося со дня на день, жившего по-спартански в каких-то конурах, спавших иногда на соломе, питавшихся по-ирландски – сухим хлебом и картофелем, и при благоприятных только случаях пивших чай или молоко, и в третьей почти части всего своего числа получавших по 6 рублей из кассы. Трудно ответить на вопрос, спали ли когда-нибудь эти люди? Потому что днем и ночью они трудились, работали и горячечно суетились. Тут были и библиотека, и касса, и контроль, одним словом, вся внутренняя жизнь кружка. А на курсовых экзаменах, между тем, блистательнее прочих выступали жители Трубы. В числе футуров своих, надобно отметить, сотня эта считала двух графов: Мечика (Мечислава) Виельгорского и Гутю (Густава) Шадурского. Последний все-таки не мог расстаться с рыцарскими замашками и получил известность в Москве как ярый и неумолимый преследователь жуликов и защитник милых существ на Цветном бульваре.

Кутежи и скандалы преследовались очень строго. Суд совершался явною подачею голосов. Наказанием были штраф, арест и даже исключение из кружка с бесчестьем (*infamia*). Исключенному никто не подавал руки при встрече, и он отчуждался от всех своих товарищей. К чести кружка сказать нужно, что во все время его существования случаев исключения было только два, не считая третьего, вполне своеобразного, совершившегося на Трубе. Некто Журавский, добрый и милый молодой человек, любил кутнуть и поскандалить. Ни штрафы, ни аресты не помогали нисколько. Исключить было жалко, да и самые подвиги его были больше шалостями, нежели проступками. Решено было прибегнуть к телесному наказанию, что и исполнено с успехом, превзошедшим всякие предположения, потому что кутила и скандалист сделался самым скромным, воздержанным и нравственным субъектом и не только не обиделся произведенною над ним операциею, но даже с назидательною целью умильно рассказывал о ней вновь прибывшим футурам.

Одним словом, студенческий польский кружок в Москве был организован прекрасно и в нравственном, и в экономическом отношениях, и все явившиеся после худые отзывы о нем - не более как умышленная и злобная клевета. Противозаконного, безнравственного, а тем более преступного в нем ничего не было.

Издание литографированной III части «Дзядов» Мицкевича, строго запрещенной цензурою, сделано было на средства частные, доставленные из Литвы. Польский кружок был виноват только тем, что не помешал этому изданию путем доноса. Да какая статья ему была брать на себя некрасивую обязанность сыщика и доносчика при

усиленном действии и явной, и тайной полиции, к несчастью, не видевшей ничего у себя под носом?

Чехи, подползавшие тогда под крылышко московских славянофилов и восхищавшиеся вместе с Гездерою русским языком в церковно-славянской молитве господней, составляли тоже свой очень немногочисленный кружок. Я был приглашен на один из вечеров у них вместе с проезжавшим чрез Москву в Карлсбад И. Верниковским, товарищем Мицкевича по университету и обществу филаретов, а потом директором Харьковской гимназии. Пили чай, пели песни, напр[имер], такую:

Hej, slovanie, ješlie naša

Slovanska reč žyje...¹⁰⁷

или «Branntwein, Branntwein, horylka kochana»¹⁰⁸, и много-много толковали о средствах выбиться из-под немецкого ига. Один из ярых младочехов выступил с речью, которую начал-то по-чешски, а кончил по-немецки.

– Это потому, – сказали мне, – что наш язык не может выразить всех тех философских спекуляций, которые удобно оттеняются в немецком языке.

– Ну, Бог с вами, долго же, очень долго оставаться под немцами, – подумал я, и другой раз никак не мог решиться на посещение их сходок.

V.

19-го февраля 1861 г.¹⁰⁹ торжественно в Успенском соборе был прочитан высочайший манифест незабвенного царя-освободителя. Газеты прокричали, что в Москве весь народ ликовал этот день восторженно. Так ли только? Известно, кажется, как народ, какой бы ни было – русский или не русский выражает свою радость; а между тем едва ли в этот день откупщик Кокорев получил сколько-нибудь более обыкновенной выручки. Что народ был рад – в том не было сомнения никакого, но радовался он как мог, т.е. пассивно. Для выражения его радости, даже самой задушевной, нужны были непременно: во-первых, инициатива, и еще, во-вторых, разрешение. Униженный, загнанный и забитый многовековым рабством, он мог только выражать свою радость тихой благодарственной молитвою, принесенною Богу в уединении. Так он и радовался,

¹⁰⁷ Гей, славяне, если наша / славянская речь жива... (словацк., искажен.).

¹⁰⁸ Водка, водка, водочка любимая (нем., словацк.).

¹⁰⁹ Манифест был прочитан только 5 марта 1861 г.

быть может, скрывая даже свою радость от постороннего взгляда. Для откровенного ликования не было инициативы, да и где можно было сыскать инициаторов?

Не в московском ли дворянстве? Да оно из последних сил становилось на дыбы, защищая свои боярские прерогативы. Оно скорее заплакало бы, ежели бы только уверения М.Н. Муравьева, что «ничего не будет, и на этой дудочке поиграют недолго», не поддерживали их надежд на лучшее будущее. Даже после манифеста оно съехалось еще раз для заявления вновь придуманного какого-то протеста; но, по распоряжению свыше, было не совсем даже вежливо разогнано жандармским полковником Воейковым. А как и с какими затруднениями вводилось новое положение, можно между строк видеть из газеты «День», начавшей выходить под редакцией И.С. Аксакова с октября того же года.

Не в московском ли купечестве, казавшемся покойному Николаю Павловичу любящим его народом – в купечестве, отличенном в лице своего представителя почетным прозвищем «Царский»? Но ведь девизом купечества везде и всегда было: «Всё – нам, ничего – другим!», а московское разве могло быть исключением? Освобождение крестьян не представляло, притом, никаких ему выгод. Фабриканту или заводчику выгоднее было приобретать рабочие руки, сносясь с помещиками, живущими чужим только трудом и не слишком высоко ценящими труд рабов своих, нежели со свободными работниками, сознательно знающими цену своего труда.

Не в интеллигенции ли? Но лучшая часть из имеющей значение и могущей иметь влияние интеллигенции давно переселилась в Петербург, а там усердно действовала, не жалея ни сил, ни трудов своих в пользу народа и на славу дорогой им России. В Москве осталось несколько только самозванных славянофилов, да отребие гегелистов, дошедших до крайних абсурдов, которых не избежал в конце своей жизни и гуманнейший из них – Висс[арион] Белинский.

Студенты, этот интеллигентный пролетариат, не мог и мечтать даже об инициативе в подобном случае. Радовались они и праздновали этот незабвенный день, как могли.

Помню, в одной из квартир на демократической Трубе собралось несколько человек из польского кружка. За ними явились и русские, числом около 10, а с ними и болгарин Жинжифов. Чехов не было видно. После чаю хозяин квартиры налил рюмки, стаканы и чайные чашки каким-то дешевым вином (на шампанское средств не хватало) и поднял тост речью, оканчивая ее словами Мицкевича:

Witaj jutrzeńko swobody,

Za tobą zbawienia słońce!

(Здравствуй, денница свободы, за тобою идет солнце спасения!)

Впечатление было поразительное. «Witaj!» закричали все до единого. Жинжифов со слезами бросался в объятия всех, тут присутствующих. За ним пошли и прочие. Один футур сейчас же выступил на середину комнаты и затянул на мотив Фра-Диаволо заимпровизованный им куплет:

Spojrzyjcie tu na nas zdali
Zaborcy naszych dóbr!
Polak uściska moskala,
A Bułgar płacze jak bóbr.
Drżycie!
Bo wkrótce jak piorun z burzą
Odległe echa powtórzą:
«Wolni my, wolni my, wolni my!»

(Взгляньте сюда на нас издали, похитители нашей собственности! Поляк обнимает русского, а болгарин плачет как бобер. Дрожите! Потому что как гром с бурей, дальние эха повторяют: «Мы свободны, мы свободны, мы свободны!»)

В восторге стучали стульями по полу, кулаками по столу, топали ногами, обнимались, целовались, а про слова Н.М. Муравьева «на этой дудочке поиграют недолго» никто и не вспомнил. Что-то похожее было и на Арбате, но чехов и там не было. Вот и единение славян!

Правители и чиновники сделали свое и по-своему, т.е. официально, чинно, хладнокровно и без проявления какой-нибудь чувствительности и сентиментальности. Сочинили адреса кудрявые и непонятные простому народу, разослали их по волостям, а там писаря переписали их набело и указали места для подписей призванным крестьянам; и адреса множились со дня на день, скоплялись в десятки и сотни и отправлялись в Петербург по мере накопления. Молебны шли тем же путем, только не чрез писарей, а чрез приходских священников. Грустно вспомнить, что такой незабвенный день, как 19 февраля – день, встретившийся только раз в тысячу лет, прошел в Москве как-то уныло и вяло.

Совсем не так выразилась радость по случаю отмены акцизно-откупной системы – события сравнительно ничтожного. Народ тут действовал сам собою, от себя и за себя.

В день 1863-го нового года с двух или трех часов утра начались песни и веселые крики на площадях, улицах и в переулках. Кое-где отзывалась и гармония,

наигрывающая плясовую, слышались звучные прищелкивания и присвистывания к пляске. До самого почти Крещения жизнь на улицах била ключом. Дешевка воодушевляла всех. К чести народа должно сказать, что и такое опасное воодушевление не привело его к какому бы то ни было выходящему из порядка вещей безобразию.

А все-таки, где народ действует сам, без руководства власти или интеллигенции, дело не может обойтись без комических, а иногда и трагических событий. Мне пришлось быть свидетелем двух фактов.

1 янв[аря] в восьмом часу утра я по принятому обыкновению совершал прогулку по бульвару на Чистых прудах с любимой собакою своею – Канисом. Утро было морозное и туманное. Светало. Вдруг Канис мой побежал вперед, стал беспокойно метаться около одной из скамеек на бульваре, забегая то в одну, то в другую сторону ее. Когда я подошел ближе, услышал возгласы: «Ура его императорскому величеству, ура! Водка дешева – ура, ура!» Какой-то господин в теплом пальто с бобровым воротником, в теплых меховых калошах ссунулся со скамейки, размахивает руками, болтает ногами, и поднимая как руки, так и ноги вверх, кричит что есть силы: «Ура, ура!». Меховая шапка свалилась с его головы. Канис схватил ее в зубы и стал играть с нею, мотать, тормошить и трепать ее. Едва-едва успел я вырвать у него эту несчастную шапку и заставить его идти за мною домой.

Через дня два или три случилось еще что-то почище. Я шел по Рождественскому бульвару и в конце его хотел выйти на улицу по сходням в несколько ступенек, как увидел, что сходни заняты двумя женщинами, очень прилично и даже щегольски одетыми. Обе они сидели неподвижно на ступеньках. Одна повыше, в меховой шубе, круглолицая блондинка, в теплой шляпе с вуалькою, откинула голову назад, как бы созерцая светила небесные. Другая пониже, в бархатном бурнусе, отделанном в стеклярус, с накинутым на голову кашемировым платком, наклонилась и прижала лицо к своим же коленям. Я хотел пройти между ними, взглянул и, как от электрического удара, отпрыгнул на противоположную сторону бульвара и другими сходнями выбрался на улицу. Смертная белизна лица, пред которою все мраморные статуи покажутся румяными, полуоткрытый рот со сжатыми белыми зубами, полуоткрытые, неподвижные, не потускневшие, а совсем побелевшие глаза – вот что я увидел. Первому попавшемуся мне городовому я сказал, чтобы он поспешил на бульвар и посмотрел, что там делается. Он сейчас же пошел туда. Я слышал, что одну из них, верно, ту, которой лица я не видел, успели оттереть. Блондиночка едва ли могла возвратиться к жизни.

Бедняжки не по силам выразили свой восторг при всеобщей радости и по-славянски не удержались в сфере умеренности и аккуратности.

VI.

Как громом поразило всех известие о событиях в Варшаве.

15-го февраля по самовольному распоряжению какого-то Заболотского пало пять ни в чем неповинных жертв, и в самое 19 февр[аля] совершилось торжественное погребение их трупов. Через три дня депутаты городских жителей явились к гуманному и глубоко уважаемому ими наместнику кн. Горчакову, пораженному не менее их этою никак неожиданною невзгодою, с просьбою разъяснения самого события и принятия нужных мер предосторожности. Князь объяснил, что все совершалось помимо его воли и без его распоряжения. Депутат от ремесленников, содержатель сапожного заведения Станислав Гишпанский напомнил ему, что за все отвечает фирма, которой он – представитель; а раввин Мейзельс на вопрос «зачем и он тут», с библейскою фигуральностью, называя правительство отцом, страну матерью, а жителей детьми, ответил: «Дети плачут, когда отец бьет мать». Князь Горчаков выслал подальше из Варшавы всех этих депутатов. Всем известен печальный ход последовавших событий.

В Москве никто не одобрял стреляния по народу, но зато каждый молодец толковал на свой образец, и оттого толкам не было и счету. Некоторые были наивно глупы, потому что сводились на пустейшие слова: ошибка, случай, недоразумение и пр. Но были и очень оригинальные. Мне памятен один, слышанный мною в вокзале Николаевской железной дороги от уезжающего из Москвы какого-то пожилого господина в общеармейском мундире, славянофильствующего помещика, кажется, Новгородской губернии, с какою-то нерусскою и даже неславянскою фамилиею, которую никак теперь не могу припомнить:

– Дело-то, сударь мой, само по себе и плевка не стоит. При покойном государе наш отец-командир Иван Федорович сейчас же вывел бы все войска из этой проклятой Варшавы и в полчаса (как он и говорил приезжавшему из Лондона жидку Монтефиоре) разгромил бы ее в пух и прах, а чрез другое полчаса в Питере читали бы депешу: «Варшавы нет, спокойствие восстановлено и все обстоит благополучно». Вот как по-нашему! И согласитесь, сударь мой, сами, что лучше. А то – севастопольские герои! Какие тут герои? Ох, этот Севастополь, право, хуже чумы. Европейские идеи! Да нам-то что до Европы – плевать на нее!

Вот возможно приблизительное содержание сильно прочувствованной и с жаром произнесенной речи почтенного представителя прежних времен.

Но это прежних, а вот что тоже собственными ушами слышал я, спустя 18 лет, и не в первопрестольной Москве, а на пределе обитаемых мест, в Енисейске. Директор прогимназии Н.Н. Сторожев, действительный студент и ярый славянофил, сидел в состоянии откровенности, когда пришло известие о преступном покушении Соловьева на жизнь государя императора. Пораженный известием он хотел привстать и сказав только: «Да! Пока есть Варшава – в России смутам конца не будет!» – упал от полноты чувств. Это ведь новейшего классического пошиба, хотя ни в одной латинской грамматике нет *Varsovia delenda*¹¹⁰, а дальше грамматики *usque ad hoc tempus*¹¹¹ наши педагоги не зашли, все-таки это представитель классицизма, разумеется, *sui generis – catcoviani*¹¹².

В Варшаве кто-то вспомнил, что в 1830-м году, лишь только кн. Константин Павлович удалился, совершена была торжественная панихида с крестным ходом по пяти декабристам, казненным в Петербурге. А тут у себя тоже пять трупов! Чего же лучше для работы путем демонстраций, единственно возможным, по мнению большинства? Нужно только дать этим демонстрациям побольше простору, и – дело закипело.

В Москву летели письма с копиями писем, известий из-за границ, речей, отзывов и прокламаций. Молодежь не могла устоять против этого натиска и решила тоже сделать демонстрацию – отслужить панихиду за пострадавших невинно.

Обратились к декану католической церкви, ксендзу Довгялло. Тот наотрез отказался, несмотря на все просьбы, увещания, представления и даже угрозы. Что тут делать? Кроме общекатолической, в Москве есть еще другая, состоящая под непосредственным покровительством французского правительства и называемая французскою церковью, с двумя аббатами – Кудер и Террайль; а императрица Евгения надела траур по убитым. Заадресовались к французским аббатам, а те заявили, что они с удовольствием исполнят просьбу, ежели только согласится на то французский консул в Москве. А г-н консул ответил, что молиться за усопших он запретить не может, но просит только об одном, чтобы при совершении обряда не было политических речей. Обещано более требуемого – речей не будет никаких.

¹¹⁰ Варшава должна быть разрушена (лат.).

¹¹¹ До настоящего времени (лат.).

¹¹² Своеобразного – катковского (лат.).

– А относительно порядка самого обряда – переговорите с аббатами, – сказал в конце консул.

Этого было довольно. Взялись ребята за работу и в одни сутки изготовили все. Кто обводил черные каемки на восьмушке почтовой бумаги, кто писал, кто печатал, кто надписывал адреса, кто разносил и сыпал целые десятки приглашений в ящики городской почты! Более семисот кувертов было разослано по Москве и к полякам, и к русским, к французам, немцам, итальянцам, армянам, и даже, кажется, к двум евреям. Болгаре и чехи как студенты были приглашены словесно. Панихида назначена двухдневная. Съезд приглашенных был непомерный, и кого же тут не было: и военных, и статских, и мужчин, и женщин, и старых, и молодых. Дамы догадались сами надеть платья или черные, или белые с черными принадлежностями остального туалета.

Посредине церкви возвышался катафалк, а на нем – гроб с пятью терновыми венками сверх крышки. На ступенях катафалка горели лампы, прикрытые шарами белыми и кроваво-красного цвета, размещенные в изящной симметрии. Орган издавал соответствующие обстоятельству унылые, минорные мотивы.

В первый день ничего особенного не случилось. Во время обедни, при предложении даров, орган замолк, молодежь пала на колени и запели гимн «*Boże, coś Polskę*». Все присутствующие в церкви последовали их примеру. Кто пел, кто подтягивал, но ни стоящих, ни молчащих, кажется, не было.

На другой день, еще до обедни к проф. Вызинскому подошел молодой человек в русском костюме и просил дозволения произнести у гроба речь от русской молодежи. Ему отказали, так как по обещанию, данному консулу, не дозволялись никакие речи. Богослужение шло в том же порядке, что и в первый день, только по окончании панихиды пять студентов сняли с гроба венки, порвали их и стали раздавать посетителям и преимущественно посетительницам, кому листок, кому прутик, кому шип. Как вдруг все поражены были громкой русской командой: «Дамы, вперед!», раздавшейся сверху. Что это такое? Переглянулись – на хорах никого не видно. Будь что будет – в одну минуту решились пустить дам вперед, а молодежь должна была выходить из церкви после всех.

Пропустили дам, побледневших и дрожавших. За ними вышли их мужья, отцы и братья, и что же видят? Дамы столпились кучками во дворе и осматриваются то на церковь и выходящих из нее, то на улицу через решетку ограды, где накопилось много зевак всякого праздного народа, привлеченного множеством экипажей, стоящих по сторонам двора. Ни солдат со штыками, ни казаков с нагайками, ни жандармов с

обнаженными саблями – нет никого! Я подошел к кучке дам, в которой была и жена моя. Там были: Мария Васильевна Тучкова, сестра генерал-губернатора, со своими родственницами, жены двух частных полицейских приставов, Шляхтина и Врубель, одна какая-то армянка, француженка мадам Беккер с дочерью, и еще несколько незнакомых мне лиц. Мимо меня прошел синий жандармский мундир, отыскивая свою жену, которая забилась куда-то подальше. Все спрашивают: «Что такое?» – и никто ничего не знает.

А между тем на паперти молодой человек в бархатной поддевке сверх красной рубашки, в маленькой круглой шляпе с павлиньим пером, стоя у колонны, что-то громко говорит и жестикулирует руками, а молодежь окружила его и слушает со вниманием. Вот он взывает: «Подадим друг другу руки!», вот снимает шляпу, поднимает ее вверх, машет ею и громко кричит: «Да здравствует Польша!» «*Nich żyje!*»¹¹³ – в один голос ответили ему сотни, поднимая вверх и даже подбрасывая свои шапки. «*Nich żyje!*» – повторилось еще в ответ другому оратору. И это среди двора, почти на улице, только за решеткою ограды, в присутствии народной толпы, и где – в Москве белокаменной!

Посланные от русских кружков Заичневский и Освальд, очертя голову, исполнили свое поручение. Но где же была полиция? Бог ее знает, но она молчала. А «Московские ведомости», зорко после следившие за всеми и видевшие все, даже и то, чего не было и об чем никому не снилось? – и те молчали. Мучительнейшая борьба, надо полагать, происходила тогда и в мыслях, и в чувствах их редактора.

VII.

Смута шла далее и далее. Демонстрации не ограничились Варшавой и Царством Польским. Вильно и Ковно не отстали от них. В Городле съехались представители всех воеводств (за исключением Смоленского) бывшей Речи Посполитой, а рогачевские дворяне (Могил[евской] губ[ернии]) удивили всех своею шальнойю петициею восстановления литовского статута и унии.

¹¹³ Да здравствует! (польск.).

Чрез Москву поодиночно, в сопровождении жандармов, провезены в гости к Макару: Гишпанский, каноники Дзержковский¹¹⁴, Стецкий и Вышинский¹¹⁵, Грабовский¹¹⁶ и Корзон¹¹⁷ – питомец Московского университета, наделавший много хлопот своим экзаменаторам, и поставивший их в тупик на своем кандидатском экзамене. Он ехал с молодой супругою, обвенчавшеюся с ним в тюрьме за час до отправления в дальний путь. Как на диво провезены были вдвоем и братья князя Четвертинские, жалкие мальчишки, потому что младшему было не более 13 лет. Мать их отправлена особо в иное какое-то место и иным путем.

А между тем Велепольский поставил дело в Петербурге так, что не оставалось, кажется, ничего и желать более. Гордый аристократ и монархист по убеждению, он светлым умом понимал, что народу дороже всего его семейный строй и его язык; и вот первым его стараньем было удовлетворить как этим потребностям, так вместе с тем и нестерпимо мучительной жажде основательного высшего образования, к которому пылкая молодежь усердно рвалась, и, не находя его у себя дома, впадала или в гнусную апатию, или в отчаянное озлобление.

«Требования и просьбы поляков так основательны, справедливы и законны, что им отказать нельзя; и увидите, что скоро явится автономная, соединенная с русским скипетром, прекрасная Польша, с границами, указанными государем императором в речи, произнесенной им в Варшаве. Вот что значит уметь взяться за дело. Молодец

¹¹⁴ У меня с кн. Дзержковским завязался однажды разговор о гражданском браке, и вот что сказал он: «Церковь – это любящая мать и обязана руководить детей своих, пока они дети; и она руководила ими, учила, судила и лечила их. Но подрастут они, и умная мать должна сказать им: «Можете теперь распоряжаться сами, и какое мне дело до вашего полового подбора!» Все тут сводится к одному вопросу: подросли ли детки?» – *прим. М. Маркса.*

¹¹⁵ Кс. Вышинскому его духовное звание нисколько не помешало быть глубокомысленным натуралистом и последователем Дарвина – *прим. М. Маркса.*

¹¹⁶ Автор статьи, наделавшей много шума: «Ответ поляка русским публицистам» («День», 1862 г. №№ 15 и 16) – *прим. М. Маркса.*

¹¹⁷ Автор капитального и беспристрастного сочинения «Wnętrzne dzieje Polski za Stanisława Augusta», 4 части, изданного и премированного Краковскою Академиею наук – *прим. М. Маркса.*

Велепольский!» – так говорил мне обер-шталмейстер двора е. в. гр. Гудович, приехавший в Москву во время поездки государя за границу, и таково было мнение высшего правительственного круга.

Как патриот, а еще более как народник, Велепольский работал последовательно, по плану Чарторыхских, в пользу Польши, под покровительством России, а никак не химерически в пользу независимой Речи Посполитой. Как прежде в 1831 г., Хлопицкий посланным к нему сказал: «Ani jednej skałki (ни одного кремня) dla Litwy i Podola!», так точно ту же мысль повторил и Велепольский явившимся к нему депутатам: «Не считайте Польшею всего, что когда-то принадлежало к Польше, но никогда не было Польшею. Днепр и Двина со всеми их притоками русские, и только русские». Многим это не нравилось, и вот причина его непопулярности и даже ненависти к нему в Литве и Белоруссии. И когда по случаю покушения на его жизнь он получал отовсюду поздравительные адреса и депеши, в числе их была одна поддельная от мнимого члена германского союза, владетельного князя Гурензон фон Думмер Копфа. Он нашелся в положении, метко определяемом словами: между молотом и наковальней.

Начали являться целые партии ссылаемых по суду из Варшавы и других городов Царства Польского в оренбургские батальоны и за Урал на поселение. Первая партия состояла из семи или восьми студентов высшей школы, сделавших демонстрацию вновь прибывшему в Варшаву архиепископу Феликсу Фелинскому. Из них отличались: Рамлев, чрезвычайно симпатичная личность, и Диаковский, хромой, разжалованный в рядовые оренбургского батальона (?!). Явились они в Москву пред Пасхою и с дозволения начальника Крутицких казарм разговелись и пробыли целый первый день до 8 часов вечера у меня.

Партии ссыльных быстро следовали одна за другою. Не проходило и недели, чтобы не явилась новая; и все они становились многочисленнее и многочисленнее. Некоторые состояли даже человек из сорока. В числе ссылаемых были и помещики, и франтики – помещичьи детки, и чиновники, и простаки-рабочие; были и старики, и ребятишки, светские и духовные, христиане всех вероисповеданий и евреи, зажиточные и голь отъявленная. Последней особенно было много. Были тут из Царства Польского, из Литвы, Украины и Белоруссии, и подданные прусские, австрийские, французские, и даже итальянские. Много украинцев и белорусов едва-едва понимали кое-что по-польски, а несколько жмудинов не знали ни аза ни по-русски, ни по-польски. Много было в числе высылаемых родных и близко знакомых находящимся в Москве студентам и футурам.

Московское купечество искони отличалось своею благотворительностью. Именины, свадьбу, рождение ребенка как дни радостные, а похороны, поминки – как печальные, оно всегда праздновало подаванием заключенным. Редкий день, чтобы возы с калачами, сайками, говядиной, салом и прочими съестными припасами не являлись в тюремный замок для подачи арестантам. Но вся эта благотворительность миновала пересыльную тюрьму (Колымажный двор), где помещались партии ссыльных, и они оставались без малейшего попечения. Совесть и человеколюбие понуждали прийти к ним с неотложною помощью, и за это взялись женщины. Понятно, почему. Они везде и всегда сострадательнее и притом умеют удобнее располагать своим временем, не то что мужчины, занятые или обязанностями службы, или необходимостью трудиться для снискания средств существования.

Покойная жена моя была в этом отношении едва ли не деятельнее прочих. Как только получалось известие о появлении партии в Колымажном дворе, она являлась туда узнать нужды бедных узников, и на другой день утром отправлялась уже с удовлетворением их по возможности. Кроме белья, платья и обуви, везла она и другие необходимые потребности. Безногому нужны были костыли, священник просил молитвенник, а один молодой человек (помню даже его фамилию – Богданович) – таблицу логарифмов. Чай, сахар и печенье к ним сопровождалось тоже, хотя в небольшом количестве. Польский кружок студентов принимал посильное участие в этих благотворениях и с удивительною быстротою доставлял почти все спрашиваемое.

Когда в Москве печатались «письма из Познани», в которых изложены были все принимаемые прусским правительством, тогда тайные, а теперь явные подходы германизировать Польшу, и представлены выгоды прекращения семейной вражды с Россиею, хотя бы путем уступок, тогда же и появилось письмо Бисмарка, приглашающее поляков отдаться под покров и защиту гуманной, цивилизованной и либеральной (sic) Пруссии. Первые читались хотя и с раздумьем, но внимательно и с любопытством, а последнее – со всеобщим негодованием. На Наполеона III немногие, впрочем, полагали значительные надежды; большинство однако же считало его не более как пройдохю и шарлатаном. Моя покойница терпеть не могла одного даже намека на него и выходила из себя, часто даже очень некстати, когда кто-либо оправдывал его декабрьское *coup d'état*¹¹⁸.

¹¹⁸ Переворот (франц.).

Помню, однажды она, для охарактеризования его личности, попросила заиграть на фортепиано краковяка, и под музыку скороговоркою высказала:

Łajdak, szelma, huncwot, łgarz,
Pijak, szuler, lotr i kpiarz,
O jakiejś niby opiece kundel łże,
I ostatnią on nam skórę z karku drze!

(Обманщик, шельма, пройдоха, лгун, пропойца, шулер, воришка, шут; о какой-то мнимой опеке, как собака, врет, и последнюю кожу дерет нам со спины!)

Это переделка из куплета из неизданного одноличного водевиля «Рассказ отца» польского юмориста Артура Бартельса.

Несколько человек с тех пор перестали посещать нас. Бог с ними! Раскаялись после.

VIII.

12-го октября 1862 г. и в Петербурге, и в Москве произошли студенческие смуты. Московская получила особенное характерное название Битвы под Дрезденом, от гостиницы «Дрезден», находящейся против генерал-губернаторского дома, где совершилось событие. Об нем писано много и большею частью вкривь и вкось. Я не видел его собственными глазами, а несомненно знаю о нем вот что:

1) 10-го октября на сходке студентов в университетском саду поляк Болеслав Колышко (казненный в Вильне 28 мая 1863 г.) вскочил было на скамейку с целью произнести какую-то речь, но был бесцеремонно оттянут за фалды и сброшен с нее членами польского кружка. Проф. Ешевский в своем официальном отчете о ходе этого события справедливо и беспристрастно говорил, что поляки, без сомнения, принимали в нем большое участие, но вели себя так воздержно и осторожно, что никого из них нельзя обвинить в выдающейся деятельности. Нужно было бы пояснить это мнение следующими словами: польский кружок студентов действовал в этом случае не как польский, а как кружок студентов.

2) 12-го окт[ября] – день моих именин. Узнавши о происшедшей битве, я не ожидал к себе вечером ни одного студента. Как вдруг с девяти часов начали вдруг являться то поодиночке, то вдвоем-втроем, так что собралось их человек до 30. Ни стаканов к чаю, ни рюмок для вина у меня не хватило.

– Какими судьбами вы свободны? – спросил я первого из неожиданно явившихся.

– Очень просто, – ответил он, – призвали в комиссию, в которой депутатом от университета был инспектор Шестаков. Он спросил меня, зачем я шел. Я ответил, что шел потому, что все шли, и мне не оставалось ничего более как тоже идти. Меня и отпустили.

То же повторили и прочие.

На тост за мое здоровье я отвечал, между прочим, что «меня радует еще и то, что сегодня вы все отделались так благополучно. Сердечно желаю вам, оставаясь такими же, как теперь, быть впредь еще осторожнее, еще воздержаннее и приобрести на будущее время более того, что называется тактом».

Второй тост молодежь провозгласила за здоровье моей жены, подняла ее на руках, качала и заявила, что с этого дня она получает почетный титул мама московская.

– Еще тостик можно? – спросили меня.

– С удовольствием, – ответил я.

– Здоровье инспектора Шестакова! Он один сумел поставить вопрос и умно, и гуманно.

– Ура Шестакову! – раздалось единогласно.

В это же время сотня студентов, отпущенных из комиссии, отправилась в театр, забралась в раек, и в конце представления напроказничала там.

– Что вам за охота выкидывать какие-то скандалики? – спросил я на другой день встретившихся мне шалунов.

– Да помилуйте, как же не выкинуть? Пусть все знают, что мы на свободе!

– Молодость! – подумал я.

3) На другой день, т.е. 13 окт[ября], полковник Куликовский, владелец дома рядом с генерал-губернаторским, впрямь против гостиницы «Дрезден», рассказывал мне, что вчера он всем со всем семейством по случаю студенческой суматохи остался без обеда и принужден был удовлетвориться чаем, хлебом, сыром и колбасою, потому что повар его, как только начались на улице крик и шум, выскочил за ворота. Его схватили полицейские служители, потащили за собою и передали казакам. А те прежде отняли у него два поварские ножа (большой и меньший), бывшие у пояса, сорвали с него белый колпак и передник, и погнали во двор тверского частного дома, откуда выпустили только часов в 9, но без ножей, колпака и передника. Ножи свои он видел на столе в комиссии, как вещественные улики, вместе с какой-то шваброю и изломанною оглоблею. Это, без сомнения, те кинжалы и палки, которые, по уверению московских газет, были подняты на месте побоища.

IX.

Прежде пророками называли людей, предсказывающих будущее по наитию свыше. Так ли? В предсказаниях их не было ли умственной работы со всевозможными комбинациями синтеза и анализа? Астроном, физик, химик, а в последнее время и физиолог делают теперь вернейшие предсказания, совсем не по наитию. Проницательная же наблюдательность характера людей и меткая сообразительность их взаимодействий создают пророков и на других поприщах знания. Одним из таких пророков был любимый и уважаемый всеми проф. Грановский.

Не пророчеством ли был его «восточный вопрос с русской точки зрения», не пророчески ли были его слова, сказанные друзьям на одном вечере у него, по уходе Михаила Никифоровича.

– Будьте осторожны, не доверяйте слишком Каткову. Он нас больно когда-нибудь ужалит.

Никто почти, к несчастью, не поверил этому.

Ярый последователь Шеллинга и, вдобавок, страстный обожатель его дочери, строго серьезный и логически последовательный мыслитель, скромный до застенчивости и мягкий до уступчивости джентльмен, интимный друг Бакунина (и в эмиграции, и в ссылке), ловко проводивший, под псевдонимом Байбороды, при всей страшной строгости и придирчивости тогдашней цензуры, такие идеи, которые и теперь могут показаться слишком либеральными, светло и основательно подготовленный гуманист, поражавший не раз всех на дружеских беседах у Грановского своими спекулятивно-философскими взглядами, Михаил Никифорович, хоть не вдруг, а исподволь, но все-таки очень скоро неузнаваемо изменился и, бросивши все, что было в нем светлого и привлекательного, выступил с проповедью средневековой тьмы и насилия. И пошел же писать!

Народ создан для правительства, а не правительство для народа. Наука только для науки, а жизнь не имеет ничего с нею общего. Для достижения полной свободы совести необходим институт священников-жандармов (не инквизиторов ли?), а для энергичного правосудия – пытки. Высшим судьей в деле образования – Бисмарк, а образцом государственной мудрости – Наполеон III. Для основательного изучения классической мудрости требуется от бедных мальчуганов до 40 часов в сутки умственной и самой усидчивой работы, а реально образование пригодно только почтальонам.

Всех абсурдов не перечтешь, но, увы, абсурды эти пошли в ход!

С падением крепостного права пало и назначение дворянства. Катков понял, что теперь влиятельная сила переместилась в сословие московских купцов, возведенных покойным Николаем Павловичем в представители народа, и что этой неумелой силе нужно только дать психический стимул, чтобы руководя всею накопившеюся энергиею, сделаться представителем, вожаком и оракулом могущественной партии. Он взял интересы этой партии в свои руки и достиг предположенной им цели. Очень немногие (Schedo-Ferroti)¹¹⁹ поняли тогда же этот маневр. Профессора Московского университета: Леонтьев, его alter ego, его inséparable¹²⁰, глубоко ученый, но слабый и телом, и характером; Юркевич, видевший всегда и с одной, и с другой стороны одно и то же, под разными только названиями; Любимов, прозванный собачкою Каткова, восхищавшийся в своей вступительной лекции физики светлым, трезвым и здравым взглядом древних на природу и поздравлявший студентов с избавлением их от вредных влияний губительного позитивизма, – эти люди, самые приближенные к Михаилу Никифоровичу, едва ли догадывались, что они были не более как пешки в руках ловкого игрока, заручившегося их слепым повиновением и дерзко называвшем себя собирательным «мы»: «Мы желаем», «Мы требуем!» Впрочем, имея в своем распоряжении материальную силу купечества и умственную стольких послушных интеллигентов, кто не звал бы себя «мы», подразумевая – ваш повелитель.

И московское купечество поднесло своему повелителю великолепную чернилицу и еще великолепнейшее перо, «да макает им в уме», а при содействии преданных ему профессоров, подняло и университет совершить перенесение на Страстной бульвар мощей ректора Баршева, не подававшего во всю свою жизнь ни одного признака жизни. Оно подхватило на пути и добродушного Оле-Буля¹²¹, который, не понимая, что с ним творится, кричал только: «Скрипку, скрипку мне!». Скрипки ему не дали, а жаль, потому что любопытно было бы услышать, что за оратория вылилась бы у этого бесспорно талантливое маэстро.

Время реформ, следовавших быстро одна за другою, не могло пройти без больших или малых, но все-таки чувствительных колебаний и сотрясений. И вот обширное поприще выдвинуться вперед, ставя оппозицию этим реформам, хотя бы ex

¹¹⁹ Псевдоним публициста барона Ф.И. Фиркса (1812–1872).

¹²⁰ Неизменный двойник (франц.).

¹²¹ Буль Уле (норв. Ole Vorneman Bull, 1810–1880), норвежский скрипач и композитор.

absurdo¹²². Так и было. Катков шел этим путем, оппонировал и оппонировал ex absurdo, зажмуря глаза, и впрямь противоположно всем высказанным им же прежде идеям. Его спросили, не бывал ли он знаком с Байбородою.

– Байборода – это я; но я человек прогресса, а вы все закоснели и отстали.

Столкуйтесь после этого ответа. Да и толковать-то опасно. Инсинуация и донос – эти два ядовитые зуба кого не заставят отступить? И одни бежали подальше, другие сжались и съежились от страха. Прав Грановский.

Но самым любимым коньком Мих[аила] Никиф[оровича] была польская интрига, подхваченная из Смоленска. И к чему она не прилагалась, и где она не нашлась? Сошел поезд с рельсов, загорелся фосфор, поставляемый на спичечную фабрику, вспыхнул Щукин двор в Петербурге, случился где-либо пожар – все это польская интрига, и за все это еще вдобавок угроза чем-то вроде сицилийской вечерни. А угроза нешуточная, ведь потом пущена была «легкая рука» мясников Охотного ряда на ненавистных крамольников-студентов.

На польской интриге поехал Катков уже не один. К нему пристегнулись псевдославянофилы Погодин и Аксаков (Русская правда и польская кривда, День и пр.), и помчалась тройка удалая! А куда она несла?

Молодой ученый Поржезинский, приехавши из-за границы, предложил свои услуги Московскому университету. Отказано. Не подобает бо университету в Москве иметь в числе своих профессоров человека с такою похабною фамилиею.

Художник Рамазанов бьет на даче окна и ломает мебель директору художественной школы Собоцинскому за то, что он поляк.

Полудиот Кичеев вступился за честь своей любезной сестрички, будто обиженной студентом Бугоном, и вместо Бугона, среди бела дня на Тверском бульваре, подкравшись сзади, выстрелом из пистолета, кладет на месте другого студента-поляка Коссаковского, совершенно ему незнакомого. В «Русских ведомостях» по этому случаю Кичеев оправдывается, потому что «пуля виновного нашла». Напрасно инспектор студентов Красовский (потом томский губернатор) доказывал невинность убитого. В общественном московском мнении поляк должен был быть убитым, а Кичеев сослан в Пинегу – невинно.

Карокозов, злодейски покусившийся на жизнь государя императора – поляк, и фамилия ему Ольшевский.

¹²² Доходя до абсурда (лат.).

В театре играли «Жизнь за царя». Первое действие прошло, как следует, но поднимается занавес в начале второго действия и на сцене польский лагерь. Крик, шум, свист, стукотня. «Не надо, не надо!» – и занавес опускается.

Это в Москве, а что же дальше?

Сгорела Казань – виноваты поляки. Одного даже из них расстреляли. Это был старик-солдат, находившийся во время пожара где-то в довольно далекой от города командировке.

В Иркутске дается приказ – при первом ударе в набат вязать в казармах всех нижних чинов польского происхождения.

Сгорел Енисейск, а чрез несколько дней и соседственный Каменский винокуренный завод – виноваты поляки. Их кого садят в тюрьму, кого высылают из города. Строжайшее следствие оправдывает их. Да что пользы? Следствие само по себе, а интрига сама по себе!

Это случаи мне хорошо известные. А сколько их могло быть и было?

Польская интрига имела и сверхъестественное обратное действие. Она писала органический статут Николая Павловича, а М.К. Сидоров жалуется в своих сочинениях на нее как на причину потерь, понесенных им на Печоре. Его уполномоченный поляк Черношвитов (!?)¹²³ был арестован по делу Петрашевского.

Жутко было жить в Москве полякам, и неудивительно, что когда в марте 1863 г. разнесся призыв «do lasu» (в лес), более сотни студентов и футуров бесследно улетучилось. Кружковая касса иссякла, а брошенная библиотека бессовестно расхищена.

Один из исчезнувших прислал мне из Петербурга письмо следующего содержания: «Сию минуту уезжаю из Петербурга. Знаю, что еду на верную гибель, и все-таки еду. Прощайте и не забывайте преданного вам. Супруге и дочери вашим передайте мои глубочайшие поклоны. На прощание маме целую ручку, а вас обнимаю. Прощайте и прощайте навсегда!»

Что это, как не крик отчаяния?

На этой крайне невеселой картине я прекращаю свои воспоминания о Москве. Прожил я в ней еще почти три года, так же невесело. Но как в продолжение всего этого времени, все, что помню, относится лишь лично ко мне, а я не имел никогда намерения писать незаслуженную мною автобиографию; то до свидания на дороге из Петербурга в Енисейск.

¹²³ Так в тексте.

Из Петербурга в Кежму (1866–7 гг.)

В начале 1866 г. я подвергся страшной болезни. Чуть не с половины января почувствовалась глухая боль в левом боку, ниже ребер. Она усиливалась со дня на день и делалась докучливее и несноснее. Лечь я мог только на левом же боку. При лежании навзничь и на правом боку в левом чувствовалась какая-то ноющая пустота. Советы врачей и лекарства, прописанные ими, не помогали нисколько. Через месяц или полтора присоединилось еще сильнейшее биение сердца с неправильным, то учащенным, то замедленным темпом. Лежать и на левом боку не было никакой возможности. Амидалин и дегиталин не производили ни облегчения, ни даже какого-нибудь действия. Последовала мучительнейшая бессонница, а морфия наводил только тягостную дремоту, но уснуть все-таки я не мог. Тоска, беспокойство и ощущение лихорадочного озноба, особенно ночью, были невыносимы. Я впал в отчаяние, и мысль о самоубийстве не выходила почти из головы. Однажды я приготовил уже в рюмке раствор синеродистого калия и пошел как можно тише со свечою прежде в комнату дочери, а потом в спальню жены, чтобы взглянуть в последний раз на милых и дорогих мне личностей и мысленно проститься с ними. Но едва возвратился я в кабинет и хотел взяться за рюмку, как появившаяся в дверях жена дрожащим от испуга голосом назвала меня по имени и спросила: «Что с тобою?». Я не мог ничего ответить, молчал и стоял, упершись в стол руками. Она взяла в одну руку свечу и другую повела меня в спальню, где мы просидели всю ночь. Слезы, мольбы и ласки ее подействовали на меня так, что я твердо решился как ни страдать, а не прибегать уже к самоубийству, и утром незамеченную женою рюмку с ядом, стоявшую на столе в кабинете, я выплеснул в таз и старательно сполоснул ее.

Решимость жить, однако же, не облегчила страданий жизни; напротив, они усилились как по ходу болезни, так и обстановкою житейских отношений. Поворот к мертвящему схоластицизму с чехами-наставниками, убийственные известия от родных и знакомых, ярая и неистовая проповедь Торквемады-Каткова и, наконец, злодейское

покушение 4-го апреля обезумевшего маньяка Каракозова – все это как порознь, так и совокупно массою налегало, жало и давило на раздраженную и уже расстроенную нервную мою систему и усиливало страдания, которые я хотел переносить с твердою решимостью. К физическим болям присоединилось еще давление в горле.

В этом-то состоянии ночью с 30 на 31 мая я был арестован и заключен в камеру №1 Сретенской части, и здесь, не далее как в третью бессонную ночь, со мною начались галлюцинации слуха. Невидимые голоса отзывались за дверью и за окном камеры, разговаривали, пели, кричали, обращались ко мне с вопросами, ругательствами и угрозами. Меня отправляли несколько раз в следственную комиссию, помещавшуюся в доме генерал-губернатора, и всегда по ночам, а утром – в Кремлевский дворец, в какое-то особенное его отделение. 17-го июня спровадили меня в больницу тюремного замка, где не дозволили лишь курить папиросы, но не лечили ничем, и, должно быть, поместили только на испытание. Как можно судить по грубым выходкам невежественного и крайне глупого зрителя, обращавшегося ко мне с бессмысленным увещанием «не притворяться», тогда как я не говорил ни с кем ни слова и ни о чем не просил его. Галлюцинации усиливались, и бессонница достигла полнейшего развития. Грызущая внутренняя тоска заглушала и боль в боку, и биение сердца. Появился новый симптом – сильнейший отек в ногах.

11 июля жандармский полковник Воейков отправил меня из больницы в Петербург. Я уехал, не простясь даже с семейством. Нашли, что это ни с чем не сообразно и противозаконно.

В петербургской Петропавловской крепости галлюцинации с настоящими фактами так перемешались в моем уме, что и теперь я не в состоянии отличить одни от других. Как сквозь сон припоминаются личности: и грозного графа Муравьева, и холодно-гордого коменданта Сорокина, и саркастического какого-то немца-доктора, навязывавшего мне *delirium tremens*¹²⁴ и утверждавшего положительно, что я непременно предавался запою, хотя фактически раз только, и то для опыта, во время своей студенческой жизни я был пьян и, протрадавши на другое утро головную болью, не решался никогда выпить сколько-нибудь лишнего. Помнится мне и приходивший с доктором некто ухмыляющийся г-н Никифораки, настаивающий на том, что мне можно бы, не смотря на запрещение курить табак, читать книги и писать письма, все-таки дать Священное Писание для развлечения и просвещения ума. Помню и симптоматичного,

¹²⁴ Белая горячка (лат.).

являвшегося ко мне как ангел-утешитель, плац-адъютанта полковника Сабанеева, с которым однажды явился incognito и е[го] в[ысочество] принц Петр Георгиевич Ольденбургский, как я после узнал, в заседание верховного уголовного суда, которого он был членом. Только эти два лица обращались со мною как с человеком и по-человечески, с теплым участием, соболезнованием и возможными успокоением и утешением, чего от прочих я, к несчастью, не испытал. Но хуже всех меня мучили проклятые голоса; и про что же они не расспрашивали, и в чем не обвиняли меня? Была тут речь и о революционных прокламациях, и о фальшивых ассигнациях, и о пожарах в Петербурге и Москве, и о намерении взорвать Кремль на воздух, и о жене моей, постриженной в монахини, и о дочери, записанной в проститутки, и о бегстве Домбровского, и о сношениях с неизвестными мне какими-то Петрицею, Эвальдом, Гейштором, Гакинфом-Окаянным, и, наконец, о дружественной, чуть не любовной связи с какою-то Шимановскою. Я крепился, сколько имел силы, молчал, не давал ответов на вопросы и не входил в разговоры с ними. Но иногда принужден был разразиться ругательствами, на какие мог только собраться. Но это нисколько не помогало. На ответ мой, что я никакой Шимановской не знаю и знать не хочу, сказано было, что познакомлюсь на виселице в одной петле с нею. Раз за дверью услышал я жену свою, звавшую меня подойти поближе для секретного разговора. Я подошел к двери – и что же? Жена спрашивает меня сказать ей поскорее, где у меня спрятаны секретные письма и бумаги, чтобы она успела поспешнее уничтожить их, пока они не попали в руки полиции. Ни писем, ни бумаг секретных у меня не было никаких, жена знала это очень хорошо, а вся библиотека моя, рукописи и коллекции были взяты в комиссию. Я ответил руганью, за которую посыпались на меня отовсюду угрозы с остервененною бранью, и не женским, тихим, мягким и ласковым шепотом, а мужским, густым, хриплым и злобным ревом. Без малейшего перерыва, ни днем, ни ночью, голоса эти не умолкали в камере и прерывались только, и то не всегда, когда кто-либо посторонний посещал меня. В комиссии, когда я оставался один в комитете, они начинали настоятельно требовать от меня самого дикого и несообразного показания, и даже в заседании верховного суда раза два или три они громко подсказывали мне словесные ответы, и я не всегда мог не повторить их! Вот почему я все данные мною показания и ответы, как письменные, так и словесные не могу теперь признать своими.

Следство кончилось, в камеру ко мне явился назначенный мне судом присяжный поверенный г-н Серебряный, который чрез год после, в бытность свою в Москве, упрекал меня пред многими моими знакомыми в моей неверчивости к нему. Но при моем

болезненном настроении и под гнетом постоянного раздражения и постоянной ругани, не знаю, какой откровенности можно было не только требовать, но даже предполагать во мне к лицу, вдобавок, совершенно мне неизвестному. Все-таки защитительная речь его превосходила речи других защитников, из которых один (не помню, кто) не защищал, а напротив, обвинял своего клиента и в заключении высказал, что назначенная прокурором подсудимому смертная казнь чрез повешение слишком слаба и должна быть усилена. Уж не хотел ли г-н защитник сперва помыть подсудимого в кипятке и потом повесить на просушку.

23 сент[ября] верховный суд дал окончательное решение, и 4-го октября оно было прочитано нам на эшафоте. Странное дело: в этот промежуток времени, в продолжение целой долгой ночи, голоса молчали и не беспокоили меня, и я в первый раз уснул в Петербурге. Но столь благодатная ночь была только одна.

В зале суда я встретил в числе подсудимых московских знакомых своих Трусова, Маевского и Лангауза. Тут же были Шаганов, которого я видел два раза, с Ишутиным и Черкезовым, виденными до того мною только по одному разу. Прочие все были для меня совершенно неизвестными личностями.

Вечером 3-го октября в домашней церкви коменданта Петропавловской крепости после вечерни какой-то священник стал на амвоне и обратился к нам с проповедью, очень красноречивою и сильно прочувствованною самим оратором. Жаль только, что все слушатели хотели остановить его словами: «Да полно фразерствовать и ломаться! Оставь! Ведь это и скучно, и отвратительно!» Как бы в вознаграждение за тяжкую пытку слушать чуть не целый час дичь и ахинею, выступил другой почтенный старичок и с теплою истинно христианскою любовью к человечеству пролил в души наши струю упоительного утешения. Не знаю, что удержало меня и как я не похватил его в объятия, чтобы заявить ему свою признательность, благодарность и уважение.

С эшафота 4 окт[ября] нас в числе 13 человек в запертом вагоне в сопровождении жандармского офицера и 26-и жандармов отправили по Николаевской железной дороге, и здесь я, по примеру прочих, разрешил себе куренье табаку. Досталось же мне за это угроз, брани и ругани от моих голосов, которые днем молчали, зато ночью хотели, кажется, вознаградить свое дневное бездействие. Остановка поезда на станциях нисколько не мешала им, и только тогда, когда почти половина находящихся в вагоне уже просыпалась и начинала разговаривать, они замолкали и оставляли меня в покое до следующей ночи.

7-го октября поздно вечером мы дотащились до Москвы. Иштуин оставлен был в вагоне, нас же 12 человек отправили в каретах в Серпуховскую часть, откуда на следующее утро мы были отвезены на Нижегородскую станцию и в новом вагоне, уже с двумя офицерами и 24 жандармами, начали свое *Drang nach Osten*¹²⁵. Семейству моему в Москве не позволили видаться со мною.

В Нижнем нас разделили на две партии, с одним офицером и 12 жандармами в каждой. Мня назначили во вторую, отправленную сутками позже, командиром которой был г-н Соколов из Москвы. Из двух жандармов, приставленных ко мне, старшим был некто Кидинов, считавший в своем служебном усердии обязанностью командовать мною не только грубыми приказаниями, но даже и физическими пинками. Нельзя приписать другим жандармам той же доблести. Напротив, все они были вежливы и даже услужливы, и на одной почтовой станции едва-едва не побили моего ментора за его обращение со мною. Что же касается г-на Соколова, то это был один из многих пустейших юношей, окончившие какое-нибудь юнкеровское училище, и потому причисляющих себя к усовершенствованной расе, назначенной исключительно для командования прочим человечеством. Он с важностью, подобающею только государственному канцлеру, наблюдал за тем, чтобы все мы были в мундирной форме, т.е. в так называемой однорядке с бубновым тузом и буквами С.П.Б.Г. на спине, чтобы на подъехавшую первую телегу сперва сел №1 с конвоирующими его жандармами, на вторую №2 и т.д., чтобы при подъезде к станции, высел и вошел в комнату №1, затем №2. В прочем же всем предоставил распоряжаться своим подведомственным жандармам, считая для себя унижительным вмешиваться в какие бы то ни было мелочные житейские и неофициальные дразги. Ежели бы кто из нас умер на дороге, то он, без сомнения, приказал бы жандармам вносить труп на станцию и потом выносить его, укладывая в телегу надлежащего нумера и везти так до Тобольска как места назначения. Ехал он за нами на седьмой тройке, и только, подъезжая под станцию, опережал всех и первый входил в комнату для присмотра за порядком выседания и вхождения. Настоящий римский *pater familias qui postremus in cubitum et primus cubitu*¹²⁶.

В каком-то городе, кажется, в Перми, мы подъехали ночью к станции и вошли в комнаты церемониально. Вдруг из дивана раздается хриплая ругань не замеченного

¹²⁵ Движение на восток (нем.).

¹²⁶ Глава дома, который последним возлегает [занимает место за столом], но первенствует среди возлежащих (лат.).

прежде никем покоившегося на нем господина, требовавшего немедленного удаления таких, как мы негодяев, так как нельзя не считать нашего сообщества кровною обидою для него, чиновника четырнадцатого класса и кавалера севастопольской медали. Напрасно жандармы представляли ему свои резоны и советовали, не тратя попусту времени, самому удалиться в другие апартаменты. Чиновник отстаивал не только свой диван, но и целую комнату, ругаясь с последних слов, но превежливо величая жандармами обращениями «господа, милостивые государи, почтеннейшие кавалеры» и пр. Г-н Соколов не вмешивался в дело, хотя эта возня продолжалась довольно долго, пока, наконец, содержатель гостиницы не явился сам и не упросил ярого чиновника перейти в другую, отдельную и с отдельным входом комнату.

В Тобольск мы прибыли 22 октября, сейчас же вслед за первою партиейю.

Здесь поместили нас в отдельном корпусе и в отдельных номерах, по двое в каждом. Произвели самый строгий обыск, отняли книги, бумаги, карандаши, спички и табак. Курить опять не позволялось. Обыски эти повторялись ежедневно при смене караульных, и вступающие в караул ошупывали нас, нет ли каких запрещенных плодов под бельем. Обед отпускался казенный, из двух блюд, чай же у нас был свой. Самовар подавался в коридоре, и нас отпускали на чаепитие по четыре человека. Губернатор Деспот-Зенович два раза навестил нас. Он не входил в камеры, а только из коридора чрез окошечко в двери спрашивал о здоровье и довольны ли мы содержанием. Все эти господа официальные посетители не могут понять, каким сарказмом в ушах заключенного звучат эти слова: «Довольны ли вы?» Можно ли быть довольным тюрьмою? Это что-то немислимое. Я знал г-на Деспота-Зеновича, видел его несколько раз в Москве; и потому полагаю, что вопрос этот был им сделан спроста, и, что называется, не подумавши.

Со мною в одной камере очутился Мотков, несовершеннолетний юноша, ярый народник, болтливый говорун и энциклопедически вершущечный всезнайка. Он был сын вольноотпущенного дворового человека, и потому считал себя знатоком народности, любителем, вместителем и чуть-чуть не заветною скиниею народного быта. К несчастью, он не понимал, что вышел из самой безнравственной, самой отверженной части простого народа, и что простой народ в своем простом крестьянском быту ненавидит всею душою и всеми способностями ее дворового человека-лакея, сильнее даже, нежели своего помещика, соседнего кулака, приезжего чиновника и, наконец, приходского попа. Хлестать народными поговорками, заливаться народною песнею, выплясывать народного трепака и одеваться в народный армяк – это настолько же выражает любовь

народности, как и выпить косушку народной сивухи или съесть хоть целый фунт народного шоколада фабрики Эйнем и пр.

Как бы то ни было, а помещение в одной камере с Мотковым подействовало на меня очень благотворно. Говорливость его развлекала меня. Мы то не соглашались один с другим и даже спорили, то сообщали свои впечатления, свои мысли, свои суждения. Он подчас развертывал предо мной свои планы и надежды, которых был у него большой запас; я одни одобрял, над другими смеялся как над несбыточными химерами. День проходил незаметно. В первую ночь, как только Мотков уснул, голоса мои заговорили по-прежнему. Во вторую меня с вечера стало клонить ко сну, и я уснул, кажется, прежде Моткова. Около полуночи я проснулся от какого-то страшного сновидения, полежал несколько, успокоился, голосов не было, и я уснул вторично. К утру опять сновидение, опять я проснулся, опять тишина, и я опять уснул. Меня разбудил Мотков, вставший уже и звавший меня в коридор к самовару. Галлюцинации мои миновались, боль в боку, давление в горле, биение сердца и отек в ногах – эти физические симптомы болезни, на которые я, терзаемый галлюцинациями, не обращал давно внимания, прошли, должно быть, прежде еще сами собою, безо всяких лекарств. Чувствовалась только сильная слабость, утомленность и разбитость всех членов. Место бессонницы заступила сонливость, но сон быстро восстанавливал как физические, так и душевные силы. Вообще я стал чувствовать себя здоровее и бодрее.

На другой день по прибытии нашем нас повели в приказ о ссыльных. Вошли мы в какие-то грязные, провонявшие махоркою и сивухою, закоптелые комнаты, заставленные посередине столами с кипами бумаг, а по стенам – белыми шкафами плотничьей работы. За столами сидели испитые, измятые, исптопанные, грязные, неумытые и невыспанные рожи в потертых, полинялых и заплатанных даже сюртуках и фраках со светлыми пуговицами. Это канцелярия приказа. Один немолодой уже, должно быть, столоначальник, сделал нам перекличку:

- Худяков! – Гм, не сын ли бывшего чиновника здешнего приказа?
- Точно так, – было ответом.

Спрашивающий сперва остолбенел, смутился и промычал что-то, потом, как бы встрепенувшись, начал излагать свое удивление и сожаление таким отличным манером, что только Гоголь мог бы своим пером воспроизвести этот трагикомический монолог. В душе бедняка произошла страшная борьба проснувшегося человека с заскорузлым чиновником.

По одиночке вызывали нас присутствие, несколько почище, поопрятнее и поблаговиднее прибранное.

– Ваш чин коллежский асессор? – спросил меня, должно быть, советник, смотря в бумагу, которую он держал в руках.

– Я лишен прав и чинов, – ответил я.

Он пристально уставил в меня свои глаза, кивнул головою, ткнул указательным пальцем отвесно в стол, как будто хотел прошибить его, откинулся на спинку кресла и сказал решительным тоном:

- Ну, так в Енисейскую губернию.

Аудиенция моя кончилась. Я узнал, что мне придется торчать где-то на протяжении где-то от Саянских гор до Ледовитого океана на каком-нибудь притоке Енисея, а может быть, и на самом Енисее. Дистанция огромного размера – больше всякого европейского государства! Мне вспомнилось из географии:

Северовосточный мыс – крайняя северная оконечность Азии и всего большого материка.

Красноярск – губернский город при большом сибирском тракте.

Енисейск славился прежде железными заводами. В округе его богатые золотые россыпи.

Минусинск – житница Сибири.

Туруханск – заштатный город вблизи полярного круга, торгует рыбою, мехами и мамонтовою костью.

Но вместе с этим вспомнилось и то, что изотермы там сильно погнулись к югу, а изохимены направились чуть-чуть не по меридианам. Будет, что будет, а думай, сколько хочешь – ничего не придумаешь.

Нам выдали казенное белье, обувь и холстяные мешки для укладки имущества.

– Что здесь за люди? – спросил я Моткова в камере.

– Зияты, батюшка, зияты! – ответил он, подражая писклявому голосу старой бабы.

Чрез три или четыре дня к нам прибыли еще четыре человека из подсудимых, назначенных в ссылку на житье в Томской губернии без лишения прав. Их разместили вместе с нами, так что в некоторых камерах было по три человека. Я с Мотковым остались по-прежнему вдвоем.

С первых чисел ноября нас стали отправлять по четыре человека. Мотков попал во вторую партию, мне пришлось отправляться с третьей 10-го числа.

Нас везли далее уже на санях. По всей Тобольской губернии порядок поезда был следующий. Наши сани с конвойным ехали впереди. Далее тянулась вереница саней (до 10 и более) с так называемыми гражданскими. На половине этапного расстояния производился получасовой привал.

Тут можно было выйти из саней и прогуляться вдоль по дороге, не сходя с нее, подойти к следующим позади нас саням, разговориться с сидящими в них, одним словом, можно было иметь какие-нибудь приятные или неприятные сношения с людьми и обменяться с ними хотя парюю слов. В версте или полутора от этапа опять остановка. Наши сани летели вперед во всю лошадиную прыть, прочие же подъезжали самым тихим шагом. Нас поспешно запирали в отдельную комнату и тогда только выпускали в ограду этапа весь прочий поезд. У ворот ограды уже толпились продавцы разного съестного: хлеба, калачей, лепешек, вареной и жареной рыбы и говядины, яиц, молока, творогу, а иногда даже и готовых пельменей. Мы, запертые отдельно, не могли иметь непосредственного сношения с ними, а чрез конвойных солдат за все платили несравненно дороже. Гражданские в этом отношении пользовались большею свободою. Они могли выходить за ограду и там торговаться, а при накоплении продающих, большею частью женщин, являлось соревнование, очень выгодное для покупателей.

Все этапы состоят из обширного двора, обведенного плотною стеною из заостренных вверху свай, с деревянными же одноэтажными постройками различного назначения. Почти всегда посреди двора стоит арестантская казарма, состоящая из четырех обширных комнат. У ограды размещены квартира офицера, солдатская казарма, кухня, сарай и баня. Летом здесь арестантам должно быть довольно привольно, особенно днем, пока двери арестантской казармы не заперты. Но зимою иногда бывает такая толкотня и давка, что люди мествтся чуть ли не один на другом, как сельди в бочке. В комнатах есть нары кругом стен, на которых можно бы довольно спокойно расположиться по крайней мере дюжине человек. Но когда в эту же комнату втолкнут человек тридцать и даже более, то не только на нарах, но и под ними, кто послабее и потише, не найдет себе места. Сильные и бойкие, разумеется, криком, бранью и пинками сумеют отстоять себя. Надобно еще прибавить, что в 9 часов вечера, когда казарма запирается на ночь, в комнату вносится вонючий ушат, называемый парашкою, для известной необходимости. И вот, иным горемыкам, слабо приспособленным к борьбе за существование, приходится поместиться ко сну на полу, свернувшись калачиком, у самой парашки. И отчего же это? Господин офицер, ввиду не сбережения казенного имущества, а собственных доходов, отпускает дрова на отопление одной только или двух

комнат, и то в случае прибытия партии. А тут наступил ледостав, почта и движение арестантов, за невозможностью переправ через реки, остановились, партии накопились вдруг многочисленные, и этапные барины (как их зовут здесь) становятся иногда в тупик.

Вот что случилось с нами 17 ноября в Таре. Тройка наша подъехала к этапу, мы высели, взяли свои мешки и вошли в ограду. Конвойный отправился к его благородию барину. Нескоро вышел он к нам, ворча: «Отдельная комната! И с караулом! Вот еще чего не бывало! Где мне поместить этих головорезов? Черт знает!».

– Да в баню, ваше благородие, куда же? Негде больше, – сказал вышедший вместе с ним солдат.

– Ну, и пойдём в баню что ли? – промычал барин, бывший навеселе и, по-видимому, согласующийся во всем с мнением сопровождавшего его солдата.

Мы пошли в низенькую, закоптелую, тесную и нетопленную баню. Пришло еще несколько солдат.

– Ну, развязывайте мешки да общите хорошенько. Кинжалов-то, кинжалов нет ли?

– Обыск можно и после. Мы присмотрим. А нужно бы сейчас вытопить баню.

– А и точно, правда твоя, брат Ильюха, правда. Ступай же и распорядись.

Ильюха ушел и сейчас же возвратился.

– Агафья Семеновна зовет вас, в[аше] б[лагородие], она здесь.

– Что там ей приспичило такое? – сказал барин и сейчас же вышел за дверь, оставя ее отпертою.

На дворе Агафья Семеновна, молодая и довольно красивая женщина, накинув на голову меховую кофточку и закутавшись ею, тоненьким голоском докладывала своему барину:

– Как затопить? Да труба вся развалилась. Хотите разве этап сжечь и меня, и всех нас вместе с ним? Призовите-ка того альхитектура, авось не придумает ли он, что тут делать.

Ильюха отправился за альхитектором, Аг[афья] Сем[еновна] ушла восвояси. Барин пришел к нам в баню и ворчал только:

– Да запятнало бы вас! Наварначили там, в России, а теперь сюда варначить черт вас принес. Ишь, наделали кутерьмы.

Между тем партия саней в восемь подъехала к воротам. Вошедший солдат доложил о ней.

– Подождут. Чего им? – промычал барин.

Мороз доходил градусов до 20. Альхитектура не было и не было.

– Арестанты бунтуют, в[аше] б[лагородие]! – вскричал вбежавший солдат.

И в самом деле, слышались за оградой отрывочные крики при общем гаме.

– Ахти, нелегкая! – вскричал бедняга, совсем растерявшись, выбежал из бани и громко скомандовал неизвестно кому: «Ружья заря-жай!» Голос Аг[афьи] Сем[еновны] пищал дальше где-то.

Со мнимым бунтом как-то поладили, крики угомонились. Альхитектура все не было. Сумерки переходили уже в ночную темень.

Наконец, явился барин с солдатами и альхитектуром. Несчастный субъект в потертой суконной шинели, окоченевший почти от холоду, был так пьян, что при поддержке одного солдата не мог устойчиво держаться в отвесном направлении. Его посадили на скамью у стены.

– Ну, вот. Как тут быть? Надобно протопить печь. А труба растрескалась. А? Что делать?

– Что делать? Затопить.

– А как крыша и потолок загорятся?

– Загорятся – ну, загорятся и сгорят. Ну, чего еще?

– Да ведь и баня сгорит.

– Ну, сгорит, так построят другую. Казна на постройку отпустит. Вам же лучше.

– Да здесь секретные арестанты, понимаете ли вы?

– Секретные, ну, секретные. И они сгорят. А вам что секретные – жалко что ли?

– Ну, с тобою, брат, не сговоришься.

И в самом деле, с ним нельзя было сговориться. К счастью, Аг[афья] Сем[еновна] в той же кофточке, которую она, впрочем, сдвинула на плечи, прыгнула к нам. Она осмотрела нас и с порядочно кокетливою развязностью поздоровалась с каждым из нас рукопожатием, и, надувши губки, обратилась к смотревшему на нее с раскрытым ртом барину:

– Вот что, печь можно будет протопить, нудно только поставить одного караульного здесь у печи, а другого на крыше у трубы. На дворе тихо и ветру нет, а то нельзя же держать господ на морозе. Вам-то хорошо! Вы и чайком, и винцом-то согрелись, а они...

– Ай, да Аг[афья] Сем[еновна]! – промычал альхитектур. – Молодец, ей-богу, молодец, бой-девка!

– Да она у меня воструха хоть куда! Ну, нельзя ее не любить, право, нельзя. Дай, я тебя поцелую.

– Подите вы, несурзник такой. Разве нет на то места и времени. Нашел, где! – и она выпрыгнула за дверь, накинув кофточку на голову.

Благодаря доброй Аг[афье] Сем[еновне] дело наше приняло лучший оборот. Она с нами поздоровалась и назвала нас господами. Печь затопили и нам принесли даже самовар с чайным прибором. Солдаты успели захватить кое-какие остатки от распродажи съестного.

– Прикажете обыск сделать? – спросил Ильюха.

– А делай, брат, делай. Кинжалов ищи, кинжалов. Да и табак-то чтоб не проглядеть. Вишь, особое об них строгое губернаторское предписание. Гражданским можно, а им-то нельзя.

– Ну, пойдем, – сказал барин задремавшему альхитектору, – Агаша уж, верно, чай приготовила. Эй, пошевеливайся, что ли?

Мы остались с одним солдатом и по очереди грелись у печи. Печь, наконец, благополучно истопилась, трубу закрыли, самовар закипел, и мы отогрелись так, что поскидывали с себя верхние платья. К нам вошел Ильюха.

– У меня есть полкартуза табаку Мусатова.

– Мы заплатим за целый картуз. Уступи, брат, пожалуйста.

– Извольте. Отчего же не уступить?

Сделка сделана. Табаку было менее получетвертки, но мы про то не заикнулись.

– А бумаги нет – как же быть? – спросили мы.

– Нешто у Агафьи Семеновны спросить. Она бабенка славная – даст.

– А кто она? Дочь что ли этапного?

– Какая дочь? Ну, сожительница. Она расейская, поселка. Пришла года три тому с отцом, да добрая такая, баская. И умеет же держать его в руках. Ух, как умеет! Это вот недавно умерла у нее дочурка, так она присмирела, а то, бывало, не дает она ему спуску ни в чем. Держись только.

Аг[афья] Сем[еновна] в самом деле прислала нам целый лист белой папиросной бумаги, да еще собственноручно свернула по одной папироске каждому в розовой бумажке.

Первые две партии прошли благополучнее. Только по отъезду второй заметили, что потолочные балки и князек у стропил обгорели и обуглились. Одна половина казармы не отапливалась совсем и была превращена в склад зимних запасов, а в другой,

отапливаемой, не было отдельной комнаты с особым ходом, следовательно, содержать нас в секрете и в разобщении с прочими арестантами не было никакой возможности.

Вообще эти этапные барины – все до одного – прекурьезные экземпляры. Трудно сказать, откуда их набирают. К одному, напр[имер], во время обыска у нас подходит солдат и рапортует: «Ночлежники, ваше благородие!»

– А много?

– С полдюжины соберется, в[аше] б[лагородие].

– Пусти, пусти поскорее в баню или при кухне, как знаешь. Пусти, а то, прах их возьми, сожгут!

Это явились бродяги, ушедшие из заводов и требующие приюта на ночь.

Другой пустится читать наставления:

– Ну, что вам вздумалось, что вздурилось, от сытости перебесились! Вот, по мне, так пусть поганый нехристь салтан даст мне хорошее жалование да доходное местечко, буду служить ему верою и правдою до последней капли крови и до последнего издыхания. Живот свой положу за него!

Третий разыгрывает роль либерала с университетским даже образованием. Он слушал лекции Сеченова в медицинской академии, и так был восхищен ими, что, не пропуская ни одной, ездил аккуратно со своей квартиры на Арбатской площади. Четвертый был в дружественной переписке с Достоевским, и прочее в таком же роде.

Один из таких либералов пригласил нас к себе откушать чаю, и за самоваром на диване заседала его Маша, Паша или Саша (не упомяну), разливавшая чай и угощавшая нас папиросами. Она похвастала, что очень любит изящную литературу и жаловалась на недостаток книг. У нее нашлись: сборник романсов, песен и шансонеток, изданный московскими фабрикантами книжного товара, довольно новенький и, вообразите, страшно зачитанный и истрепанный роман Чернышевского «Что делать?».

Так мы проехали Тобольскую губернию. В Томской все изменилось. Здесь нас уже не запирали особняком, не обыскивали, и курить дозволялось сколько угодно. Здесь мы могли видеться, сойтись и даже сблизиться со своими спутниками. И как разнообразны, как не похожи один на другого эти спутники. Едва ли где могут сходиться такие противоположности.

Place aux dames¹²⁷ – говорят французы, и я начну с дам. Их было три: одна, ссылаемая в каторжные работы с ребенком, родившемся в тюрьме, и две молоканки, мать с дочерью.

Первая, молодая и недурная лицом, была какою-то озлобленною ведьмою. Со всеми она ссорилась и заедалась, везде на этапах жаловалась и бессовестно взводила на других придуманные ею обвинения. Все чуждались ее и избегали всякого с нею сношения. За нее получил батогами, совершенно невинно, один молодой парень, не хотевший услужить ей в чем-то, и пожилой уже поселянин, избранный партией в старосты. Только ребенка своего, девочку, она любила и берегла. Она была в услужении у какого-то сельского священника, и ее соблазнил сын этого священника, семинарист, приехавший на каникулы. Отец, узнавши про их связь, задал сынку на прощание порядочную порку, а ее подверг церковной епитимии. В отместку она подожгла ночью дом священника, и сожгла все село дотла.

– Да и допекла же я всем им, фу, как допекла! – говаривала она с видимым самовосхвалением.

Семейство молокан состояло из старика отца со старухою женою и двоих детей: сына 18-ти и дочери 14- или 15-летней. Это были тихие, смирные, молчаливые и, пожалуй, более угрюмые, недели обходительные люди, не насмешливые, не злословящие, мягкие и чистосердечные. Держались они всегда как-то в стороне, поодаль, не спрошенные не вступали ни с кем в разговоры, а спрошенные отвечали коротко и всегда ласково, даже когда другие нахально приставали к ним с целью вывести их из терпения. «Пусть себе и так, мы не оспариваем», – часто было их ответом на упреки, делаемые их обычаям и верованиям. Когда в разнокалиберной толпе поднимались споры, брань, и ругательства сыпались градом, старик обращался к детям: «Не слушайте вы этих сквернословий, они более оскверняют извергающего их, нежели того, к кому направлены». И дочь нежно взглядывала в лицо матери, а та отвечала ей, обнимая руками ее голову и целуя ее в лоб. Молодой парень только сосредотачивался и посматривал на отца и мать с сестрою каким-то ровным, спокойным и стойким взглядом. И сын, и дочь были похожи лицом на мать, белокуры, красивы и здорово сложены. Оба они предупредительно прислуживали родителям и получали от них за каждую прислугу «спасибо». Когда поджигательнице в дороге ребенок ушибся и заболел, то трудно себе представить, с каким соболезнованием и попечительностью ухаживали за ним обе

¹²⁷ Место – дамам (франц.).

молоканки. Я старался всегда ближе поместиться к ним и часто любовался их взаимными семейными отношениями. Они заметили это и были со мною едва ли не ласковее, чем с прочими. Их переселяли на Амур. Коллега мой, Малинин, бывший семинарист, сын священника, отличившегося в борьбе с раскольниками, вздумал вступить в богословское прение с ними. Будучи слаб в этой отрасли человеческого знания, я не могу упомянуть всего их спора, но конец его очень мне памятен. Послышалась площадная брань в соседней комнате, и старик, покачивая головою, сказал:

– Слышите? А ведь слово – зерно, и вот оно сеется, а что же может вырасти из него?

Малинин замолчал.

Был в нашей партии и полковой писарь, родом сибиряк, которому мы очень не нравились. Ему неловко было развернуться со своею образованностью и всеведением, и это его, по-видимому, сильно мучило. «Грубый народ, темный-с, никакого просвещения не приобрели», – говаривал он, обращаясь к нам и указывая глазами на предметы своего презрения, которых ему не удалось надуть каким-нибудь образом. У него были и карты, которые он держал за голенищами сапог, и бумажки с иголками, и грошевые зеркальца, и мыльца разные, и румяна для красоток, и даже неизвестно на что ртуть, закупоренная в гусиные перья. Он все покупал и все продавал и, зная свою родину, не давал промаха в коммерческих спекуляциях.

Под стать ему был другой, уже не молодой, здоровенно-геркулесовски сложенный экземпляр, не сибиряк, но знающий Сибирь едва ли не лучше всех сибиряков, вместе взятых, потому что он уже восьмой раз шел по направлению на восток по большому тракту. Торговки съестными припасами на всех почти этапах его узнавали. Только одна звала его Иваном, другая Прохором. Теперь он шел под именем Скрипочки, про настоящее же его имя, верно, и сам он позабыл. Он постоянно собирал вокруг себя толпу зевак и повес, занимал ее самыми вздорными и несбыточными рассказами и пользовался у одного хлебом, у другого молоком, у третьего – куском мяса, и был постоянно сыт и весел. Мотков находил в нем много народного юмора и заслушивался его росказней.

Но почище всех был кантонист, крещеный жиденок. Трудно встретить где-нибудь такую бессовестно-нахальную натуру. В нем, кажется, собралось и слилось воедино все, что может только назваться пороком и развратом. Он с наслаждением и восторженною гордостью хвастался своими воровствами, обманами, доносами и наглостями, считая все это не более как шалостью и удалью молодости. Например, он

бежал в Бобруйске из крепости и явился к своему дяде еврею. Тот, не зная, что с ним делать, спрятал его в чулане и пошел посоветоваться с родными и с раввином. Те сказали, чтобы он немедленно заявил в полицию о своем племянничке беглеце. Вечером еврей в сопровождении полицейских возвращается домой, но племянничка уже нет, и вся его семья в переполохе. Хозяйка-тетка послала свою дочь в чулан с кушаньем заключенному, но тот не удовольствовался этим и накинулся на свою кузину с прямою целью изнасиловать ее. На крик бедной сбежались все, бывшие дома, а любезный племянничек бросился из чулана на двор, кого оттолкнул, кого с ног сбил, выскочил на улицу, пользуясь сумерками, сорвал шапку с первого проходящего и был таков. Через неделю его поймали где-то, верст за тридцать, и он на допросе оговорил своего дядю в подговоре к бегству и в обещании доставить ему средство пробраться за границу.

– И подержали же его, пархатого жида, более двух месяцев в тюрьме, и пообобрали начисто, как липку, а то он выдал бы меня, мерзавец! Жаль только, что мне не удалось с Сорой. Appetитная была девчонка! Она думала, что я ласкаюсь к ней так, по-родственному, и поцеловала меня, я хватать валить ее, она испугалась, да голосиста же бестия, как закричала: «Ай вай мир!» – так и не пофартило. Ну, что же делать, не всякому финту – фарт, бывает и промах.

От него я узнал два новые слова тюремного жаргона: финт – уловка, обман и фарт – счастье, судьба (не от *fatum* ли). Производный от первого глагол финтить был, впрочем, и прежде мне известен.

Человек более десяти было в нашей партии поляков. Одни из них были захвачены во время конскрипции¹²⁸, произведенной в Варшаве 3 янв[аря]1863 г., доставлены по железной дороге в Петербург и там стойко отказавшиеся присягнуть на верность службы. Три года их перевозили из одного города в другой, из одной тюрьмы в другую, и наконец, осудили в каторжные работы. Другие, большею частью из Литвы, Волыни и Подолья, были взяты в сшибках с оружием в руке. Это были ремесленники, рабочие и крестьяне. Между ними был один несчастный жмудин, не знавший ни слова по-русски и, со свойственною всем жмудицам замкнутостью, не выучившийся тоже ни одного слова в продолжении трех лет тюремной сидки и этапной peregrinacii. Он сидел где-нибудь в уголку, подальше от всех, и то шептал по-литовски молитвы, держа в руке четки, то мурлыкал под нос: «Бува жмогус баготас» (песню о богаче и Лазаре).

¹²⁸ Рекрутский набор (франц.).

Замечательнейший из всех их был Шостак. Прямодушие, откровенность и неподдельный юмор, выработанный незамысловатой обстановкою крестьянского быта, так и струились при каждом его слове. Целый день на ногах, он приседал только во время еды.

– Нужно двигаться, двигаться. Не сидите вы, до сту дьяблов, как насадки на яйцах, а то прокисните и плесенью покроетесь, и мне, далипан (ей богу), будет вас жалко. Ведь как подрастет, то могут выйти из вас порядочные хлопы (мужики).

И в подтверждение своей мысли он пускался в пляс, притопывая и напевая:

Szwolężery, pionery,
Kirasiery i szassery,
Grenadjery, muszkietery,
Kosyrjery, kanoniery,
I uciekinijery,
I uciekinijery!¹²⁹

– Slavus saltuns¹³⁰! – подумал я.

Песни часто, особенно под вечер, раздавались в польских кружках. Там кого-нибудь на мазурочный темп затянет:

Nie ten wielki co zaczyna,
Większy co sprawę zakończy.
A więc zdrowie Milutina
I niech żyje nam Berg rączy!
Mieszały nam w naszej sprawie
Ostrobrama, Częstochowa...
Lepsze stokroć prawosławie.
A więc zdrowie Murawjewa!
Murawjow już stracił zdrowie
Pracując dla dobra stanów.
A więc wiwat Kaufmanowi
Wykonawcy jego planów!

¹²⁹ Кавалеристы, пионеры, / Кирасиры и стрелки, / Гренадеры, мушкетеры, / И беглецы, / И беглецы (польск.).

¹³⁰ Славянин пляшущий (лат.).

(Не тот велик, кто начинает, больше тот, кто кончает дело. Ну, так здоровье Милютин и да здравствует нам юркий Берг! Помехою были в нашем деле Остробрама и Ченстохова. Лучше во стократ православие. Ну, так здоровье Муравьева! Муравьев уже потерял здоровье, трудясь для блага сословий. Так ура же Кауфману, исполнителю его предначертаний!).

Далее не упомяну. Говорилось еще что-то о Черкасском и других личностях.

Другой разразился краковяком:

Idziemy na ostatki
Hulać do Kamczatki.
Prześliczna to strona,
Śniegiem wybielona.
Domy jak piwnice,
Wy pniaki – dziewice.
Oj że dana, dana,
Syberia kochana!

(Идем под конец гулять в Камчатку. Премилая это сторона – снегом набелилась. Дома как подвалы, девушки как колоды. Ай, люли-люли, любезная Сибирь!)

Или полькою – с припевом:

A kibitka jak febra, jak febra, jak febra,
Łamie koście i żebra, i żebra – nam!

(А кибитка, как лихорадка, ломит кости и ребра нам!)

То веселый напев подменяется заунывным и плачевным:

Żegnam was, mili rodzice,
Żegnam was, hoże dziewice,
Bądź zdrowa, rodzinna chata,
Żegnam cię, ziemio garbata,
Tyś bagnetem zaorana,
Kulami wzdłuż, wszereż zasiana,
Ciałem braci utucznioma,
Krwia ich hojnie oroszona.
Żegnam was!

(Прощайте, любезные родители, прощайте, красные девицы, прощай родная хата, прощай ты, земля горбатая!¹³¹ Ты вспахана штыком, пулями засеяна вдоль и поперек, удобрена телом братьев и богато орошена их кровью. Прощайте!)

Все то вопли безнадежного отчаяния¹³².

Мне вспомнилась диссертация Шевырева, защищаемая им *pro venia legendi*¹³³ в Московском университете, в которой он доказывал, как дважды два четыре, что все славянские народы певучи, за исключением поляков, которые под гнетом многовековой тирании онемели. Вспомнил я тоже, как старший Киреевский, прочитавши ее, сложил молитвенно руки, вздохнул и сказал: «Прости ему, Господи, не весть бо, что брешет!»

Один только из поляков не принимал никакого участия в этих песнях, да и в разговорах даже. Это был унияцкий базилианский священник Мороз, из Холмской епархии, упорно сопротивлявшийся и решительно отказавшийся от перехода в православие. Он или молча сидел на нарах, куря табак из длинейшего чубука, или, скрестивши руки за спиной, ходил по комнате, не разговаривая ни с кем и сосредоточенно задумавшись. Разбитая жизнь, видно, была ему очень и очень тягостна.

25 ноября все три наши партии съехались в Томске. Рассказам и сообщениям не было конца, и в два дня нашего здесь пребывания, кажется, не переговорили и половины того, что хотелось.

Этапные барины по Томской губернии не отличаются ничем от тобольских. Правда, они у нас уже не искали кинжалов, табак не конфисковали и в особые комнаты не запирали, но так же не отапливали все казармы и оплачивали арестантов, как сельдей в бочку. На одном этапе, когда все стали громко роптать, что в этой тесноте негде ни стать, ни сесть, не только что лечь, явился разъяренный барин и заявил, что у него здесь помещалась целая сотенная партия, в большей комнате 50 человек, а в меньше 30. «Неужели?» – спросил, улыбаясь, Федосеев.

¹³¹ Ziemia garbata – северное предгорье Карпат. Не отсюда ли montes carpatici римских географов? – прим. М. Маркса.

¹³² Поэт Аснык имел полное право сказать: Pójdź do nas! Dalej do koła! Z nami zabawisz się pięknie! I będziesz śpiewać i tańczyć, aż nim ci serce nie pęknie! (Поди к нам! Скорее в хоровод! Снами повеселишься прекрасно! И будешь петь и плясать, пока сердце у тебя не лопнет!) – прим. М. Маркса.

¹³³ С правом чтения лекций (лат.).

– Как ты смеешь смеяться надо мною? Сейчас обдую тебя батогами и потом покажу артикул, по коему я имею на то право!

Оспаривать такие аргументы, кажется, невозможно, и пришлось провести ночь, сидя на своих мешках и, или опершись спиной об стену, или положивши голову на колени соседа. Только под нарами, на полу, можно было улечься, и то принявши положение нерожденного еще плода в утробе матери. Мне удалось попасть туда и, кажется, я не остался в накладе. Пофартило!

Замечательны, однако, две характеристики томских этапов.

1) Когда партия являлась, то и отапливаемая половина казармы была холодна. Арестанты должны были сами наносить дров, истопить печь, запастись водою, внести на ночь вонючую парашку, и утром вынести ее, разумеется, все под конвоем.

2) Кормовые деньги очень часто удерживаются господами офицерами, с объявлением, что будут выданы на следующем этапе, а это фактически всегда означало «попрощайтесь с ними». Многим беднякам пришлось бы оставаться на самой строгой диете, ежели бы взаимный артельный кредит не облегчал, хотя отчасти, последствий такого грабежа.

В кратчайший день в году, 10 декабря, мы прибыли в Ачинск, окружной город Енисейской губернии, назначенный мне в Тобольском приказе о ссыльных. Здесь, между прочими арестантами, застали мы одного какого-то помещика подольской губернии с женою, только что родившею ребенка. Не знаю, какова была бедная женщина, решившаяся, будучи беременною, следовать за мужем, но сам г-н помещик был какой-то недоваренный ли переваренный субъект. Через день после нас прибыла еще партия, а с нею какой-то зажиточный еврей из Царства Польского (к величайшему сожалению, фамилии его не могу припомнить). Его довольно объемистый ручной чемодан до половины был занят книгами. Гоголь, Лермонтов, Мицкевич, Польш, Сырокомля и Шиллер были взяты им в ссылку, быть может, безвозвратную, вместе с ветхозаветным молитвенником на польском языке. К базилианину Морозу он оказывал особенное предпочтение, поил его чаем, предлагал ему лучшие сигары и обращался постоянно к нему словами: «Reverendissime pater»¹³⁴. Он внимательно наблюдал жиденка-кантониста и презрительно выразился о нем: «Ренегат не может быть лучше. Я хотел бы когда-нибудь спросить христианство, что оно приобретает, стараясь увеличить число своих последователей?»

¹³⁴ Почтеннейший отец (лат.).

В Ачинске мы пробыли шесть дней. Они прошли быстро. Книг было вдоволь, и было чем отвести душу.

19 декабря мы вчетвером с Малининым, Маевским и Федосеевым прибыли в Красноярск и попали из огня в полымя. Замысловато распорядился принять нас, мирных поселян, г-н Замятнин, бывший тогда енисейским губернатором по непотической связи с братцем, министром юстиции и нашим прокурором.

Нас отделили от прочих арестантов и заключили не в комнате, а в прачечной, находящейся в подвале. Приставили к нам четырех жандармов с револьверами. Один из них должен был стоять на часах у входа с обнаженной саблей, а трое сидеть в заключении с нами. Нам не дали ни воды, ни огня, как будто проклятым папскою буллою. Четверо нас должны были разместиться на нарах так, чтобы между нами могли улечься, не раздеваясь, жандармы. Должно быть, господин губернатор боялся, что мы станем загрызать друг друга, и чрез то кого-нибудь из нас может не досчитаться.

Но заключенным с нами жандармам было не лучше нас, и потому сейчас же явились и вода, и самовар, и свечи, и съестное вроде белого хлеба, сыру, колбасы и пр. Мы подкрепились на силах и легли спать на нарах, и жандармы при наших свечах и покуривая наш табачок, всю ночь резались в три листа.

Утром на другой день опять доискивались у нас кинжалов. Пошло все потобольски, курить только разрешалось.

В Красноярске нас продержали по 1-ое января 1867 года. В это время к нам прибыли на несколько дней сперва Мотков, шедший из Томска пешком и в кандалах, а потом Ермолов со страшнейшими цинготными ранами на ногах. Его однако же не оставили в красноярской больнице, не лечили и после дневки отправили в Нижнеудинск.

Посетил нас тоже несколько знакомый генерал Кукель. Вошел, посмотрел на нас как на диких зверей, не сказал ни слова, повернулся и ушел. Чего и зачем приходил он – на то едва ли сам он сумеет ответить. Мое же мнение – себя показать.

Первого января в сопровождении двух жандармов нас вывезли на двух подводах из Красноярска, и 5-го утром мы подъехали к полицейскому правлению в Енисейске. В полицейском правлении по случаю сочельника не было ни исправника, ни его помощника. Секретарь расписался в получении нас, жандармы ушли, а секретарь выходил из присутствия.

– Куда же деваться нам? – спросили мы.

– На все четыре стороны, – ответил он, надевая шубу.

Мы вышли: еще на лестнице встретил нас какой-то молодой человек, прилично одетый, и сказал нам, что для нас в соседственном доме у г-на Бобровича приготовлена комната, и он проводит нас к нему. Мы пошли, таща с собою свои пожитки.

Бобрович был из ссыльных поляков. Дела его как отличного столяра шли хорошо, и он уступил нам одну комнату на время, пока нас не увезут далее. Теперь объяснилось, что мы назначены в Енисейский округ, но один округ этот со своим Туруханским отделом больше Франции и Германии, двух сильнейших европейских государств, вместе взятых. Туго и грозно разъяснялась мучительная неизвестность. Нас направляли к северу.

На другой день меня посетили несколько человек из московской молодежи. Разговоров и расспросов о прошедшем было много, а о будущем и говорить не хотелось. Утешительного ничего сообщить не могли ни они мне, ни я им.

7-го утром нас усадили опять на двух подводах и в сопровождении какого-то крестьянина с медной бляхою на груди отправили вверх по Енисею, в деревню Рыбную, для передачи участковому заседателю.

Заседателя в Рыбной мы не застали. Он уехал в Кежму собирать ясак с тунгусов. Нас здесь предостерегли, чтобы мы запаслись на дорогу хлебом, потому что в следующих деревнях, лежащих уже по Ангаре, можем не найти ничего съестного. Поехали мы далее от одной деревни к другой. Возчики сдавали нас в следующей деревне другим возчикам вместе с пакетом, на котором была грозная надпись: «Под строжайшим караулом». Везли нас по большей части женщины, и то одна на обе подводы. Дивный караул на четырех мужчин.

Пошли деревни: Потоскуй, Погорюй и Пококуй, в которых в самом деле не было ни куска хлеба. Самовара тоже не оказалось нигде. Кипятили мы воду в чугунных горшках, засыпали туда чаю и обходились им, дополняя закупленным хлебом.

В одной из этих деревень нашли мы цыганку. Это была одна из тех, которых генерал Вистицкий, выживший из ума старик, записал крепостными в свое смоленское имение, и потом всех годных в военную службу мужчин отдал в солдаты в зачет, а женщин и всех негодных сослал в Сибирь на поселение. Это было при Николае Павловиче. Прерасное тогда было времечко для генералов.

Ехали мы далее вверх по Ангаре таким же порядком и с таким же конвоем, везшим с собою пакет, содержащий в секрете нашу неприглядную будущность.

Поздно вечером впереди шли шагом сани, на коих сидел четырнадцатилетний мальчик, наш возчик и конвойный и лежали Маевский и Малинин. За ними другие со

мною и Федосеевым. Мы лошадей не правили, сама она шла за первой и не отставала от нее. На реке лежал густой туман, называемый копотью и состоящий из мельчайших медяных иголок, оседающих чрезвычайно медленно на землю. Вдруг с первых саней раздался крик и послышался громкий говор. Оказалось, что мы наехали на полынью, т.е. незамерзшую часть реки. Мальчик громко плакал, его уговаривали. Федосеев выскочил из саней и побежал вперед. Бились во все стороны, отыскивая, куда ехать и едва-едва через полчаса нашли прочный объезд. Я все это время пролежал в санях неподвижно. При моей близорукости в тумане, когда и днем в трех шагах трудно различить что-нибудь, что я мог сделать? Апатия отчаяния говорила мне, что разбитую жизнью незачем дорожить, не на что сберегать, и что потеря ее менее побеспокоит людей, нежели потеря медной солдатской пуговицы. Вспомнил только про дорогую жену, про любимую дочь и мысленно простился с ними навсегда, навсегда.

Добрались, наконец, до Пинчуги. Здесь в волостном правлении распечатали пакет, и дело выяснилось окончательно. В Пинчугскую волость назначены: Малинин – в село Богучаны, и Федосеев – в Чадобец. Мы же с Маевским должны ехать еще далее, в Кежму. Маевский в селе Кашино-Шиверское (с одной стороны Ангары Дворец, с другой – Монастырь, хотя там и нет никакого монастыря), а я далее всех – в самую Кежму.

В Кежму мы приехали 24 янв[аря], т.е. двигались со скоростью по 31 версте в сутки. На другой день Маевский уехал обратно, к месту своего назначения, и в Кежме остался только я. Отыскав у одного крестьянина горницу, т.е. комнату без полатей, я договорился за полтора рубля в месяц с отоплением и самоваром.

В Кежме помещается волостное правление с тех пор, как прежнее Богучанское комиссарство разделено на две волости: Пинчугскую и Кежемскую. На берегу величественной Ангары, называемой официально Верхнею Тунгускою, возвышается в ней каменная, довольно обширная церковь со слюдяными окнами и сланцевым полом. Все лучшие постройки толпятся вокруг церкви, и все улицы расходятся от нее. Далее помещаются лачужки, едва достойные названия изб. Такова была Кежма в 1867 году. Теперь, говорят, она обстроилась и украсилась даже двухэтажными деревянными домами со стеклянными окнами вместо слюдяных, брющинных и даже бумажных, пропитанных рыбьим жиром. Почта отходит и приходит из Енисейска два раза в месяц. Только во время вскрытия Ангары и ее ледостава она задерживается, потому что кроме реки нет другого сообщения с городом, лежащим в расстоянии 730 верст.

На вопрос мой, могу ли высылать от себя письма, писарь ответил, что могу, но только незапечатанные, чтобы могли прочесть их сперва он, потом заседатель и,

наконец, исправник. Я воспользовался этим разрешением, и к 1-му февр[аля] приготовил письмо, разумеется, написанное по-русски, чтобы не затруднять моих цензоров.

Мне случалось в России иметь как официальные, так и частные сношения с сельскими священниками, и я составил себе очень невыгодное об них суждение. Как же удивился я, когда в кежемском священнике Григ[ории] Софрон[овиче] Олофинском¹³⁵ встретил резкое отрицание этому суждению. Он, воспитанник Томской семинарии, с очень достаточным запасом образованности, вежливый в обращении, скромный и правдивый в словах, многосторонне начитанный, был без малейших задатков суеверия и фанатизма. Принял он меня очень радушно, и мы сошлись с ним запросто, как давно знакомые товарищи и друзья. Это для меня при тогдашнем моем настроении духа было счастливейшею находкою. В Кежме я был опять один, а несноснее одиночества, опаснее его и убийственнее ничего быть не могло. Меня пугал возврат галлюцинаций. Не таковы, однако же, были священники соседних приходов Паншинского (вверх по реке) и Кашино-Шиверского (ниже). Первый при мне рассказывал, как он встретился в тайге с лишаком, играл с ним в карты и поразил его трэфовым хлюстом, а приставшую к нему соблазнительницу-русалку расплавил крестным знаменем.

Первым по приезде в Кежму старанием моим было избавиться от насекомых, сделавших нападение на меня сейчас же по выезде из Тобольска и размножавшихся со дня на день. У хозяина моего не было бани, но в близком соседстве была небольшая. Я обратился с просьбою истопить ее для меня. На другой день мне дали знать, что она готова, и я отправился. Прибанника не было, и я стал раздеваться в бане, скинул тулуп и начал снимать сапоги. Как вдруг в баню вбегают две девушки и начинают поспешно раздеваться. Я, сидя неподвижно, с удивлением смотрел на них. Одна успела уже раздеться совсем, вскочила на полог и закричала: «Манефочка, поддавай!» Манефочка плеснула ковшом на камни и, скидывая рубашку, обратилась ко мне: «Что ж сидишь? Раздевайся. Вот мы тебя попарим!» Я едва опомнился, поскорее надел снятый сапог, схватил тулуп и шапку, выскочил из бани и оделся уже на морозе. Мне слышен был хохот в бане, и одна девушка приотворила несколько дверь, высунула голову и спросила: «Чего

¹³⁵ Григорий Олофинский (около 1840-около. 1915) – в 1864-1869 гг. Священник в Спасской церкви в селе Кежма Енисейского округа Енисейской губернии. Было это его первое место службы. Позднее был переведен на юг Енисейской губернии – в Минусинский округ. ГАКК. Ф. 713. Оп. 1. Д. 21.

ты?» Я чуть не опрометью убежал домой. Через несколько дней я рассказал это событие священнику. Он улыбнулся и сказал мне:

– Вы в Азии, и в глубокой патриархальной Азии, и вам по европейским понятиям это кажется чем-то несообразным и даже безобразным. Но в чужой монастырь со своим уставом не ходят. В здешнем крестьянском быту без различия пола моются в бане все вместе, нисколько не стесняясь, и именно от этого нестеснения и дурных последствий никаких не бывает. Объясните им, что это соблазн и разврат, и вы введете их в соблазн и разврат. Австралийские дикари ходят без платья, точно как мы в бане, и это у них прилично и не производит никакого соблазна. Да и европейские модные дамы, стыдливо прикрывающие шалью или хоть платочком шею и грудь в домашнем наряде, при виде одного чужого мужчины, идут на бал, где сотни мужских глаз смотрят на их обнаженные шеи и груди, которые кежемские девы никогда не прячут. Сравнительно – вам случилось побывать на местном балу *decolté*. Вы оказались неловким кавалером, и пораженные вашей неловкостью дамы смеялись над вами. Они хотели сами помыться и вам услужить. Привыкайте, привыкайте, исподволь к патриархальным здешним нравам, несхожим только с вашими прежними привычками. Но этого нельзя же ставить им в укор и в осуждение. Горю же вашему легко пособить. Приходите ко мне в баню завтра. Я не пошлю к вам дев, а трапезник мой поможет вам помыться и когда угодно отстегать вас венником на славу.

По Кежме разнеслось, что я богач, потому что у меня рубашки кисейные, далеко лучше писарских. В одно утро хозяйка моя, подавая самовар, объявила мне, что она сегодня будет мыть белье и потому может, вместе со своим, вымыть и мои кисейные рубашечки. Я обрадовался предложению и отдал ей четыре перемены. Через дня два смущенная хозяйка моя с беспокойством спрашивает меня:

– Что это с твоими рубашечками?

– А что?

– Да они совсем разлезаются.

– Как разлезаются?

– Да так разлезаются. Погляди.

Я пошел смотреть, и вижу: в самом деле, все мое белье именно «разлезается». Стоит взяться только за него, как кусок и остается в руках. Она вместе со своим толстым бельем положила и мое в едкий щелок, приготовленный из жженой губы, т.е. из сухих и твердых грибов, растущих преимущественно на березах и осинах. Таким образом, я остался при двух только переменах, и должен был запастись таким бельем, для которого

щелок не страшен. Мыло здесь составляет туалетную только специальность, и девушки часто не только от матери, но иногда и от бабушки получают кусок его, как свадебный подарок. В банях веник, политый щелоком, отлично соскребывает и смывает всю грязь, накопившуюся на теле, а жар у потолка бани уничтожает всех насекомых с потомством и зародышами их в белье, там повешенном. «Да, нужно привыкать к здешним патриархальным нравам», – повторил я, когда моя голову, неосторожно заплеснул себе несколько щелоку в глаза. И не с одним мылом пришлось расстаться. Крестьяне пьют чай (кирпичный) совсем без сахара, с хлебом и солью. Сахар, и то вприкусочку, подается только как десерт при угощении. За листовой табак тоже нужно было не раз приниматься, особенно во время остановки почты. О кофе и мечтать было неуместно.

Все тут в обрез, за исключением водки, которой выпивается страшное количество. Пьют ее мужчины, пьют и женщины, пьют старики, пьют и молодые, и пьют всегда не для подкрепления сил, а до полного опьянения и бесчувственности. Порок этот развит здесь до *plus ultra*¹³⁶, не смотря на непомерную дороговизну и низкое достоинство производящей его влаги.

К чести здешнего народонаселения нужно, однако же, заметить, что воровство и адюльтер (разумеется, не без исключений) при столь сильно развитом пьянстве, являются сравнительно редкими последствиями его.

Зашел я зачем-то на хозяйскую половину избы, хозяйка стряпала у печи.

– Осипыч! Вот я испеку тебе шаньгу с яблоками. Съешь?

Не понимая, что такое шаньга, но соблазняясь яблочками, я воскликнул: «С яблочками? Как не съесть?» Она сейчас же подала мне какую-то теплую круглую лепешку, с приподнятыми и зазубренными краями. Я поблагодарил ее и ушел в свою горницу. Там стал рассматривать, что здесь зовется шаньгой. Это была ватрушка из темной пшеничной муки, с наложенною сверху какою-то мякотью. «Должно быть, это тертые печеные яблоки, – подумал я, – вещь славная!» Но, увы, попробовал – и что же? Картофель, не более как картофель, безвкусный, без масла, без соли. Эх, яблочки, яблочки, далеко где-то вы растете, и не только есть, но и видеть вас не суждено уж мне более.

Едва в июне получил я ответ на мое февральское письмо, и вскоре затем мне выданы были деньги из волостного правления, оставшиеся в Петропавловской крепости и пересланные через Тобольский приказ о ссыльных. Высланные же в октябре еще из

¹³⁶ До крайних пределов (лат.).

Москвы 250 рублей, которые я (как узнал из письма от своего семейства) должен был получить в Тобольске, завязли где-то. Они не исчезли, а достались кому-то, только не мне.

Оставалось жить в неприглядной Кежме, далеко от милых друзей, от дорогого и осиротелого семейства, жить в одиночестве, с грустью, тоскою и без малейшего проблеска надежды. Тот только, кто сам, да еще проживши 50 лет чуть не в неге, испытал подобную моей житейскую катастрофу, тот только поймет весь гнет такого горя.

1888 г.

27 октября

Енисейск

М. Маркс

Кежма

В один декабрьский вечер 1867 г. ввалился ко мне в горницу всю свою неуклюжею массою некто Арлап (должно быть, Харлампий) Федорович, достопочтенный комендант насчет старшины (т.е. кандидат по старшине). Посещение этого высокопоставленного в волостной администрации лица в столь необыкновенное время, употребляемое, по принятому обычаю, только на отдых или на попойку, крайне меня удивило и, признаться чистосердечно, даже обеспокоило и озадачило.

– Здорово, Восипыч!

– Здравствуйте, Арлап Федорович.

– А я к тебе, однако, за делом.

«Ну, – подумал я, – верно, не с добром». Уж не пришло ли подтверждение приказания строго наблюдать за мною, потому что весною, когда я хотел отправиться на ботаническую экскурсию по Ангаре, оный же Арлат, встретясь со мною в конце села, объяснил мне как нельзя более категорически, что я не должен выходить за поскотину богоспасаемого села Кежемского, и что в противном случае буду схвачен, связан, приведен в волостное управление и подвергнут содержанию под замком в чижевке на хлебе и воде не менее трех суток. Тем более я мог этого опасаться, что одно из официальных лиц, приезжавшее по делам службы в эти палестины, сообщило мне с боязнью, доходящею до трепета, что его высокоблагородие господин исправник

воспылал на меня сильным гневом за то, что я осмелился беспокоить его письмом с глупейшею просьбою, чтобы он был столь добр и за деньги, которые он получит для передачи мне, купил термометр и компас, какие найдутся в Енисейске, и выслал их мне почтою, приходящею сюда два раза в месяц.

– Что за дерзость! Он будет делать наблюдения. Да как он смеет делать наблюдения, и кто позволит ему это? – воскликнуло его высокоблагородие и порешило наказать меня месячным арестом в волостной кутузке. Резолюция эта, однако же, не состоялась, так как по представлению нескольких лиц господин исправник великодушно простил мне мое тяжкое преступление, как выжившему из ума глупцу и сумасшедшему. И вот, стараясь казаться по возможности равнодушным, «в чем же оно состоит?» – спросил я.

– Чего состоит?

– Да дело-то.

– А! Дело! Вот оно какое. Однако ночью у соседа через двор обрезали коровам уши. – Уши! Да кому же и на что нужны коровьи уши?

– Как на что? Волхвам и волхвиткам все ведь нужно. Эта погань стряпат, однако, изо всего угощение своему попу-дьяволу, да своим братьям-лешакам, да сестрицам-русалкам. Сгинь они и провались в тартарири. Ну! Ведомо, старая ведьма Афонькина, волхвитка, и сделала это.

– А видел кто, как она резала, или отрезанные уши нашли у нее, что ли?

– Видели – нашли! В уме? Увидишь ты оборотня да и найдешь его? Ведь она оборотень, по ночам бегает по всему селу кобылою. Да мало еще и девчонку Федькину оборотила в собаку, и рыскали целую ночь по Околодочному кладбищу.

– Ну, Арлат Федорович, скажу я вам только то, что всему этому как-то не верится.

– Уверишь! Спроси вот девчонку, так тебя тетка-лихоманка затрясет, и от страха зубами, однако, залязгаешь. Огнева бы ее задавила! Да вот все видели, как язва поганая влезла на месяц да и откусила его. Вот таки-так куска и не хватат.

«Э! – подумал я, – вот куда занеслась китайская демонология». Только там народ объясняет себе таким образом солнечное затмение, наши же арлапы прикладывают это объяснение к лунным. Там демон, парящий в пространстве небес, терзает солнце, а здесь волхвитка Афонькина поднимается на луну и отхватывает кусок ее. И нет, не занеслось это поверье сюда, а осталось здесь, как и там, осталось потому, что срослось с мыслями, с верою и с убеждениями всего человеческого рода, во всех его расах и племенах. Перикл

должен был ободрять своих воинов научным объяснением солнечного затмения, а поверье все-таки осталось в народе поверьем, глубоким, прочным, незыблемым и неискоренимым. Недаром один не очень древний русский летописец говорит: «Не вегласи же глаголят солнцу пожираему быти». Это своего рода Перикл! А много ли всех этих периклов, и чему равна сумма их в сравнении с суммой особой человеческой породы невегласей и арлапов, могущественных и числом, и физической силою. Капля светлого продукта умственной деятельности и векового труда в океане грязного невежества – вот современная образованность и цивилизация! Но это, скажут, в Кежме, а по Кежме нельзя же судить обо всем мире. Быть может, что и так. Но только в Кежме есть приходская церковь и при ней священник с дьяком, трапезниками и просвирнею, есть волостное правление с головою, старшинами, бюрократиею и экстрактом ее писарем, чем-то вроде правительственного прокурора, и, наконец, есть какое-то училище, и при этом училище какой-то учитель Феденька. Нет! *Faites faire passer, messieurs!*

– Как же эта огнева и язва взгромоздилась на месяц? – спросил я.

– Да так, по лучу.

– Как по лучу?

– Э! Да ты, брат Восипыч, как вижу, ничего не смыслишь. Ну, чего, что был и в Москве, и в Питере, и грамоте знаешь, и архив-то у тебя ишь какой, – причем, указал на какую-нибудь дюжину книжонок и несколько дестей исписанной бумаги, лежащих на скамейке в углу комнаты и служивших мне ночью вместо подушки. – Ну, коли ты даже не промаракуюешь и того, что, однако, каждый из нас и смышлит, и знает.

– Не смыслю и не знаю, Арлап Федорович, сознаюсь вам, как на духу. Вот-таки ровно ничего и не смыслю, и не знаю, и прошу вас, наставьте меня, пожалуйста, как по лучу взобраться на месяц.

– Э-эх! Грамотные головы, да еще и с ушами! Ну, так что же вы смышлите, коли и этого не знаете? А оно-то дело все так просто, что и мало-мальское дитя тебе все расскажет.

– Когда дитя станет рассказывать, то я, пожалуй, и не разберу даже, про что оно говорит. А вот вы, Арлап Федорович, человек обстоятельный, да и почтенный, сумеете вбить мне в голову то, чего я не понимаю. Вас-то я надеюсь понять, потому что вы всегда говорите коротко, но толково и умно.

– Так слышь же. Вон чего. Возми-ка туюс, да пошире, налей в него воды полнехонько, поставь его на открытом дворе и стань сам так, чтобы месяц показался в туюсе. Большой и здоровый нож должен быть готов в руках. А то еще лучше, коли пальма

(тунгусский кинжал). Валяй пальмой по месяцу, да крепче, чтобы она прошибла дно туяса и поглубже вошла в землю. Удалось – вот те и все тут! Луч прибит к земле! Хватайся за него, да держись только твердо. Ведь другой конец его на том месяце, что на небе. Ну, так и доползешь, коли голова крепка да руки здоровы.

– А луч-то и будет виден?

– Ишь, виден! Тонок, что те мизгировы нити, да прочен зато, прочнее всякой бечевы. Не видит глаз, так рукой имай!

«Вот и кежемская теория истечения!» – подумал я. Тут есть все: и вещественность света, и лучистость его, и даже прямолинейность, и тонкость лучей. Одним словом – все! Но только это все так грубо, так аляповато, так косолапо, что и сам не знаю, почему, однако же крайне глупо и беспредельно нелепо. Но рассуждения в сторону, надо вести разговор. Прав Наполеон I, когда и такие крайности, как Нютн и Арлап, в самом деле сходятся.

– Ах, Арлап Федорович, как же это просто и ясно, проще и яснее самого луча! И как про это до сих пор в книгах ничего не написано?

– Да что там в ваших книгах путного – гиль одна, да и только. Вот веснусь я заходил в училище. Наш Федька-то положил какие-то четыре дощечки в ряд, да и зовет Тишку Тютина и говорит ему: «Чего тут?» Тишка глядел-глядел, да «ерши» говорит. «Ну, ладно, – сказал Федька, – садись». Тот пошел и сел. «А вот теперь что будет?» – спросил он у Ваньки Климова. Тот поглядел и проревел: «Шире!». «Хорошо», – сказал Федька. Что за лишак такой: ерши – ладно, и шире – хорошо? Ну, осенил себя крестным знаменем, плюнул да и ушел. Тоскливо-то и за деньгами нашими, и за ребятишками. Пропали, однако, да и только! – причем, почтенный Арлап махнул рукою порывисто и вздохнул от глубины сострадательного сердца.

– Нет, Арлап Федорович, учения и грамоты не браните. Ведь лучше же будет, когда дети ваши будут грамотны. У вас в волостном правлении будут свои и писарь, и помощники их, и писцы; а кто ведает, иной попадет и к заседателю, пожалуй, даже, и к исправнику. И им, и вам будет лучше.

- Ни им, ни нам. Сопьются все, как спился наш учитель Федюха, как спились наши писаря и писцы. Ничего с них не будет! А с нас, общественников, они драть будут шкуру еще почище чужих. И накорми их, и напои, и денег им принеси, и с промыслу часть отдай. Свои ведь – не откажешься. А откажешься, так такую притчу сделают с тобою, что не будешь рад. Вот Ефим-то Лаврентьев, что в волости пишет – ведь наш, а с кого не сорвал и кому не напакостил. Да еще ни одной ни бабе, ни девке спуску не дает.

А ты молчи! Ну, чего грамотный – так и подведет статейку. Хорошо, как поучится да пойдет на прииски, тогда нечего бояться его, не страшен – далеко! Да лет через пять еще махнет в золотничники и выпишется – так нам-то чего? А вот Кустов и посельщик да грамотный, так заступал место писаря. Ну, досталось же однако нам, а бабы наши так воем выли. Уж ухаживали они, ухаживали за его девкою Александрою, да ничего не помогало. Била всех и руками, и ногами. Одну как топнула в пузо, так та тут же и опросталась мертвым ребенком, а другую сослала на Амур.

– На Амур? Каким же это образом?

– Да требовались тогда на Амур гулящие девки. Их записывали там в казачки. Вот она и обработала так, что ее, замужнюю и от живого мужа, сослали, однако, туда.

– Верно, муж бросил ее и отказался от нее.

– Как хорошенько отпороли в волости, да и не раз, так хоща не хоща откажешься.

Ну, и пошла как девка, да еще и гуляща.

– Да из чего же бесновалась так Александра?

– Боялась, чтобы которая не приглянулась ее Кустову. Она ведь тоже поселка, часто напивалась, да и погулять любила, а он бил и ее, как всех. Так тут и делать было нечего.

– А ваши общественники, головы, старшины, кандидаты – что ж, переносили все это и молчали?

– Ну, что поделать? Ехидная ведь была такая. Наметит, бывало, лучшую в волости, да и помоложе девочку, и возьмет ее в стряпки к приезду заседателя, а уедет он – она ее побьет и прогонит. К другому приезду будет другая. Заседатель ее иначе не звал, как дорогая Александра Ефимовна, и чего не попросила она, то он и делал. Да и оно того, однако, еще нужно бы и то сказать, что куда ни сунься...

Тут дверь моей комнаты отворилась, и вошел хозяин дома, известный во всей волости под именем Тютя. Арлап Федорович замолчал. Не знаю, как долго продолжал бы он эту геремияду, и чем окончилось бы это *non possumus*¹³⁷ Пия IX, проварьированное на кежемский напев. Возражать ему было бы для меня крайне затруднительно и, за неотразимостью фактических доводов, даже невозможно, но только я невольно убедился, что умственная работа моего собеседника всецело обратилась на новые предметы, более подходящие под его неповоротливую впечатлительность. Это была

¹³⁷ Формула категорического отказа (лат.), которой ответил Папа Пий IX на требование Наполеона III отдать королю Италии провинцию Романью.

бутылка с водкою, не однажды битая и не однажды склеиваемая стекольною замазкою чайная фарфоровая чашка допотопной какой-то архитектуры, и калач, испеченный из пшеничной муки, но, увы, до того темный, или, правильнее сказать, бурый, что европейские ржаные хлеба сочли бы его не менее как за малайскую, ежели не за негрскую расу свое породы.

Все это было принесено и помещено на столе почтенным общественником Тютюю. Арлап Федорович, как официальное лицо, сейчас же вступил в должность распорядителя, по предварительному с ним соглашению, угощением меня в видах необходимого по сибирскому обычаю фактического приступа к делу.

Крайне удивились милые мои посетители, когда я стал отказываться от содержимого в бутылке, так как при одном наливании в чашку сивушный запах, распространившийся по всей избе, изобличил мутную микстуру, называемую в Кежме вином и состоящую из одного пая этилового спирта 86-й пробы и трех паев ангарской воды. Начались увещевания и упрашивания, и я из вежливости, скрепя сердце, принужден был выпить полчашки вонючей и отвратительной сивухи и поспешнее закусить куском неказистого и безвкусного калача.

Покрепившись на силах душевных, Арлап Федорович с важностью, подобающею его значению в общественной администрации, приступил к изложению дела, по которому он явился ко мне. Тютя, как и следовало подчиненному, поддакивал только своему начальнику. Не имея подражательного таланта, я не могу передать всей этой курьезной сцены и потому изложу только самую суть ее. Она состояла в том, что кежемские общественники решились подать прошение в волостное правление и просить о нижеследующем. Пункт первый: что старуха Афонькина – волхвитка. Пункт второй: что она – оборотень и в виде кобылы рыскает ночью по деревне и ржет. Что могут засвидетельствовать такие и такие, числом 18 человек. Пункт третий: что она, кроме того, из соседнего двора девочку Федькину обращала в собаку и бегала с нею, что, кроме сознания девочки, подтверждается свидетельствами матери ее, тетки и старшей сестры. Пункт четвертый: что она отрезывает уши коровам для своих волхвований. И пункт пятый: что она, влезши на луну, откусила кусок ее, что видели 40 человек, готовых подтвердить свои показания присягою. А как все эти богопротивные преступления совершаемы были явно и не подлежат ни малейшему сомнению, то общество кежемских крестьян просит, дабы повелено было оную богомерзкую волхвитку Афонькину, по снаряжении законного следствия, предать уголовному и церковному суду и выгнать ее как из села Кежемского, так и из всей Кежемской волости. Нужно только подвести статейки

к каждому пункту отдельные, написать прошение, и переписать его на гербовой бумаге. И вот цвет общества, готового принять присягу в виденном собственными их глазами безобразии, рассчитывая на мою грамотность, шлет ко мне депутацию с предложением пособить им в столь важном и выходящем за пределы снисхождения деле, предлагая при этом богатое вознаграждение: 50 белок, 2 пуда ржаной и по 1 пуду пшеничной муки и рыбы, кроме выпивки, необходимой как при заключении условия, так и при исполнении его.

Трудно представить то удивление, которым я поразил почтенных депутатов, наотрез отказываясь исполнить их просьбу, несмотря на всю, по их мнению, соблазнительность награды. «Это совсем не по мне, и я ни за какие коврижки не приму участия в таком глупом деле», – был мой решительный ответ.

Услыша его, они прежде онемели, как будто на них нашел столбняк, потом стали едва-едва пошевеливать руками и языком, но так несообразно и безотчетно, что все их движения рук походили более на судороги свежееубитой лягушки под влиянием гальванического тока, а из движений губ никак не составлялось ни одного слова. Слышны были какие-то звуки чисто животные, исходящие как будто не из гортани, а из пищевода, для подражания которым нет букв ни в одной человеческой азбуке. Я сидел неподвижно. Предо мною была великолепная картина первобытного человечества, и как жаль теперь, что я не успел за ее поразительностью, проницательнее проследовать все фазы ее кратковременного быта. Это была бы схема постепенного выхода человека из бессловесного состояния. Это было бы для меня целое мирозерцание, как говорят наши фразоточивые составители риторик, пиитик, методик, педагогик и всяких систематических путаниц, произведенных в чины штаб-, обер- и унтер-учебников, изданных якобы для родителей, воспитателей, учителей, наставников и учащихся, и от альфы до омеги никого из них и ничему не учащихся и ни в чем не руководящих. Да! Предо мною были ежели не прямые потомки, то, по крайней мере, не выродившиеся еще племяннички какого-то мезопитека!

Наконец, способность говорить возвратилась, и подергивания рук прекратились. Начались слова сперва просьбы, потом обещания увеличить плату, затем увещания и упреки, и все это, в конце концов, разрешилось угрозами и бранью. Почтеннейшие общественники никак не могли допустить, чтобы грамотный отказывался писать прошения, жалобы и доносы. Да к чему же и грамота? Ведь чтобы косить сено на ангарских островах, промышлять белку и соболя и ловить рыбу в самоловы – она совсем не нужна. Не понимали они и того, как может кто-либо устоять пред такою огромною

наградой, когда за несколько перед тем месяцев один кежемский Коллатин удовлетворился сорока белками за обиду своей Лукреции, когда другой отец удовольствовался ведром вина, выпитым вместе с Аппием Клавдием, изнасиловавшим его дочь, когда Коклес Фомка за выколотый ему глаз и пролом левой скуловой дуги взял с проезжего торгаша не более пятирублевой ассигнации, которая впоследствии оказалась фальшивой. Я показался им хуже Ефима Лаврентьевича, хуже Кустова, потому что они были уступчивые и сами предлагали свои услуги написать прошение и подвести статейки.

– Живодер! – было вступлением в брань, начавшуюся в избе и окончившуюся в сенях, на дворе и на улице родословием по женской линии, с присоединением всех приставок, употребляемых для усиления превосходной степени в русской грамматике.

Я вздохнул свободнее по уходе милых моих посетителей. Тютя отправился на свою половину и перестал реветь (кричать). Голос же Арлапа Федоровича долго еще раздавался, но все дальше и дальше, тише и тише, и где-то в конце улицы он замер окончательно. Я потушил свечу и лег спать, но во всю ночь уснуть мне было решительно невозможно. В голове мерещилась какая-то дребедень, заставлявшая сознавать, что это приступ галлюцинации. Только к рассвету я как-то успокоился и забылся.

На другой день, как я узнал после, другая депутация ходила к приходскому священнику Григорию Софроновичу Олофинскому. Состав ее несколько изменился: вместо слабого Тютя отправилось самое интеллигентное лицо из кежемской аристократии, бывшее прежде когда-то головою, торгующее, следовательно, посещавшее хоть раз в год окружной город Енисейск, и даже настолько грамотное, что даже исходящие бумаги подписывало собственноручно: «Волостной голова Иван Кокорин» – почерком, похожим на почерк Сетивая, только в масштабе, по крайней мере, вчетверо меньшем. Арлап Федорович, как один из самых дельных и энергичных членов, остался неподменим.

Удача была не лучше. Священник не согласился сочинить им прошение и советовал не срамиться подачею его, потому что верить в волхвов и волхвиток и глупо, и грешно.

– Так ты, батька, не веришь, однако, в волхвов? – спросил его сановитый Иван Яковлевич.

– Не верю и не должен верить, ровно как и вы не должны, потому что это запрещено заповедями господними. Помните слова: «Не поклониши им и не послужиши им».

– Мы-то помним, а ты, батька, и в Евангелие уже не веришь.

– С чего ты взял это, Иван Яковлевич?

– А вот с чего, однако: какие же это волхвы приходили к Спасителю, когда он родился? Что ж ты дуришь? Какой же ты батька, какой священник? – громко и настойчиво вскрикнула кежемская интеллигенция.

– Ты еретик, а не поп! – заревел энергический Арап Федорович.

– Мы пойдем к архиерею жаловаться на тебя и будем просить, чтоб тебя убрали от нас к черту и расстригли. Ах, ты язва этакая! – хрипя, кричал в сенях Иван Яковлевич.

Со двора и потом с улицы долго еще сыпались градом на бедного священника укоризны, угрозы и ругань. Иван Яковлевич не плошал, и оба члена депутации к священнику были твердого, упругого, устойчивого и энергического характера с девизом: «Рыло в крови, а наша берет» – люди именно такие, которыми восхищался, обессмертивший Страстной бульвар знаменитый неподкупный редактор «Московских ведомостей». А такие люди не позволяют заигрывать с собою и поперечить их ндраву. Счастье мое, что у меня был только Арлап. Тютя – слабенек и на выпивку, и на дело.

Но времени оставалось немного, наступали святки, и в первых числах января выйдут на суглан из тайги тунгусы. Приедет и заседатель принимать от них ясак. И вот, скрепя сердце и по-христиански оставя все долги должникам своим, общественники обратились к ненавистному Кустову. Тот даже сам стал угощать явившихся к нему членов, и дело пошло как нельзя успешнее. Прошение было написано и подписано Иваном Яковлевичем собственноручно, другие же администраторы приложили свои печати, за прочих, по безграмотству и по личной их просьбе, сельский учитель Федор Тромарев руку приложил. Подписей на прошении оказалось 57.

Наконец, пришло известие, что заседатель (или как его зовут здесь, барин) Григорий Иванович Сорочинский едет и уже находится в соседственной Пинчугской волости. Посланы сейчас же лошади на полустанки и поставлены на дороге, за полверсты от въезда в деревню, караульные с винтовками и по всему берегу Ангары с десятков парней с таким же оружием. Первые залпом, а последние поодиночке салютуют приезжающего барина до встречи его у въезда всем штатом волостного правления. Церемония при встрече исправника еще более торжественна. Ружейные залпы и крики «ура!» встречают его версты за три¹³⁸. Нет только колокольного звона, как при въезде

¹³⁸ Так было в 1867 году. Но tempora mutantur. Теперь и сам исправник въезжает в Кежму тихо – прим. М. Маркса.

Друцкого-Соколинского в Смоленске. А жалко – его бы-то и нужно для полного эффекта!

Явились и тунгусы. В первый раз я увидел этот народ и с первого же раза не мог не полюбить его. Коротко и красиво, хотя не совсем чисто плотно, одетые, легкие, ловкие, вертлявые и бойкие, они совсем не походят на прочих, мешковатых и более медведе-, нежели человекообразных, неповоротливых, грязных и вонючих здешних коренных жителей, называемых даже у нас официально инородцами. Тунгусы – это северные испанцы и по цвету кожи и волос, и по статности фигуры. Один только контур лица изобличает родство их с китайцами, монголами, маньчжурами и японцами; но как во всей восточной России, начиная с Костромы, а тем более в Сибири, таких лиц очень много в каждом городе и в каждом селе, и все они называются русскими, то впечатление, произведенное тунгусским контуром, по привычке к нему, теряет всякую поразительность. Это какая-то упругая раса. Социальная обстановка ее стократ хуже обстановки мужичка, даже во время крепостничества, а взгляните на тунгуса, только что вышедшего из тайги, и на литографию, изданную Мицкевичем в Париже, представляющую белорусского горемыку. В первом – бодрость и ум пробиваются из глаз и из движений, тогда как во втором видно одно только идиотическое отупление.

Но к какому выводу придем мы еще, сравнивая одного тунгуса на кежемском суглане с другим, повелевающим чуть не полмиру с пекинского престола. Первый бойко и терпеливо переносит все невзгоды эксплуатации и гнета русского кулачка, называющего себя ангелевым и чрез то наложившего на себя священную обязанность истреблять эту лишакову тварь, и истребляющего ее всеми возможными средствами, обманывая и обдирая, угнетая и разоряя, спаивая и отравляя¹³⁹, доводя до голода и до людоедства, и потом для прекращения этого людоедства цивилизуя насильным погружением в воду, не накормя его и не потрудившись даже объяснить, что значит это погружение, к чему оно и что погружаемый должен знать и усвоить. Второй же пресытился, изнежился и до того оплошал, что считает даже непосильным для себя трудом собственною рукою поднести пищу к своему рту. Но к чему делать такие сравнения и доискиваться их смысла, когда остается на деле одно только «молчать», тем

¹³⁹ Вот рецепт водки, приготовляемой кежемцами для тунгусов во все время пребывания их на суглане: [далее рецепт на латыни, нрзб.]. Каждые пять минут по рюмке – *прим. М. Маркса*.

более, что при закате солнца стали раздаваться один за другим выстрелы и потом замолкли. Барин приехал.

В тот же вечер священник сообщил заседателю в разговоре обо всем, касающемся волхвитки. Прислали за мною, и я со всею подробностью рассказал о посещении меня Арлапа с Тютеею, который с тех пор всячески избегал свидания со мною, не решаясь даже лично явиться ко мне с требованием платы за квартиру. Привели и девочку Федькину. Удивительно бойко и твердо отвечала она на все вопросы, ей предложенные, подтверждала свое превращение в собаку с такими подробностями, что в искренности ее слов трудно было даже усомниться. Особенно замечательно по поэтическому творчеству описание борьбы ее с непреодолимым желанием ходить на четвереньках, которое ей внушала ржавшая кобылою волхвитка.

– Стала я на руки и тут-то увидела, что у меня собачьи лапы. Подняла я лапу, повернула к себе ладонью и смотрю – опять рука. Поставлю на землю – однако, лапа. Хотела провести рукою по лицу – рука рукою, но у меня уже не лицо, а собачья морда. Хотела крикнуть – и залаяла!

С каким восторгом переводили бы эту метаморфозу почтеннейшие классики, ежели бы она была изложена в звучных Овидиевых гекзаметрах! Сколько силы и простоты нашли бы они в каждом латинском слове. Сколько комментариев настряпали бы они для объяснения идеи, переданной этими словами, и сколько переливать из пустого в порожнее сделали бы для исследования того мирозерцания, в котором находился поэт в минуту овладения им вдохновения!

С удивлением посматривал то на священника, то на меня заседатель. Спокойно и как-то пылливо бросал взгляды священник на заседателя и на меня. Я не мог дать себе отчета, что это такое совершается, и, должно быть, очень глупо поглядывал как на священника и заседателя, так и на девочку. Одна она стояла бодро и смотрела на нас с каким-то самодовольством и почти торжеством.

Общее молчание продолжалось в минут пять. Священник медленно подошел к ней, погладил ее по головке и, положивши руку на ее плечо, со всевозможною мягкостью сказал ей:

– Спасибо! Ты милая и умная девочка, рассказала нам все, как следует, и рассказала как нельзя лучше. Спасибо тебе, спасибо! Только вот скажи нам, пожалуйста, кто это тебя выучил?

– Тетушка Варвара! – быстро ответила она, глядя на нас еще самодовольнее вследствие полученных от священника похвал. Вопрос этот не был никем предвиден, и ответ на него не заучен.

На другой день в волостном правлении был прочитан приказ заседателя, чтобы за прозвание кого бы то ни было волхвом или волхвиткой, виновный был предан суду и подвергнут законному наказанию. Прошение осталось не подано.

Потерпевшие такое поражение общественники начали упрекать один другого. Каждый из них сваливал неудачу на ближнего и искреннего своего и требовал от него возврата издержек на плату Кустову, на гербовую бумагу и на все попойки до написания и при писании прошения. Упреки перешли в ругань, а ругань в драку, в которой, кажется, более всех пострадал мой слабый телом и духом Тютя. Он едва дополз домой с лицом, лишенным всякого подобия человеческого, и более недели вылизывался от нанесенных ему ран и ушибов. Хорош был и бегемотообразный Арлап с сине-багровым пятном под правым глазом. Как официальное лицо, он должен был ежедневно являться и в правление, и к барину. Но никто не спросил его, где судьба послала ему такую благодатную отметку.

Через неделю Г.И. Сорочинский уехал. Тихо и незаметно скрывалась злоба общественников на священника и на меня, пока, наконец, не выросла до пределов, не позволяющих ей оставаться тайною. Пьяные грамотеи Иван Яковлевич и Кустов раздували ее во все стороны и всеми возможными для них средствами. Смирнейший и трусливейший Тютя по их внушению отказал мне в квартире, и то не самолично, а чрез жену свою, другие же домовладельцы не пускали меня к себе. Вот тут-то счастливый случай выручил меня.

В то время был некто Малевич, полуокладной крестьянин, бывший прежде поселенец, а еще прежде гусарский штаб-ротмистр и наследник богатого имения в Волынской губернии. При дележе со старшим братом своим он имел неосторожность объявить во всеуслышание, что доставшихся на его долю крестьян он сделает вольноотпущенными. Все крестьяне хотели отойти к нему и заявили об этом пред старшим братом, который сейчас же донес о таком бунте высшим властям и просил высылки солдат для усмирения восставших. Солдаты явились со штыками, а земская полиция с розгами. Началось следствие, потом суд, по которому несколько крестьян наказаны кнутом и сосланы в каторжные работы. Имение все досталось старшему брату, потому что младший как зачинщик бунта и нарушитель священного помещичьего права, по лишению дворянства и чинов сослан на поселение в Сибирь. В храбром и удалом

гусаре не оказалось гражданской храбрости и твердого удальства, и он пал духом, одурел и превратился в какое-то полусознательное существо. В Кежме он женился на глухонемой крестьянской девушке, взял за женою избушку и корову, пахал заступом огород под капусту и яблочки (по-кежемски картофель), ходил на промысел за белкою, ловил рыбу и некоторое время служил сидельцем в кабаке от одного торгующего вином жидка (разумеется, крещеного и ревностного блюстителя крестьянства). Грустно было смотреть на этого человека, особенно тому, кому судьба улыбнулась так же, как и ему, и кто сам едва не дошел до его состояния.

Как теперь помню происшествие, случившееся со мною вскоре по прибытии в Кежму. Туда же для перемещения в другую какую-то волость был вызван из соседственной деревни один доктор из поляков, сосланных сюда в 1864 году. Он навестил меня и даже на одни сутки (на другой день его отправили в Енисейск) поселился у меня. Мы напились чайку (разумеется, кирпичного) и улеглись на скамьях от нечего делать. Молчал доктор, молчал и я. И об чем нам было говорить? О прошедшем – оно невосвратимо, о настоящем – оно тягостно, о будущем – оно темно и безотраднo. Долго молчали мы оба и лежали почти неподвижно, как вдруг я вспомнил одно явление, поражавшее меня уже неоднократно, в котором не мог дать себе никакого отчета, и обратился с вопросом:

– Скажите, пожалуйста, доктор, что это со мною делается и даже довольно часто, что я сижу или лежу, не сплю и в то же время ни о чем не думаю. Возможно ли, чтобы при полном действии всех чувств, без эфира, хлороформа, алкоголя, опия или гашиша, получаемые впечатления не отразились каким-нибудь процессом мозговой деятельности, каким-нибудь рефлексом, какой-нибудь мыслью. Но я сознаю, что я не думаю, и спрашиваю сам себя: что ж это такое, в голове у меня нет ни одной мысли.

– Да, это случается и со мною, – пробормотал он, не трогаясь с места.

– Верю, что и с вами это случается, верю, что может, что должно даже случаться с вами, но я обращаюсь к вам, как к медику. Объясните мне, ежели можете, этот физиологически-патологический факт.

– Объяснить? Ну, что ж? Это вступление в сумасшествие, – сказал он прехладнокровно.

Я вскочил, как ошпаренный, стал метаться из одного угла избы в другой, а мысли все-таки не лезли в голову. Он спокойно лежал себе на месте.

Нужна умственная деятельность, умственная работа. Без нее плохо будет! Но где же найти ее? Придумать, наконец.

Через священника разжился я шестьюдесятью бумагами, двумя карандашами, сотнею перьев и полубутылкою чернил. У него же нашел на первый раз оставшийся от семинарского курса экземпляр «Энеиды», за который я ухватился как тонущий за соломинку. Прочитанная, по крайней мере, сто раз в молодости, эта римская сказочка, этот Бова-королевич или Еруслан Лазарович, занимала меня как ни один французский роман не занимает самой страстной молодой читательницы. Эта мертвечина показалась мне теперь вкусным блюдом, потому что умственный голод так же мучителен, как и физический, и, в случае необходимости, может удовлетвориться чем-нибудь, хотя бы то была и падаля. Но главным занятием, поглотившим все мое время и все мои мысли, была математика. Без руководств я повторил алгебру, тригонометрию, аналитическую геометрию, дифференциальные и интегральные исчисления, ворочал на всевозможные лады неопределенные уравнения, решал ими задачи так называемых волшебных квадратов, затем пошла теория переложения и вычисление π до тридцатой десятичной. Я задавал себе самые копотливые задачи только для того, чтоб при решении их действовать мозгом, но действовать последовательно, систематически и без прыжков. Голова была полна мыслей, и мне уже не приходилось спрашивать себя: «Что же я не думаю?»

А бедный доктор? Диагноза его была верна! Через года два я услышал горькую весть – он сошел с ума. То же, по всей вероятности, ожидало и меня.

Вот именно в самую критическую минуту, когда я во всей Кежме не мог найти себе квартиры, страдалец Малевич поступил к какому-то кулаку в сидельцы на зимовье (постоялом дворе на таежной дороге) и собирался ехать сперва один, без жены. Что его побудило обратиться ко мне – не знаю, но только он предложил мне квартиру со столом в своем доме, с платою трех рублей серебром в месяц и с обязанностью беречь его бедную жену, пока он не устроится на новом месте и пока она не уедет к нему. Я принял предложение с радостью и в тот же день переехал к нему. Через дня три он простился с женою, заплакал, прощаясь со мною, уехал, и я остался каким-то хозяином дома. Глухонемая постоянно сидела дома, стряпала и шила что-нибудь, я предавался своим вычислениям и не выходил почти никуда, кроме изредка к священнику, который тоже посещал нас иногда. Хотя скучно и грустно, но как-то спокойнее текли дни за днями. О прошедшем некогда было думать, и будущее казалось уже не так страшно. Одно настоящее было тяжко, а неизвестность о судьбе дорогого семейства мучала меня наяву и во сне. Пьяные Арлапы, довольно часто проходя около избы, посылали в нее свои полновесные косолапые каламбуры. Глухонемая не слышала их, а я не слушал.

Через месяца три пришло почтою письмо от Малевича к жене с десятью рублями и приглашением ехать к нему. Несчастливая женщина заплакала от радости и стала размахивать руками и издавать какие-то сочетания губных согласных с не определенными азбукою гласными. В два дня она снарядилась в дорогу и на прощание со мною также заплакала, также замахала руками и также закричала. Но что выражали эти звуки во второй раз, я не мог понять.

Оставшись вполне одиноким, мне нужно было самому взяться и за топку печи, и за стирню, и за мытье белья. Только хлеба я не пек, потому что родные уехавшей по ее просьбе согласились за сходную цену снабжать меня по мере потребности. Им же я должен был ежемесячно уплачивать по рублю квартирных денег. Затруднительнее всех работ было для меня ношение ведрами воды из Ангары, особенно зимою и во время стирки белья. Все это, однако, делалось безотлагательно, и оставалось еще довольно времени для умственных занятий. Я уставал страшно, а сон мой был все-таки беспокойный.

Прошло порядочно времени, как вдруг совсем неожиданно меня позвали в волостное правление и там сказали расписаться в получении письма. Письмо было мне отдано, я взглянул на него и узнал почерк дочери. Поспешнее побежал я домой, еще на бегу разорвал пакет, вбежал в избу и в первых же строках прочел: «Мы едем к тебе!» Этого довольно! Я ожил и, проспавши всю ночь преспокойно, проснулся на следующий день чуть ли не в полдень.

Через три месяца после я ехал в Енисейск на новую борьбу, не с Арлапами, а с другим элементом, более сильным, хотя не более осмысленным.

Кежемским общественникам остался теперь на съедение один священник. Они отправили от себя депутацию к архиерею с обвинением его в неверии и просьбою суда над ним, и он был потребован в Красноярск почти за тысячу верст. Нечего говорить, что был оправдан, но сам же просил о перемещении его куда-либо в другой приход, и вследствие собственной просьбы назначен в Минусинский округ.

Вот что после слышал я от приезжающих из Кежмы: Кустов пьяный сгорел в собственном доме. Найдены были только его обгоревшие ноги на печи, и такая же свинья, вместе с другими покраденными вещами, в подполье. Александра Ефимовна прельстила какого-то жидка, обратила его в христианство, обвенчалась с ним, и зажила в довольстве и почете. Малевич умер, и глухонемая жена его сошла с ума. Ефим Лаврентьич тоже скончался вследствие воспаления мочевого пузыря. Волхвитка Афонькина не была ни «запечатана», ни «сожжена» по-тихвински. А Иван Яковлевич

отдыхает на лаврах, заслуженных удалением священника, наслаждаясь сивухой и толкуя Святое Писание товарищам своих попоек. А товарищи эти уважают и чтут его не менее того, как москвичи уважали и чтили его тезку – Корейшу.

Милая грамота! Как ты жалка сама по себе. Без тебя ведь и Кустовы, и Ефимы Лаврентьевичи, и Иваны Яковлевичи невозможны и немыслимы даже!

Енисейск

М. Маркс

Енисейск

1869–1888 гг.

Из Кежмы в Енисейск единственный путь и летом, и зимою – Ангара, и мне предстояло ехать по той же дороге, которою два года прежде я уже ехал. Мерещились в памяти Потоскуи и Погорюи со смоленскою цыганкою и полынья на реке – да и то мерещились только. Не до наблюдений и не до затверживания впечатлений тогда было. Ехал я куда-то, в какую-то даль неизвестную, неприветную, угрюмую, темную, непроницаемую, а главное – безнадежную, и ехал безвозвратно. А теперь меня ждут пылкие объятия дрожайшей жены и сердечные ласки дочери. Ежели бы на всех семистах верст все были только Потоскуи и полыньи, и тогда бы дорога показалась мне лучше всякой шоссейной, а неуклюжие, тесные крестьянские сани были бы выгоднее лучшего вагона первого класса на чугунке. Кто-то правда сказал, что впечатления измеряются восприимчивостью.

6-го декабря 1868 г. я выехал из Кежмы с ходоком, т.е. с сельским почтальоном, отправленным в соседственную Пинчугскую волость, и до самой Пинчуги катил днем и ночью безостановочно. Здесь я мог отдохнуть по своему произволу, и отсюда мое время вполне принадлежало мне. В Пинчуге, однако же, я оставался не более шести часов. Приехали мы в нее около полуночи, а еще задолго до рассвета лошадь с санями была для меня приготовлена. То же, как и прежде, движение шагом по речному льду, с такими же ямщиками-женщинами, только уже не «под строжайшим караулом». В Иркинеево везла меня дева-невеста, ехавшая на свидание к своему жениху. Мороз доходил, по крайней мере, градусов до 30. Она оделась потеплее и из предосторожности облеклась в

отцовские штаны. К несчастью, гардероб этот пришелся ей не по мерке, и в половине дороги съехал с ног и образовал что-то вроде кандалов, не позволявших ей шагнуть с места. Пришлось остановиться, чтобы помочь горю, а как сама она никак не могла справиться с непривычным для нее прибором, то я *volens-nolens*¹⁴⁰ должен был пособить ей раздеться на холоде и закрепить толстейшие и грязнейшие штаны на ее торсе без следов талии.

Под Кондаками дело было похуже. Лошадью правила девочка не более 12-ти лет. Пока ехали мы по дороге, куда ежедневно почти ездили со двора за сеном, лошадка бежала сама безо всякого понуждения довольно бойко, но когда пришлось свернуть в сторону, она заупрямилась и начала потом постоянно поворачивать в обратный путь. «Огневой девке», как мне рекомендовали ее при отъезде, не в силу было управлять лошадью. Я взял веревочные вожжи в руки и ударами плети заставил лошадь идти, не сворачивая с дороги. Так проехали мы верст 15, как вдруг левая гнилая вожжа лопнула, лошадь дернулась в правую сторону, сани опрокинулись, девочка, крича «ой, погибнем!», осталась на снегу вместе с моею поклажею, а я поволокся на вожже за лошадью по огромнейшей дуге, более версты в длину. Управиться с лошадью, тянувшею обратно домой, мне не было никакой возможности с одною вожжою в руке. Голос девочки, кричавшей во всю мочь, сперва едва лишь слышался, а потом и совсем замолк. Положение мое было скверное, и я не мог даже придумать, что тут делать. Как вдруг послышалось ботало (бубенец), а за ним и человеческие голоса. Ехали из Кондаков крестьяне на двух санях. За рубль один согласился свезти меня в Кондаки. Девочка уселась в свои сани, и лошадь ее побежала домой вслед за санями другого крестьянина.

Сибирь отличается недостатком преданий. Это не то, что в России, особенно в западной и южной ее части, где чуть не каждый холмик, не каждый овражек наводит на какое-нибудь воспоминание, историческое ли, или предисторическое, т.е. митологическое, неправильно называемое суеверным. Остяки и тунгусы, уступая свои земли и уходя в таежную глушь, не уносили с собою памяти о жизни отцов своих в странах, ими оставленных, и все, что теперь можно знать из прошедшего Сибири, то должно почерпать или из официальных рапортов казацких ватаг московским воеводам, или из очень немногочисленных записок, оставленных после смерти какого-нибудь монаха-летописца, не всегда прямодушного, а еще реже сколько-нибудь осмышленного.

¹⁴⁰ Волей-неволей (лат.).

Кондаки, однако же, сохранили, хотя очень темное предание о своем прошлом. Одна скала носит здесь название тунгусского камня. Здесь-то в 1615 г. тунгус Данул в первый раз встретил с ружьем в руках московского воеводу Молчанова. Он пал в битве, и преемники его Иркиней (деревня Иркинеева на Ангаре) и Тасей (река Тасеева, впадающая в Ангару у Кондаков) в 1621 г. были уже объяснены.

В Кондаках и я простился с Ангарою. Далее пошла *via sicca*¹⁴¹, и ямщиками очутились мужчины.

15-го числа ночью въехал я в Енисейск, цель моей поездки, и чуть-чуть не погиб у ворот блаженства.

Енисейск, не смотря на сильно развитую тогда в нем золотую лихорадку (*febris aurea*), был городом очень неказистым, и жизнь, за исключением бешеного сентября, как времени выхода рабочего люда из промыслов, текла в нем глухо и сонно. После захождения солнца на улицах не видно было никого, ворота дворов все заперты, цепные собаки спущены, и ставни окон закрыты. Темень, глушь и мороз градусов в 40. Знал я только, что семейство мое остановилось в доме Ростовцевых, но как найти этот дом там, где не у кого и спросить даже.

Подъехал я к одному дому, стучу в ворота и ставни. На дворе окликается, среди разъяренного собачьего лая, непременно женский голос: «Чей ты?». Что тут отвечать кроме «свой». «Убирайся к черту, варнак!» – и более ничего не добьешься. Обыкновение спрашивать «чей?» пошло со времен открытия золотых приисков, и отвечать следовало «Григорьевых, Бернадских, Малевинских, Базилевских» и пр., и, в свою очередь, вопрос этот породил новые фамилии мещанские и купеческие с окончанием на -их: Белых, Черемных, Сизых. Я этого не знал, и в семи или восьми домах получил в ответ одни только ругательства. Более двух часов колесил я по городу и не мог нигде добиться какого-нибудь толку. Ямщик мой, промерзающий наравне со мною, что называется, до костей, заявил мне, наконец, что он свезет меня на известный ему постоялый двор, а я завтра днем скорее отыщу каких-то Ростовцевых, нежели теперь ночью и в такой мороз. Я согласился. Едем на постоялый двор в конце города. На большой улице в одном доме ворота отперты, и у подъезда стоят сани. Я окликнул: «Чья лошадь?». «Доктора Антоневича», – ответил кучер.

Доктор Антоневич, из ссыльных поляков, жил прежде меня в Кежме, и мне про него много рассказывал тамошний священник Г.С. Олофинский.

¹⁴¹ Сухой путь (лат.).

– Стой, брат, стой! – закричал я своему ямщику. В это время вышла дама и хотела садиться в сани.

– Позвольте узнать, дома ли доктор, – обратился я к ней.

– Нет его дома, но ежели по больному, то я сейчас же сообщу ему, и он приедет.

Ваша фамилия?

Я назвал. Дама эта была г-жа Антоневиц, с которою семейство мое уже познакомилось.

– Садитесь со мною, я довезу вас к вашему семейству, – сказала она мне. Ямщик поехал вместе за нами. Мы подъехали к деревянному двухэтажному дому. В верхнем этаже в окнах был свет, в нижнем ставни заперты.

– Вот здесь, стучите в эти ворота. Отворят нескоро, и потому – до свидания. Завтра ждем вас с семейством, – сказавши это, г-жа Антоневиц уехала.

Я стал стучать и в ворота, и в ставни окон. Нескоро, очень нескоро за воротами окликнулся женский голос: «Чей ты?»

– Пустите ради Бога, здесь наверху мое семейство.

– Да чей ты? Говори!

– Я-то свой, и семейство мое здесь живет. Пустите, ради Бога, поскорее.

Замолкло все и замолкло надолго. Я начал стучать снова. Собаки заливались лаем, начали уже хрипеть, и вдруг несколько приутихли. На дворе слышались по скрипучему снегу шаги нескольких человек.

– Кто тут?

Я узнал голос дочери.

– Катя, дорогая моя, отворяй поскорее, это я!

– Мама, мама! Это папа. Он сам. Его голос.

Собак посадили на цепь, ворота отворились и я, окоченевавший от холода, очутился в объятиях жены и дочери.

Замерзающий ямщик, выпивши несколько рюмок водки, согрелся, положил лошади сена и лег на печи спать.

II.

Целые два дня мы едва находили время напиться чаю и что-нибудь съесть. Разговоры и расспросы разрастались до бесконечности и делались все интереснее и интереснее. Да и было о чем поговорить.

Не один я из заключенных в крепости подвергся галлюцинациям. Было кроме меня довольно таких, которым одиночество и тягость тюрьмы были не по силам и потрясли их умственные способности даже безвозвратно и на всю жизнь.

Вдруг разнеслось, что я бежал с дороги. Кто-то из погостивших в Петропавловской крепости встретил даже меня в Москве на улице. И что же? Тогда как я изнывал с горя в Кежме, семейство мое было арестовано в Москве. Содержалось оно в Серпуховской части с половины мая по конец октября 1867 г., сперва в одной камере, а потом в разных и, по возможности, отдаленных. Несмотря на болезнь матери, не дозволено было моей дочери навестить ее даже при свидетелях. С какою целью и по каким побуждениям все это делалось – трудно догадаться, и знать могут разве только те, кто распоряжался. Должно быть, во все это время были наводимы справки по всему пути до самой Кежмы, потому что и там, когда один из ссыльных назвал меня из вежливости отцом, то получил от Паншинского священника предостережение, что он ошибается во мне, и что я не более и не менее как московский жулик, назвавшийся именем бежавшего за границу. В Енисейске же это мнение было в большом ходу, несмотря на то, что при проезде моем чрез этот город я виделся с двумя личностями из знакомой мне московской молодежи.

В день приезда моего семейства в Енисейск, т.е. 8 октября, г-жа Бартошевич, жена здешнего соляного пристава, сделала ему первый визит, а на другой день навестила его вместе с приятельницею своею г-жею Жданович. Обе эти дамы оказали самое теплое сочувствие как к жене моей, так и к дочери, и вместе с г-жею Антоневиц составляли почти весь круг их знакомства в городе.

Не прошло и месяца, как г-жа Бартошевич в сильном смущении сообщила моей жене неприятнейшее известие, что в Кежме под моим именем живет какой-то негодяй, самозванец, совсем не муж ее, бежавший с дороги и находящийся теперь за границею. Можно представить, как это поразило бедную женщину, пожертвовавшую всем, решившуюся из любви ко мне ехать в страну неизвестную и страшную по одному своему имени, ехать для того только, чтобы разделить со мною тяжесть моего несчастья, облегчить его своими ласками и утешениями и нравственно укрепить дух мой в борьбе с невзгодами жизни. Но письма, полученные ею в Москве, были, без сомнения, мои. Как же согласовать эти противоположности? Неужели находящийся в Кежме был только посредником в передаче нашей переписки. Притом же, ответ мой из Кежмы на письмо с посылкою теплого платья, высланною ко мне из Енисейска, писано моим почерком.

Мучительное сомнение это окончательно разрешилось только личным моим появлением.

– Он сам. Его голос! – вскрикнула дочь моя, услыша за воротами мою просьбу открыть поскорее.

Кежемская жизнь не осталась без зловредных влияний на мой организм. Цинга начала развиваться во мне с весны 1868 г. Я не обращал на нее никакого внимания и даже решил не лечиться, чтобы скорее разделаться с опостылевшею жизнью. Но когда получил известие, что семейство мое едет ко мне, захотелось не только жить, но даже и быть здоровым, и поспешил подать прошение о дозволении ехать в Енисейск для поступления там в больницу. Разрешение на то, при самом усердном старании жены моей, пришло от г-на губернатора из Красноярска только чрез три месяца, потому что, по предписанию умнейшего г-на Замятнина, в больницу можно было отпускать гражданских ссыльных только по справке, находится ли в ней свободная кровать. В противном случае не дозволялось больному лечиться. Что же касается осужденных верховным уголовным судом, то принимать их не иначе, как с разрешения самого губернатора. Сколько раз можно больному умереть во время всей этой процедуры – про то не подумал г-н Замятнин. А может быть, и подумал, но что же мог сделать? Ведь у таких людей форма и объем переписки – верх совершенства администрации.

В Енисейске здоровье мое быстро стало поправляться. В конце мая я начал чуть не ежедневные ботанические экскурсии. К этому же времени появилось в огромном количестве черемша (*Allium ursinum* L.), неблагоприятное, но прекраснейшее лекарство от цинги. Жаль, что она может употребляться только в свежем состоянии, и до сих пор не придумали способа делать из нее консервы. Соленая, квашеная и маринованная оказалась и крайне отвратительною, и нисколько не действующею. Запах ее, схожий с чесночным, изобличает в ней значительное количество фосфорной кислоты. В здешней золотопромысловой тайге заболевших цингою отправляют целыми партиями на подножный корм, снабдив их хлебом, солью и кирпичным чаем, дней на десять. По истечении этого срока возвращаются все здоровешеньки. Но там места значительно возвышеннее, и, судя по стоянию барометра, достигают 550 метр[ов] над поверхностью моря. Енисейск же лежит открытой низменности, покатою несколько к северо-западу, и окружен со всех сторон тундрами.

Мало-помалу круг знакомства моего стал расширяться. Интеллигентное общество здешнее состояло, как везде в России, из наезжих административных правителей, из великорусского дворянства-золотопромышленников, тоже наезжих, и то

временно только, а постоянно проживающих в Петербурге, из местного купеческого сословия, отчасти тоже золотопромышленного, и, по особенному условию сибирских городов, из ссыльных поляков.

Первые, как и везде, вне всяких похвал. Как исключение, впрочем, во все время моего пребывания в Енисейске верховные здешние правители-исправники (Романович, Геце, Шатилов и пр.) были люди вполне на своем месте. Про других, особенно стоящих ниже в административной иерархии, этого сказать нельзя. Все они были или выжившие из ума пропойцы, или запросто сошедшие с ума субъекты, высылаемые сюда за недостатком сумасшедших домов, на должности до исправления.

Дворяне-золотопромышленники и присылаемые ими управляющие старались поддержать барство и барское гостеприимство. Дома их были открыты в полном значении этого слова. У постоянно жившего здесь И.А. Григорова можно было прийти, поесть и выпить хорошенько и уйти, не сказавши ни слова с хозяевами и даже не увидевши их. Именины же и дни рождения самого его и всех членов многочисленного его семейства были праздниками для всего города. При крайней простоте и чистосердечности в обращении, в доме его царствовала тончайшая вежливость и изысканный комфорт. И в эти-то праздники у него, как в какой-нибудь кунсткамере, можно было приглядеться к самым крупным здешним слонам и самым мельчайшим букашкам.

Купечество коренное местное полу-, а иногда и совсем безграмотное, отличалось тогда самообожанием, произведенным в громкий чин патриотизма. Оно или ничего не читало, или читало официально обязательные «Московские ведомости», и только под диктовку М.Н. Каткова могло и думать, и чувствовать. Замкнутость и отчужденность были основными элементами всей их жизни. Крупнейшие из них, занявшись золотопромышленностью, разумеется, старались подражать европейским коллегам, но это было настоящее обезьянничанье с наружными приемами цивилизации, утрированной до смешного. До открытия золотопромышленности купечество енисейское, при всей патриархальности своего быта, много однако же, хотя косвенным образом, способствовало к благосостоянию страны. Тут особенно памятны два семейства: Кобычевы и Калашниковы. Первый, будучи головою города, пожертвовал чуть ли не всем своим имуществом, спасая Туруханский край от нашествия петербургского квартального. Вторые же в 1834 г. перенесли 8 ульев пчел в деревню Озерную, а через два года имели уже 72 улья. В 1837 г. скопцы (сосланные солдаты кавалергардского полка) 10 ульев отсюда перенесли в свою колонию Искуп, а оттуда

пчеловодство распространилось по Енисею за Туруханск даже. Зато были и другие, впрямь противоположные направления. Селиванов, напр[имер], обдирал трупы бедных остяков, павших от оспы и тифа, а оставшихся в живых заставлял ставить перед собою зажженные восковые свечи, им же продаваемые, и молиться ему, как угоднику божию. Теперь все эти крайности затерлись. Нивелировка цивилизации, хотя туго и не всегда удачно, сравнивает все эти шероховатости.

Ссылных поляков было в Енисейске около сотни. Некоторые из них, особенно врачи и ремесленники, устраивались безбедно. Много служило в тайге и в городских конторах европейских золотопромышленников. Купечество, считая легендарную интригу, проповедываемую Катковым, за евангельскую истину, не допускало их к своим интересам. Многие импровизировались в садовники, огородники, в учителей музыки и танцевания. Вся педагогика тогда состояла из трех самых жалких учителей уездного училища и из двух учительниц женского приюта, а потребность грамотности и еще более чего-то сверх нее была уже очень ощутительна. И вот многие, несмотря на правительственные запрещения, занялись преподаванием уроков. Строжайшие законы с угрозами строжайших наказаний бессильны перед необходимостью. Заклятый формалист губернатор Замятнин, когда ему доложили о преподавании уроков по домам поляками, сказал только: «Об этом говорить не следует», а жандармский офицер Яшин одному отцу семейства, спрашивавшему у него совета по этому предмету, категорически ответил: «Вашим детям нужно учиться, а им нужно есть. Вот и все, что могу вам сказать». Были здесь и две польки: Рожнецкая (в платье которой бежал из Колымажного двора Домбровский) и Белуцкая. Обе они занялись огородничеством, первая – в городе, а вторая – в соседственном Каменском заводе, из которого и теперь жители города исключительно почти снабжаются овощами. Впоследствии открылся и модный магазин «Варшавский», но он существовал недолго и расстроился по непониманию коммерческих оборотов членами-вкладчиками. Многие поляки здесь поженились и обзавелись семействами. Во всяком случае, бесспорно то, что им Енисейск во многом обязан благодарностью. Первые они не только обули ножки здешних красавиц в варшавские ботинки, но пропагандою и примером поставили самих их на европейском пьедестале, выведши из удушливого терема родителей и внушивши им чувство собственного достоинства.

Все это, однако же, не без исключений. Порядочное число или изменилось к худшему, или твердо отстаивало свои прежние недостатки. Ко мне явился московский футур, бывший член общества трезвости, пьяный до неустойчивости на ногах. Когда я

стал ему приводить на память прежнюю его трезвую и светлую жизнь, он, вздохнувши, мог только ответить: «Эх, что же делать, когда здесь климат таков». Он служил в золотопромышленной конторе, и управляющий конторою не мог достаточно восхвалить его.

– Трудно найти человека дельнее и трудолюбивее, но дать ему жалованья побольше нельзя. Во-первых, потому, что ему нужно непременно утром отпустить косушку спирту, которую он выпьет, не разводя водою, а во-вторых, что и при малом жалованьи, дня три или четыре по получении его, он никуда не годится. Пропьет все, и тогда дело у него кипит в руках.

Бывший член общества трезвости уехал потом в Минусинск, и больше я не слышал об нем. Должно быть, представился в невменяемом виде.

Другой, одаренный даже недюжинным поэтическим талантом, утонул в Енисее, желая доказать стоявшим на берегу зрителям истину пословицы «пьяному море по колено».

На улице встретил я сапожника, одного из лучших по своему мастерству. Он выходил из кабака и плотно прижимал к груди штоф с водкою, напевая:

Jam się z Polki zrodził, z jej piersi wyssałem
Ojczyźnie być wiernym, a kochańce stałym.

(Я родился от польки, с ее груди высосал быть отечеству верным, а любовнице постоянным).

И стыдно, и жалко, и отвратительно!

Это не устоявшие, падшие и погибшие существа, а вот и l'esprit fort¹⁴².

Некто Валевский с претензиями на графское звание, гордившийся тем, что известная в Европе Леония ему сродни, бывший помещиком, щеголявший знанием французского языка и писавший даже письма к жене французскими стихами, заявлял постоянно, что он ни за какие деньги не продаст труд свой кому-нибудь ниже себя. Уехал он из Енисейска прежде в Красноярск, потом куда-то далее, выше себя не нашел никого и умер в какой-то деревушке с голоду. И это после курса лечения у Муравьева и Берга!

А вот еще образчик.

Один ссыльный канцелярист какого-то, должно быть, нижнего земского суда, пользуясь глупостью старухи-жены управляющего прииском, бывшей до замужества, увы, гувернанткою, соблазнил ее, а та для милого дружка, чтобы получше угостить его

¹⁴² Вольнодумец (франц.).

и самой для него же позффектнее принарядиться и подмалеваться, разорила своего мужа окончательно. Он потерял и место, и здоровье, и остался с супругою своею без куска хлеба. «Глупо сделали и бесчестно вдобавок», – сказал я молодому человеку при разговоре об этом подвиге.

– Чем же я виноват, trafiłem do jej przekonania (я попал в ее убеждение).

– Прекрасно, что вы попали в убеждение, но какие последствия? Они разорились, а вы не пробрели тоже ни нравственного, ни материального блага.

– Lecz maleparta zawsze idzie do czarta (Но худо нажитое всегда идет к черту), – было ответом.

Я не нашел возражений для дальнейшего разговора.

В городе было немногим более 7000 жителей. Каменных построек, кроме 8 церквей (два монастыря и две кладбищенские), как казенных, так и общественных, и частных, считалось 23. Прочие все дома были деревянные и, за исключение четырех или пяти, престранной архитектуры. Окна большею частью были не стеклянные, а слюдяные, с железными рамами, и готовые привозились по Ангаре и Енисею. По ним-то строились дома с двумя, тремя, четырьмя окнами в фасаде на улицу. Привозные окна были двух сортов: целые и половинчатые. Половинчатые были не более 10 вершков в вышину и назначались, собственно, для нижних подвальных этажей, наполовину углубленных в землю. Но это не мешало их употреблять и в высших этажах, иногда рядом с целыми. Непривычный глаз встречал на каждом шагу одно только безобразие, но жители и новые дома строили по образцу прежних. «Было бы тепло да уютно, а про красоту и слушать не хотим», – было ответом на даваемые им советы. Далее от центра города встречались в окнах и брюшина вместо слюды, а кое-где – и бумага, пропитанная рыбьим жиром. Тундристая почва покрывала стоящие на ней постройки. Кровли только на каменных домах были железные. На улицах грязь непролазная, и даже среди лета во многих местах стояли отвратительно вонючие лужи. Нынешний Енисейск в сравнении с тогдашним – красавец.

Не оттого ли и жизнь здешних золотопромышленников так резко отличалась от красноярских. Сударев, Тарасов, Базилевский завелись очень замечательными и отборными библиотеками; а в 1860 г. здесь открылась даже частная публичная библиотека Н.В. Скорнякова. В Красноярске же, городе безумной роскоши, как его назвал Кастрен, в то время не было ни одного хотя бы ничтожного собрания книг, ни одной книжной лавки. Но зато шампанское лилось там рекою, а дамы, все почти, из крестьянок, казачек и изредка из поповен, таскали за собою шелковые шлейфы не

короче полутора сажений, платили за прическу головы на вечер по 25 рублей и не стыдились по стенам и столам своих будуаров размещать свои портреты, снятые фотографически то одиночно – в виде Афродиты, выходящей из купели, то в группе трех голеньких граций. Неудивительно, после того, что эти цивилизаторы со своими милыми дамочками вылетели в трубу, разорив сотни глупцов, вверивших им свои капиталы.

III.

Более шести лет горела тундра на ночь от Енисейска, а жители не обращали ни малейшего на то внимания, хотя очень часто ветер наносил на город целые клубы едкого и удушливого дыма. Золотопромышленник Григоров в 1867 г. предлагал городу взять на себя порубку зарослей на болоте, осушку его и превращение в луга с одним только условием, что во все время пребывания своего в Енисейске луга эти будут в его владении, а по отъезде его останутся собственностью города. Дума со своей стороны сделала другое предложение. Купить всю эту тундру и потом распорядиться ею по своему усмотрению, причем, заломили такую посаженную плату, что и в десять лет нельзя было бы возратить сеном издержки на одну только покупку этого обширного тундристого пространства. Григоров, не смотря на свою барскую тароватость, принужден был отказаться. Последствия этого отказа вскоре жутко почувствовали енисейцы.

1869 год с сухим летом был особенно богат пожарами. В конце июня или в начале июля загорелся навес от поставленного под ним самовара в постоялом дворе у сенного базара. Ветер дул с запада и сейчас же перебросил огонь чрез улицу. Сгорело 12 или 13 дворов со всеми находящимися на них постройками. Погиб один рабочий-плотник, сильно пострадавший и умерший на другой день в городской больнице. Это была прелюдия и как бы предостережение жителям. Но они поговорили о пожаре и чрез неделю притихли, а тундра между тем разгоралась своим порядком, и дымом закапчивала город постепенно.

25 августа приехал в Енисейск вновь назначенный губернатором г-н Лохвицкий, сменивший Замятина. На другой день, в празднество коронации, жители дали ему бал, устроили фейерверк, на какой хватило знания какого-то отставного артиллерийского солдата, и сожгли несколько дегтярных бочек и старых изломанных колес. 27-го утром его превосходительство изволил ревизовать полицейское управление, как в 10 ½ ч[асов] ударили в набат.

– Ваше превосходительство! Пожар, – отрапортовал исправник Геце.

– Ничего, пусть разгорится, – ответил губернатор, продолжая ревизию. И разгорелось же!

С полуночи дул юго-западный ветер с силою урагана и нагнал огонь с тундры на стог сена, стоявший среди небольшого лужка, у огорода крайних городских, старых, гнилых и полуразвалившихся хижин. Они вспыхнули, и огонь разлился широкою с полверсты полосой. Тесницы крыш и самые даже бревна летели по ветру и, падая вниз, зажигали крыши и стены на значительных расстояниях. Когда губернатор приехал на сенную площадь, то бороться с огнем во всей части города, лежащею за этой площадью, не было никакой возможности. Пожарная команда разместилась на пепелище прошедшего пожара, как вдруг на расстоянии саженной двухсот загорается деревянный флигель позади ее и перебрасывает пламя на большую улицу, а с другого конца огонь перекидывается чрез широкий болотистый пустырь к мужскому монастырю, а оттуда на Енисей. Деревянные мосты на речке запылали и отрезали путь убегающим. Много людей бросались в реку и там утонули, много захватывались на улицах безвыходно и сгорали. Ветер дул так сильно, что от каждого горящего дома протягивались горизонтальные огненные языки, какие можно получать на лампе, действуя на пламя паяльною трубкою. Эти языки порасплавляли даже колокола церковные. Енисей здесь широк, в 725 саж., однако же, два железные листа с крыши собора были переброшены к берегу деревни Нифантьевой, находящейся на противоположной стороне в полутора версте выше города. Ветер пронес их более двух верст. Енисей бушевал. Лодки и плоты не могли управляться с его волнами. Их метало, бросало и разбивало, а огонь зажигал их даже на середине реки. Губернатор едва выбрался за город, и из соседственной деревни окольным путем ускакал в Красноярск. Пожарные машины – все, сколько их было, сгорели. В полдень горел уже пригород Каштак, отдаленный от города широкою протокою Енисея, и в полтора часа от начала пожара нечему было вновь загораться. Вой бури, рокот клокочущей реки, треск падающих крыш, потолков и стен, крики и стоны людей, вой собак – все это слилось в одну страшную и дикую гармонию, которую и Моцарт, и Вебер, и Майербер, и Берлиоз совокупными силами не могли бы воспроизвести, хотя бы у каждого из них было во сто раз более и творческих сил, и исполнительных средств. Нет, никогда никакое искусство не выразит вполне действительности, не достанет ему и звуков, и красоты, и слов.

Огонь покончил свою работу. Ему предстояло только вскипятить воду в Енисее, но это при нагревании сверху, при полутораверстовой ширине и при почти саженной в секунду скорости течения реки, было уже ему не в силу. Город к часу пополудни догорел

только. В четыре часа ветер затих, а к закату солнца небо покрылось тучами, и пролился небольшой дождик, не могший принести решительно никакой пользы, разве только одну – что в следующее утро можно было уже ходить по опустевшим улицам. Огонь испепелил все, имевшее органическое происхождение, а ураган сдул в Енисей и следы пепла. Никогда Енисейск, прежде пыльный и грязный, не был так чист и опрятен. Осталась западная, нагорная, самая плохая, бедная и худо застроенная часть, величиною в одну пятую всего пространства, занимаемого городом, и за нею внизу, на берегу Енисея, небольшой участок, который удалось отстоять от всеобщего истребления благодаря стойкости и щедрости Григорова, решившегося во что бы то ни стало спасти свои деревянные дома, лучшие по устройству и комфорту в городе. Этот домовладелец и золотопромышленник обещал 4 000 р[ублей] за отстояние как собственных его построек, так и находящихся в соседстве с ним ветхих и полусгнивших лачуг. Все чернорабочие, бывшие в городе, и даже многие из домовладельцев, лишившиеся уже своих домов и имуществ, сбегались на его зов. Близость реки, впрочем, была таким удобством, без которого все усилия остались бы бесполезными. Одни черпали на берегу воду ведрами, другие подносили ее к дому, третьи выливали ее на загоревшиеся уже крыши, иные раскидывали кровли служб, конюшен, сараев и соседних хижин, покрывали их мокрыми кошмами и затлевшиеся тушили помелами. Дома закоптили, подрумянились, масляная окраска их побурела и даже обуглилась, но в конце всего цель была достигнута: они остались целы. Не так поступили другие, и не так им удалось.

Один священник поспешнее перенесся со всем своим семейством и имуществом из занимаемого им деревянного дома в каменную церковь и заперся в ней. На третий день найдены трупы их, изжарившиеся в раскаленных стенах церкви.

Купец Дементьев, схвативши свой несгораемый сундук, бросился к реке на плот крестьянина, пригнавшего лес и теперь отъезжающего на другую сторону. Он поместился на плоту, и вдвоем пустились на противоположный берег. Ветер гнал их против течения, волнами бросало плот во все стороны. Он стал разрываться на отдельные части. Бревно за бревном отрывались и уносились водою безвозвратно. На двух только бревнах, охваченных ножками сундука, достигли они противоположного отлогого берега и вышли на него. Кто кого спас – крестьянин ли купца с его сундуком, или сундук купеческий крестьянина с двумя бревнами? Трудно решить. Это *sylogismus bifurcatus*¹⁴³.

¹⁴³ Раздвоенный силлогизм (лат.).

Сгорело и обуглилось так, что ни пола, ни возраста никак нельзя было узнать более 50 человек. Детских трупов совсем не найдено, они все испепелились дотла. Столько же погибло в реке и было потом выброшено на берег. Какое же число унеслось чрез Туруханск к Северному океану – это и теперь неизвестно.

Енисейск опустел. Администрация и обнищавшие погорельцы поневоле должны были оставаться в нем и тесниться буквально как сельди в бочке. В каждой комнатке уцелевших лачуг помещалось по несколько семейств. Кто только мог, у кого только хватало каких-нибудь самых ограниченных средств, все разъехались по соседственным деревням или переселились в Красноярск. Золотопромышленники остались зимовать на своих приисках. Нищета ужасная, тоска несносная, голодуха мучительная, и в перспективе еще наступающая уже страшная сибирская зима с ее морозами и пургами, при недостатке теплого крова и, что еще важнее, теплой одежды. Такова была жизненная обстановка енисейцев, но они не унывали, не предавались отчаянию. Общее горе всегда и везде переносится тверже и терпеливее единичного.

Как характеристику тогдашнего времени, заметим, что в Енисейске в 1869 году один только деревянный дом купца Хейсина (еврея) был застрахован в 7 000 р[ублей], которые он чрез два месяца получил сполна. Бедняки же, предъявившие полуобгоревшие ассигнации (ценностью не выше десяти руб[лей]), все остались неудовлетворенными.

Причина пожара была очевидна, но все-таки нужно было доискиваться ее. И тут-то выступила легендарная польская интрига. «Поляки сожгли город!» – крикнул один из гласных, именно тот, который придумал хитрейшее предложение Григорову за два года тому назад и который спасался потом со своим несгораемым на Енисее. «Поляки! Кто же более?» – подтвердило двое других сановитых купцов.

– На чем же вы основываете ваше заявление? – спросил исправник.

– Какое вам нужно еще основание? Что народ видит, то Бог слышит. Знаете вы эту пословицу?

Последовала громкая пощечина, данная крикуну одним из интеллигентнейших чиновников. Но ничто не помогло. «Поляки, поляки сожгли нас!» – разнеслось по пустырям сгоревшего города и всем окрестностям его, и все от мала до велика запели песенку на катковский мотив. Исправник и интеллигенция зачлись общественными врагами. И пошло писать от смешного до отвратительного.

Одна из здешних дам, имевшая дочь, за которой приволакивались несколько молодых поляков и которую выучили они даже отбарабанивать на фортепиане «Jeszcze

Polska nie zginęła», хвастаясь своими *magnanimité et gentillesse*¹⁴⁴, высказалась, что она, самая вернейшая патриотка, все-таки как принимала прежде, так и впредь будет принимать у себя врагов отечества. Что за великодушие!

У одного мастерового поляка уцелело от пожара ружье. Он пригласил товарища, и они вдвоем отправились в окрестные болота на охоту за утками. На них устроили в соседственной деревне целую облаву, схватили их, избили и полумертвых привезли в город исправнику для предания законной казни. Исправник отправил избитых в уцелевшую больницу, а привезших арестовал за самоуправство. Ропот поднялся всеобщий. Оставалось кого из поляков выслать из города в более отдаленные деревни, а кого припрятать для их же безопасности в тюрьму.

Вслед за Енисейском сгорел и Каменский винокуренный завод. Причины пожара и не доискались. Всех, как прежде там живших, так и вновь прибывших поляков, побивши хорошенько, свезли и доставили в город. Особенное подозрение пало на какого-то Каминского, узнавшего только на другой день о происшедшем пожаре. Во время его он был пьян и спал преспокойно и беззаботно. Почти с полгода просидел бедняга в тюрьме, пока из Петербурга не пришло уведомление, что в грязи, выковырянной из-под его ногтей, нет никаких горючих материалов.

Новая беда стряхнулась над Енисейском. Не прошло и месяца после пожара, как при легком юго-западном ветре показалась дивная туча густого темно-коричневого цвета, с белыми серебристыми краями. Надвинулась она на город и произвела настоящую египетскую тьму. В двух шагах трудно было различать что-нибудь, а в пяти ничего нельзя было видеть. Более двух дней бродили все чуть не ощупью. Сильный запах гарью изобличал, что это произведение пожара. Оказалось после, что горела Барабинская степь в Томской губернии. Но енисейцы нашли другое, более подходящее объяснение факта. «Не казнили злодеев, выслали их вон. Вот они теперь кругом все выжгут». Пирофобия объяла всех: ложились спать по очереди, и то не раздеваясь.

Исправник Геце после пожара поместился на горе в доме купца Калашникова, имевшего домашнюю лавку, оставшуюся единственной во всем городе. Продажа в ней была непрерывная, несмотря на цены, по крайней мере, втридорога настоящей стоимости.

– Сгоришь, живодер, сгоришь! – кричали покупатели и все-таки шли покупать, без чего им нельзя было обойтись.

¹⁴⁴ Великодушие и милость (франц.).

Вдруг ровно в полночь загорелась конюшня на дворе Калашникова. Восточный ветер перекинул огонь на крышу дома. Исправник находился тогда у Григорова. Жена его едва успела выпроводить детей и захватить что понеобходимее из имущества. Загорелись и соседние постройки – и двух кварталов как не бывало! Было тесно, и сделалось еще теснее. Калашников на другой день подал в полицию заявление, которое оканчивалось так: «И нет никакого сомнения, что это поджег купец Калашников». Ему сказали было переписать такое самообвинение. Бесспорно, что это был поджог. «Живодер» и «покровитель злодеев» жили в одном доме; кому в отместку был пущен этот национальный красный петушок, и кто пустил его, осталось неизвестным. Нравственная ответственность, во всяком случае, лежит не на дерзком исполнителе преступления, а на проповедниках диких нелепостей.

Приехала следственная комиссия из Красноярска, оправдала всех поляков, оставя одного Каминского до получения решения из Петербурга, конфисковала только у них несколько ружей и продала их с аукциона. Таков был итог всей пожарной передрыги в Енисейске.

Город до следующего лета не застраивался. Явились только кое-где в значительных расстояниях друг от друга, три или четыре десятка избушек, сколоченных из барочного лесу, с плоскими дерновыми крышами и с маленькими, в четверть листа писчей бумаги, окошечками. На двух третьих их красовались вывески: «Распивочно и на вынос». Тишь и глушь в домах, а вино и песни лились в этих неприглядных балаганчиках, как в классической Элладе во времена Анакреона.

Не могу забыть факта, которого мне случилось быть свидетелем.

30-го авг[уста], т.е. в третий день после главного пожара, я шел по бывшему Набережному бульвару и отыскивал, не осталось ли на нем хоть одно деревце, не поврежденное окончательно огнем. На половине длины бульвара был мостик, перекинутый над проходящим под ним съездом к реке. Мостик сгорел, и я должен был спуститься к съезду, чтобы, поднявшись, взойти на другую половину. У берега стояла лодка, и в ней сидели две женщины. Когда я проходил съезд поперек, сверху раздался мужской голос: «Идет, идет» – и вскоре показался молодой парень, шагом спускающийся к реке, а за ним другой, уже не очень молодой, но здоровенный и коренастый мужчина.

– Бога ты не боишься, Пахом, заставляешь так долго всех нас дожидаться, – сказал младший старшему, когда тот с ним поравнялся.

– Прах бы взял твоего бога! Взглянь, что он наделал!

Это говорил крестьянин из какой-то лежащей на другом берегу деревни, а мне вспомнился Вольтер с одою на разрушение Лиссабона.

IV.

Енисей вскрывается средним числом 24 апреля, а лед из впадающей в него Ангары проходит по нем 12 днями позже, т.е. 6 мая. В 1870 г. Енисей вскрылся точно в предписанный ему день, но при крутом повороте русла к востоку, за деревнею Баженовой, в 45 верстах ниже Енисейска, сперся и задерживался. Вода подняла целые горы в 7 и 8 саж. накопившегося сверху льду. У самого берега стояли глыбы выше всякого двухэтажного дома. Жители, помня наводнение в 1859 г., приготовили на всякий случай имеющиеся у них лодки, но случилось что-то, чего они не могли ни ожидать, ни предвидеть. В 10 ч[асов] утра 27 числа тронулась и Ангара. Лед ее напер на енисейский. Вода в продолжение не более двух часов поднялась почти на 4 саж. выше зимнего своего уровня и разлилась по всему почти городу, оставя только два острова: гору, уцелевшую от пожара, и небольшой участок вокруг гостинодворской площади. Лед глыбами понесся по улицам и стал заваливать их, напирая на дома. Несколько барачков «Распивночно и на вынос» стерло с лица земли. Потерь в людях не было никаких. Не то было бы, ежели бы выгоревшая низменность была уже застроена деревянными домами. Не устоять бы им пред напором льдин, которые значительно превосходили их величиною. Двое суток вода простояла на одном уровне и только на трети отхлынула так быстро, что в час времени ушла в берега, оставя как в городе, так и в окрестностях его где одинокие, а где так и скученные громады льдин, бревен, поломанных лодок и деревянных памятников, снесенных с городского кладбища. В нескольких местах нужно было рубить топорами эти импровизированные баррикады для установления какого-нибудь, хотя бы пешеходного только, сообщения с соседями.

Наводнение это было, впрочем, в некотором отношении полезным для города. Во многих местах после пожара в подпольях торфяная почва тлела во всю зиму, не давая никаких наружных признаков скрытого внутри ее огня, пока взрывы паров в виде сицилийских грязных вулканов не изобличили предстоявшей опасности. Продолжавшая гореть в соседстве города тундра, причина главного пожара, тоже вся очутилась под водою.

Весною 1888 г. наводнение повторилось в Енисейске, но оно было разорительнее для жителей своею двухнедельною продолжительностью, хотя оно было ниже почти на 9 вершков и совершалось медленно, постепенно и без напора льдин. Более

пострадало село Казачье, лежащее выше по реке и затапливаемое почти ежегодно. В нем погиб весь почти наличный крестьянский скот, и несколько человек залиты в домах у себя. Ежели причиною чаще и чаще повторяющихся здесь наводнений, как полагают, есть расчистка лесов около вновь населяемых поужнее местностей, то невеселая будущность предстоит Енисейску и его окрестностям.

С 1 мая по нов[ому] ст[илю] (т.е. 19 апр[еля]) 1871 г. я начал постоянные метеорологические наблюдения, запасшись нужными для того инструментами, отчасти из магазина Рихтера в Петербурге, отчасти же и устроенными на месте, хотя с большими затруднениями, и после неоднократных неудач, пока Гл[авная] физическая обсерватория в 1875 г. не выслала мне полной серии необходимых для того приборов. Можно ли было предвидеть, что метеорологическая станция заденет чью-нибудь личность и возбудит борьбу чуть не на ножах? А, между тем, так вышло впоследствии.

В первых числах октября 1873 г. прибыл в Енисейск ученый Чекановский, на возврате из своей экспедиции по Нижней Тунгуске. Ему сопутствовали в качестве астронома Ф.Ф. Миллер, топограф Нахвальных и ссыльный поляк, отличный набиватель чучел, Ксенжопольский. Последний в конце плавания их по Тунгуске сильно заболел, и с трудом доставлен в Енисейск в состоянии полнейшего сумасшествия. Он считал себя приговоренным к смертной казни и ожидал только из Петербурга или из Иркутска телеграфической конфирмации. Чекановский не решался сперва поместить его в жалкой городской больнице с затхлыми стенами, пропитанными тифозною миазмой, куда после пожара переместились и больные из тюремного замка арестанты со своими парашками и караулом, но не было никакой возможности не принять этой необходимой меры, и целых 9 суток бедный страдалец был предоставлен своим мучительным страданиям. Днем все члены экспедиции поочередно посещали его и как могли развлекали и успокаивали, но на всю ночь надо было полагаться только на больничную прислугу, состоявшую из одной дряхлой женщины, никогда не ходившей за душевнобольными. Чтобы укласть и сдать все коллекции своей экспедиции для пересылки в Петербург, Чекановский употребил более недели, работая и днем, и ночью, и спеша как можно поскорее исторгнуть бедного больного из этого крайне невыгодного помещения, и под непосредственным своим надзором вести его в Иркутск, где все-таки предвиделась возможность и присмотра за ним, и даже лечения.

Вечером, возвращаясь из больницы, Чекановский посетил меня и принес с собою список десятка с полтора немецких научных терминов.

– Нужно отчет писать по-русски, а я, как воспитанник Дерптского университета, плохо знаком с русской терминологией. Помогите мне, сделайте одолжение.

Я, плохой, в свою очередь, знаток немецкой номенклатуры, мог ему только чрез латинско-французские термины перевести на русские. Два, или три гейты и кейты так и остались необъясненными.

– Я тянул к вам из больницы Ксенжопольского, но никак не мог его убедить решиться на этот, по его мнению, подлый подвиг, – сказал потом Чекановский. – Нет, не могу, говорит, очень приятно было бы посетить и его, и его семейство, но пусть извинят меня. Не хочу никому причинять зла. Сегодня меня, а завтра его! Узнают. Сообщник! Довольно ему и так!

– Что это с ним такое? – спросила меня жена.

– Общая наша с ним судьба, сударыня, ничто более. Всем нам предстоит тоже – скорее или позже – но все то же. Много пало, предалось пьянству, оскотинилось и навскачь достигло возможного для них счастья. Другие крепятся, но это до поры, до времени. У кого есть цель жизни, основанная на научных любимых занятиях, тот потянет подольше, но все-таки в перспективе – сумасшествие. И прекрасно! Не придет оно, так придется порешить с жизнью.

– Ваш взгляд на жизнь, м[илостивый] г[осударь], слишком уж грустен, – сказала жена моя.

– Да не весел. Это правда. Как бы весело трудился я, как бы усердно работал среди милых мне родных и ближних, трудился и работал для них же, в родной моей стране и в ее пользу. А теперь неволью иногда, при всей страсти к науке, при всем стремлении к уяснению ее тайн, надвигается гадкий, отвратительный вопрос: да на что? К чему? Для кого?

– Трудясь для науки, работаем на все человечество. Достанется что-нибудь и нашей родине, и нашим родным, – заметил я.

– Оно так, бесспорно. Одно это и укрепляет силы наши. Очень рад, что ваше мнение таково. Но что достанется? – только объедки и огрызки от сытого пира других. Ах, хотя бы раз еще взглянуть на милые лица своих людей, на милую травку своих полей, на цветки своей родины, на ее букашек...

Тут жена моя поспешно выбежала в другую комнату и возвратилась со своим молитвенником в руках.

– Прошу вас, пересмотрите, – сказала она, подавая ему книжку.

Он развернул. Меж листов лежал засушенный цветок.

– *Gagea umbellata!* – в восторге закричал Чекановский, перевернул несколько листов. – *Anemone Hepatica!* Ради бога, это наши родные цветки, наши милые земляки!

19 марта 1839 г. я в Витебске возвращался из первой весенней экскурсии и проходил мимо костела доминиканов. Из церкви в это время вышла девушка, моя избранница, а потом и жена. Она любовалась первыми весенними полевыми цветками, я их тут же поднес ей в подарок, и она сохранила их в своем молитвеннике. В Енисейске, по прошествии 34 лет, похвастала она ими пред Чекановским, который радовался, видя их, и любовался ими.

– Я предлагаю, м[илостивый] г[осударь], ежели эти цветки вам почему бы то ни было милы, не брезгуйте ими и выберите из них хотя бы целую половину. Их здесь 8 или 9.

Чекановский взял только один анемон, отказавшись от предложения, чтобы не лишить обладательницу дорогих для нее воспоминаний, и, уходя со словами «сердечно и от души признателен», так сильно сжал ее руку, что та едва удержалась от крика.

– А какой ветер в Енисейске самый холодный? – спросил меня однажды Чекановский.

Я рассмотрел записки за 16 месяцев (1 мая 1872 по 30 сент[ября] 1873 г.), и оказалось, что это был северо-западный.

– Ну, так и должно быть, ведь это верхний полярный пассат. Здесь он должен быть и редок, и несилён; но что он выделяет в Забайкалье, чуть ему приходится спускаться на землю, тому в Европе даже не скоро поверят. Является при ясном и чистом небе маленькое облачко в самом почти зените, растёт, растёт, раздувается в густейшую и огромнейшую тучу с дождем, грозой, градом и сильнейшим вихрем.

Мне случилось в Кежме быть свидетелем подобного явления. Я сообщил о том Чекановскому, он сейчас же записал в свою памятную книжку и был очень рад подтверждению его мнения.

10-го окт[ября] он уехал из Енисейска, забравши с собою Ксенжопольского. В следующем году опять отправился в экспедицию на Оленек и, возвратившись оттуда, уехал в Петербург, где и покончил с жизнью. Тоска по родине заела бедного труженика. Ксенжопольский, мне говорили, выздоровел потом.

V.

Еще до пожаров, узнав, что весною вовремя половодья остяки с реки Каса, впадающего в Енисей в 240 верстах ниже города, на легких своих лодочках плавают в

Кеть, приток Оби, енисейский купец П.Е. Фунтосов снарядил небольшую экспедицию, которая даже без буссоли отправилась по Кети, въехала реками Озерной, Ломоватой и Язевой в озеро Большое, переплыла его, волоком верст в 8 нашла другое меньшее озеро, из которого реками Малым и Большим Касом вышла в Енисей. Журнал этой экспедиции дал мне возможность составить отчет и начертить к нему наглядную карту, насколько позволяла это сделать крайняя неверность всех карт Сибири, как больших, так и малых, на которую жаловались, жалуются и, кажется, долго еще будут жаловаться все путешественники. Ежели бы только изгибы рек были на них показаны, что называется, от руки – это была бы еще беда небольшая, но часто общее направление реки смотрит совсем не туда, куда следует. Это я заметил на Ангаре, по дороге из Кежмы в Енисейск; в этом убедился и Чекановский на Нижней Тунгуске и Оленеке. Карта представлена была мною в имп[ераторское] Русс[кое] географическое общество, обратила на себя внимание правительства, и летом 1875 г. приехали в Енисейск флота лейтенант А.К. Сиденснер и инженер Н.А. Мошков для научного исследования указанного пути. Составленная ими маршрутная карта была путеводительницей для работ, предпринятых после на так называемом Оби-Енисейском канале. Первому удалось скорее покончить свои розыскания и более пожить в городе, и потому он все свободное время проводил у меня, в дружеской беседе со мною и моим семейством. В начале сентября оба они покончили свои работы и поспешили сперва на реку Чулым для осмотра ее и оттуда в Петербург.

Едва ли не на другой день по отъезде их прибыл с низовьев Енисея пароход А.С. Баландина, а на нем проф. Норденшильд со своими спутниками: ботаником Люндстремом, зоологом Стукенбергом и тремя норвежскими китоловами. Через полчаса по приезде они явились ко мне. Радостно встретил и принял я неожиданных дорогих заморских гостей. Невозможно было мне предполагать даже подобного посещения в Енисейске.

Какое впечатление произвел их приезд на жителей города, можно судить о том по разговору, которого я был невольным слушателем.

У пристани, где остановился пароход г-на Баландина на другой день в толпе зевак, стоявших на набережной, находились между прочими и два члена городской думы, ярые преследователи всяких интриг, Матонин и Марамыгин. К пароходу был привязан морской ялик «Анна», на котором Норденшильд вшестером ехал вверх по Енисею более 600 верст.

– Вишь, на какой лодочке пробрались сюда из-за океана эти нехристи, – говорил Матонин.

– Теперь в лодочке, а на будущий год, того и гляди, на корабле да и с пушками,
– подтянул Марамыгин.

Я со Стукенбергом стоял шагах в пяти от разговаривающих. Благо, Стукенберг не мог понять этого милого о них отзыва.

Для полнейшего охарактеризования разговаривавших личностей я возвращусь несколько назад. Во время проезда великого князя Алексея Николаевича чрез Сибирь они ездили в Красноярск, как представители здешнего общества. У Матонина, бывшего соборным старостою, кто-то из свиты спросил:

– В Енисейске, наверное, сохранились предания из времен прошедших?

– В пожар все предания наши сгорели, – ответил пресерьезно и пресамодовольно спрашиваемый.

– А вы что поделяете в своем краю? – спросили Марамыгина.

– Да ходим на низ, а то и на Таз.

Таз – река, образующая обширный залив, сливающийся с Обскою губою. Улыбнулся спрашивающий и более не обращался уже ни к кому с вопросами.

Когда же Марамыгин был директором городского банка, на памятнике жены своей хотел поместить надпись: «Прощай, моя директорша, скоро придет к тебе твой директор!». Ему отсоветовали. А жалко. В самой Ницце, среди разноязычных эпитафий, едва ли нашлась бы хоть одна так глубоко прочувствованная.

За несколько дней до прибытия шведов (как здесь их звали) посетил Енисейск архиерей из Красноярска, и все внимание жителей было обращено на него. Мужчины и женщины бегали из одного конца города в другой, чтобы увидеть и поклониться проезжающему по улицам своему заступнику пред престолом Всевышнего. Не до шведов им было.

Но вот, проезжая по Базарной площади на обед к г-ну Баландину, архиерей заметил каких-то трех людей, странно одетых в широкополосатые рубахи и не оказавших ни малейшего стремления к поклонению ему. «Что это за иностранцы у вас в городе?», – спросил он за обедом.

– Шведы какие-то приехали по океану и Енисею, ваше преосвященство, – ответили ему.

– Любопытно было бы видеть их поближе, – заявил преосвященный.

В следствие этого Норденшильд с товарищами (за исключением трех китоловов, виденных на площади) получил от городского головы приглашение к обеду, на котором обещал присутствовать и сам архиерей.

За обедом разговор как-то не клеился. У Норденшильда спрашивали про то, что его не занимало и на что он не обращал никакого внимания, а ответы его, взаимно, были не занимательны для собравшейся публики. Распотешил только отец Павел, архиерейский эконом.

– Вам нужно было непременно заехать на Таз, взглянуть там на часовню, где подвизался Василий Многострадательный, да побывать в Туруханском монастыре для поклонения его мощам. А то вы проехали и ничего хорошего не видели, – обратился он к Норденшильду.

– Шутит этот господин или чистосердечно выражает свое мнение? – спросил меня Норденшильд.

– Il croit dans la simplicité de son ame. Pardonnez lui, monsieur¹⁴⁵, – ответил я.

Мы сделали небольшую экскурсию за город. Время года было уже позднее, и незачем было ходить далее. Я предложил к их услугам все свои естественные коллекции. Не многим чем могла попользоваться экспедиция. Более прочих позаимствовался ботаник Люндстрем, личность подвижная, веселая и крайне симпатичная.

Я снял фотографические портреты со всех участников экспедиции в двух группах: Норденшильд, Люндстрем и Стукенберг в одной, и трое китоловов в другой.

По прошествии четырех дней они уехали сухим путем в Красноярск, где были приняты не лучше. Губернатор Лохвицкий удостоил их кивком головы, а директор гимназии Аристовский, за их нетвердость в латинской мудрости, отозвался об них «imbecilles quidem»¹⁴⁶. Один учитель немецкого языка Стреблов, натуралист по призванию, взял их под свое руководство и совершил с ними даже геологическую экскурсию на противоположный берег Енисея. В газете «Сибирь» можно найти корреспонденцию из Енисейска, в которой сказано, что астроном Норденшильд делает в нашем городе коллекции по своей части (!). В петербургских же газетах кто-то брызнул в глаза здешним интеллигентам словами: «Проезд экспедиции Норденшильда по Восточной Сибири был никем не замечен, по неразвитию жителей». Эта правда принята была здесь за грубую невежливость и как образец высокомерного глумления над провинциалами столичных прелюбодеев печати.

VI.

¹⁴⁵ Он верит в простоте своей души. Простите ему, сударь (франц.).

¹⁴⁶ Действительно слабый (лат.).

Енисейск, между тем, отстраивался и устраивался. Женский приют превратился в прогимназию. Появился и стал работать телеграф, которым воспользовались Сиденснеер и Норденшильд. Основался городской клуб, и из книг, пожертвованных уехавшим в Петербург золотопромышленником В.И. Базилевским, составила «библиотека служащих». Клуб, впрочем, не ознаменовал себя ничем, а библиотеку вскоре как-то растаскали бесследно. Наконец, в 1876 г. открылась и мужская прогимназия.

Прежде дети енисейцев учились в Красноярской гимназии и приезжали только на каникулы домой с очень красивыми тетрадками в роскошных обложках, записанными латинскими и греческими упражнениями. Тетрадки эти поражали каждого двумя своими особенностями. Во-первых, старательным, четким и щегольским почерком, который удостоился бы похвалы даже бывшего попечителя Московского университета В.И. Назимова, была записана только левая половина первой страницы. Правая оставалась белой для корректурных поправок и отметок. Обратная страница листа, вероятно, в подражание древним грекам и римлянам, не записывалась. Во-вторых, внизу каждой страницы, записанной в половине, красовалась подпись: «Vidi Director Aristovsky»¹⁴⁷.

Мне случилось вовремя каникул наглядно убедиться в успехах этих гимназистов. Во время экскурсии я наткнулся за городом на рощу, из которой доносилось хоральное пение с прищелкиванием и присвистом, на ноту комарицкой пляски. Голоса замолкли на несколько времени, но вскоре однако же повторилось пение и под тот же мотив. Я хорошо расслышал:

«Много / есть и/мен на / is, на / is, на / is,
Mascu / lini / gene / ris, / gene / ris!»

«Чудное слияние народности с классицизмом», – подумал я.

Число таких мучеников школы было очень невелико. Только более достаточные жители могли содержать детей своих в Красноярске. Прочие же отдавали их в уездное училище или совсем не обучали ничему. Но вот приехал вновь назначенный директор прогимназии Н.Н. Сторожев, а за ним и учителя разных предметов, и тяжелый схоластицизм налег на неразвитую молодежь всем своим свинцовым гнетом герундий, супинов, аористов, всяческих правил и бесчисленных из них исключений.

На третий день по приезде г-н директор почтил меня своим неожиданным визитом, в шитом мундире, со шпагою и в треуголке, но, увы, в неустойчивом и почти в

¹⁴⁷ Смотрел директор Аристовский (лат.).

невменяемом состоянии. Несколько лиц советовали ему в Москве сойтись и сблизиться со мною, но я с первого нашего свидания узнал, что это *desiderium irrationabile*¹⁴⁸. На другой день я должен был отплатить визит, но не застал дома и отделался карточкою. Через несколько дней явился г-н директор в сопровождении уже своей супруги, и волея-неволей мы должны были сойтись семействами. Г-жа директорша, желая, по-видимому, подмолодить себя, начала называть мою жену мамашенькой, посещала ее ежедневно, иногда даже раза по два. Я принужден был выслушивать от действительного студента естественного факультета дикие абсурды, самоуверенно заявляемые им как научные истины. Напр[имер], какая-то допотопная магнитная жидкость скопьялась у него на одном конце стрелки и перевешивала его. Падающие звезды – не иное что, как отражение света от небесного свода. Золото, как тяжелое тело, вследствие центробежной силы при вращении земли может быть находимо только в самых верхних слоях ее. И проч., и проч., все такое же. Много нужно терпения слушать подобные наивности (говоря повежливее) и не возражать на них. Могу похвастать, однако же, что у меня оказался достаточный запас его.

– Ври, миленький, ври! – думал я про себя.

– Знаете, что? Я доволен своим положением в Енисейске. Ведь по табели ранг должность моя выше всех, – сказал он мне однажды.

Мне оставалось согласиться с этим его самодурным взглядом. И что же? Через несколько дней на дверях его квартиры явился лист бумаги с крупною надписью: «Его высококордие, господин директор Енисейской шестиклассной прогимназии Николай Николаевич Сторожев принимает просителей от 10 до 12 часов дня».

А не более как чрез неделю красовался на другой створке дверей другой лист, гласивший: «Ее высококордие госпожа супруга директора прогимназии Дария Ивановна Сторожева принимает дам с 12 ч. дня».

Прежде всего нужно было открывать мужскую прогимназию, и вот женскую перевели в другое место, а дом (в котором, мимоходом заметим, жил Сперанский в бытность свою в Енисейске) директор взял в свое ведомство и стал приспособлять его по назначению. Приспособление это состояло в том, чтобы в нижнем этаже поместить три классные комнаты (для приготовительного класса и двух низших), учительскую, физический кабинет и библиотеку, а вверху – себе квартиру с полным шиком и комфортом. С последнею целью четыре угловые террасы изменились каждая в

¹⁴⁸ Неразумное желание (лат.).

отдельную комнату, а у уличного фасада привешена пятая, в виде балкона над парадным входом. И все это украсилось окошечками какого-то халдейского покроя, с острым сводом посредине и двумя зубцами по бокам. При всей этой нагрузке сверху были вырезаны, как мешающие предназначенному плану, железные полосы, служившие прочною связью противоположных стен. Поздоровилось ли оттого дому, и можно ли теперь рассчитывать на его прочность – про то не подумано.

Между тем шла по всему округу подписка пожертвований на постройку нового здания для прогимназии. Как раз перед этим купец Фунтусов за совершенную на его счет экспедицию на Кас и Кеть и за пожертвование 10 000 р., как премию первому судну, которое пройдет по предполагаемому Оби-Енисейскому каналу, награжден был орденом св. Анны. Директор заявил, что жертвователей на прогимназию он представит к орденам, которые они непременно получают. Нашлись и такие, что прельстились этим обещанием, и значительно причинились к увеличению подписки. Она достигла 40 000 р.

При чрезвычайно ограниченном запасе самых поверхностных сведений, но опираясь на сильную протекцию в Петербурге и подстрекаемый своею женою, женщиною полуграмотною, но высокомерною и требовавшею ото всех поклонения своей красоте и своему уму, директор приступил теперь к собранной сумме, как полный ее властелин. Он взял на себя все распоряжения по постройке безо всякого над ним контроля. Кто поместил уже своих детей в прогимназию, кто намерен был поместить, кто кутил вместе с ним, кто прельщался орденом по его представлению, кто озадачился его высокородием, кто по непониманию дела, а кто, наконец, и по беспечности – только все на то согласились беспрекословно.

– Ну, дело сделано. Деньги есть. Приступаю к постройке. Помогите мне накинуть вчерне проект ее.

Мы уселись, и часа в три проект был уже сделан.

– Так вот что. Не откажитесь, пожалуйста, начертить планы, фасады и разрезы по этому проекту, – сказал он мне.

– Работа не малая, – заметил я. – Одни чертежи четырех фасадов, трех планов каждого этажа, да одного генерального, и еще не менее трех разрезов, а может быть и более, и все под строгою мерою и со всеми подробностями, согласитесь, займет по крайней мере месяца полтора самой усидчивой работы.

– Оно так, понимаю, да что же делать? – сказал он.

– Можете сами взять участие в этой работе? – спросил я.

– Разве небольшое и то, что будет полегче и попроще.

– В таком случае, сыщите помощника вместо себя. Ведь вспомните, что нужно будет чертить все в двух экземплярах.

– Нет. В трех.

– Это к чему? – спросил я.

– Да скажу вам откровенно. Я намерен послать еще один экземпляр на парижскую всемирную выставку. Пусть знают, какие прогимназии в Енисейске! – сказал он, улыбаясь.

Я не мог постигнуть, могут ли приходиться в голову кому-либо такие хитрые мысли, и какое дело парижской выставке до непостроенной, а проектируемой только Енисейской прогимназии.

– В таком случае, извините, Ник[олай] Ник[олаевич], я никак не могу служить вам. Выставка, кажется, будет в октябре, почта в Петербург идет почти целый месяц, а в осеннее время иногда и полтора месяца. Сочтите, есть ли тут какая-нибудь возможность, – ответил я.

Г-н директор ушел от меня очень недовольный моим отказом, и с этой поры отношения его ко мне сделались холоднее, и супруга его стала реже посещать нас. Он обратился с такою же просьбою к начальнику телеграфной станции П.К. Грейсену, и успел уговорить его взяться за черчение планов, но только в двух экземплярах. Про парижскую выставку не было даже и помину. Грейсен изменил уличный фасад. Может быть, постройка чрез то вышла красивее. Не спорю. Но красота эта достигнута значительным стеснением комнат и немалою затратою материала.

Прогимназия открылась. Директор, считая это великим своим подвигом, ожидал отовсюду deputаций и поздравлений. Последовала одна только официальная депеша из Иркутска. Это показалось крайнею обидою для него: и когда потом, в 1880 г., произошла закладка Сибирского университета в Томске, в отместку за такое невнимание к столь важному событию, как открытие прогимназии, по настоянию начальника ученой части, из Енисейска не была выслана в Томск ни депутация, ни поздравительная депеша, тогда как по всей Сибири телеграфные станции не успевали передавать доставляемых им поздравлений. Один Енисейск показал свое – «знай наших».

А в открытых двух классах прогимназии дело как-то не ладилось. Не всех учителей полюбил г-н директор. Многие были ему не на руку, не кутили, и не юдофобствовали – одним словом, не сочувствовали его тенденциям, и ему нужно было удалить их. И в самом деле, лучшие из них: Нелюбовь, Андрушкевич и Щеглов – вскоре

были перемещены, а в классные наставники и их помощники назначены прогнанные из промыслов фельдшера.

Не всегда, однако же, сходили с рук господину директору его высокородные выходки. Раз едва избег он удара в лоб бутылкою рома. Раз был извлечен за честные власы из комнаты в сени, а раза два слетал по наклонной плоскости лестниц с ускорением, сообщаемым в спину толчками. Но все это нисколько не ослабляло дружеских отношений с бившими его. Сейчас же, а не далее на другой день, за бутылкою коньяку происходила мировая.

– Что за добродушный и не злопамятный, что за сердечный и теплый малый! – говорилось после таких недоразумений.

Чтобы поскорее кончить занятия в прогимназии и выиграть более времени на попойки, придумано было особенное, едва ли где практиковавшееся средство. Заведование городскими часами взял на себя директор и поставил их ровно часом вперед. Разумеется, осенью и зимою, когда солнце восходит почти в 9 ч., то в 8 настоящих, а 9 директорских, еще очень темно, и потому первые уроки записывались только в журналах, а в 1½ часа настоящих всему делу конец. Администрации показалось это выгодным: присутствия закрывались в самый полдень, а утром впотьмах кто ж станет работать.

– Как умно придумал. Ну, что говорить, настоящий ученый! Молодец! – порешили администраторы между собою.

Когда исправнику некоторые родители говорили, что детям их приходится в темноте отправляться в школу, тот очень резонно заметил:

– Есть о чем говорить? Раньше встанешь – раньше ляжешь. Бояться нечего, ведь от суток и четверти вершка не отрежут.

Так прошли два года. Число классов возросло до четырех, и число учащихся в них увеличилось. В 8 ч. утра летом и зимою ученики и ученицы должны были быть в классах. Опоздавших штрафовали выговорами, записыванием в журналах и даже карцерами в праздничные дни после обедни. До часов на телеграфе не было никому дела.

– Это время петербургское, а не наше.

Холода в Енисейске, особенно в декабре и январе, часто доходят до 30 и даже 40 гр[адусов]. Положено было при морозе ниже -25° прекращать учение и на крыше прогимназий поднимать для всеобщего сведения зеленый флаг. Но сильные морозы сопровождаются почти постоянно туманом, называемым здесь копотью. Дома обеих прогимназий невысоки и не могут быть видимы, особенно с окраин города, и чтобы

увидеть флаг в густом тумане, нужно подойти к нему на расстояние не более 20 саж. Бежали бедные ребятишки впотьмах со всех сторон к середине города, а к рассвету разбегались, подгоняемые морозом, по домам. Все сходило благополучно, сибирякам к морозу не привыкать. Только в Иркутске стали удивляться суровости енисейского климата, когда узнали, что уроков не бывает недели по две и более.

Мои метеорологические наблюдения печатались в летописях Главной физической обсерватории, и кому-то вздумалось заглянуть в них. Оказалось, что в некоторые из холодных и свободных от учений дней термометр minimum не опускался до -25° С, а иногда доходил только до -15° . Г-ну директору сделано было надлежащее замечание, хотя интимное, но все-таки очень неприятное ему и заставившее его поднять гонение на метеорологическую станцию и на меня, как виновника всей неприятности. Хитро приступил к этому г-н директор.

Он знал, что вскоре после пожаров меня приглашал И.А. Григоров преподавать взрослым дочерям его физику и естественные науки, которые как находящимся у него гувернанткам, так и преподавателям в уездном училище, были неизвестны. Еще две дамы: г-жа Полежаева, старшая дочь г-на Григорова, и г-жа Пфейфер, жена управляющего приисками В.И. Базилевского, заявили желание познакомиться с этими науками. Григоров уже уехал с семейством в свое костромское имение, дочери его поступили в Цюрихский университет, покончили курсы и вышли замуж: старшая – за профессора Шмуцигера, а младшая – за В.И. Базилевского, а обе дамы, учившиеся у меня, были матерями нескольких детей. Но г-ну директору показалось это злоупотреблением, наносящим вред женской прогимназии, имевшей тогда только четыре класса. Знал также из моих рассказов о той квартирной гонке, которую я испытал в Кежме, и те затруднения, которые я испытаю при перемещении станции с одного места на другое. Этого было достаточно, и вот как оригинально он воспользовался этими сведениями. В Енисейске пригрозил владельцам домов неприниманием детей в прогимназию, с исключением даже находящихся в ней, ежели бы осмелились пустить меня на квартиру, а в Иркутске чрез главного инспектора училищ Восточной Сибири вступил с доносом на меня в незаконном занятии обучением детей по домам, в ущерб как мужским, так и женским учебным заведениям. За отсутствием генерал-губернатора правил тогда делами Восточной Сибири генерал Шелашников, старик, едва узнававший людей и забывавший часто даже то, что сам за полчаса пред тем приказывал. И вот главное правление Восточной Сибири распорядилось взять с меня подписку: впредь не заниматься никаким - ни учебным, ни ученым делом. Последствием всего этого было

перекочевывание станции по пяти квартирам в продолжении полуторагодового времени, и прекращение наблюдений за весь август 1881 г. Я обратился с просьбами к г-ну министру внутренних дел и в Главную физическую обсерваторию, и из Петербурга получено предписание, отменяющее постановление управления Вост[очной] Сибири, касающееся меня. При объявлении этого предписания я просил копию с него препроводить его высокоородию г-ну директору для избежания всяких могущих случиться жалоб, доносов и кляуз, и копия эта была поднесена ему во время веселой закуски с коньяком и шампанским, в день его именин, 6-го декабря.

– Запьем эту неприятность, господа! – сказал он бывшим в то время посетителям, пришедшим его поздравить с днем ангела.

Постоянный кутежи и разные сальто-мортале, напр[имер], падение в яму с раствором известки, подействовали разрушительно на здоровье моего антагониста. Он впал в чахотку и принужден был оставить Енисейск в начале 1882 г. Постройка прогимназии не доведена и до половины, а 40 000 р. издержаны до последней копейки, и если бы купец и золотопромышленник И.П. Кытманов не взялся довести ее до конца, осталась бы она памятником оплошности, неосмотрительности, беззаботливости и доверчивости жителей города, как подписавшихся, так и не подписавшихся.

Вскоре по Енисейску от приезжавших из Петербурга пронесся слух, что Н.Н. Сторожев умер, а супруга его вышла замуж, и опять за педагога.

VII.

Еще в последние годы правления Енисейскою губернию Замятниным, енисейский золотопромышленник и деятельный исследователь севера России М.К. Сидоров предпринял снарядить морскую экспедицию из Енисея чрез Северный океан в Европу. Но при Замятнине, грубо выпроводившем обратно в Петербург капитана флота английской службы, прибывшего в Красноярск по поручению Сидорова, предприятие это было немислимым даже и могло осуществиться только при новом правителе, Лохвицком, тоже тяжелым и не дальнего ума, но более сговорчивым и податливым. Нашелся и свой корабельный строитель, проживающий в Енисейске, датчанин Бойлинг, которому г-н Сидоров поручил постройку клипера для предпринятой экспедиции. К началу 1876 года клипер был готов, и из Петербурга выехали шкипер дальнего плавания Шваненберг со штурманом Нуммелином. На дороге они съехались со шведскою сухопутною экспедициею зоологов Теля и Трибома, ботаника Арнеля и геолога и бриолога Бреннера, к которой присоединился еще гельсингфорский доцент-энтомолог

Зальберг, и 7-го июня все они разом прибыли в Енисейск. Натуралисты не теряли драгоценного времени и сейчас же начали экскурсии в окрестностях города, в которых и я принимал участие. Я опять открыл свой гербарий дорогим гостям, и они могли брать из него все, что только показалось им замечательным. Вскоре прибыл и чиновник Ржевский, высланный генерал-губернатором для сопровождения шведской экспедиции по Енисею до встречи с намеревавшимся прибыть чрез океан к устью реки Норденшильдом. К несчастью встреча эта не состоялась, хотя обе экспедиции, морская и сухопутная, были одна от другой не далее 40 верст. Затруднение в пути, произведенное управляющим на пароходе г-на Баландина енисейским купцом Ячменевым, расстроили все планы сухопутной экспедиции, и она осенью тем же путем возвратилась в Европу. Плодами ее, кроме отчетов Норденшильда и Теля в собой брошюре на французском языке, были сочинения Шейца и Зальберга, изданные королевскою Шведскою академиею наук.

Вместе со шведами по Енисею поплыл и шкипер Шваненберг, чтобы заготовить значительное количество графита в селении Курейке для доставления его на клипере в Европу. В Енисейске остался штурман Нуммелин для снаряжения клипера, наименованного «Северное сияние», который отплыл только 30 июля. Клиперу этому не суждено было явиться в Европе. Он остался на зиму на Енисее у Бреховских островов и весною при вскрытии реки был затерт льдинами.

В это же время английский капитан Виггинс на винтовом пароходе «Теймс» въехал из океана в Енисей и зимним путем из Туруханска (где был приарестован заседателем Рознатовским, служившем прежде в Красноярске при Замятнине) в сопровождении Шваненберга прибыл в Енисейск.

Жители Енисейска в один год сделали скачок в деле прогресса. Они провожали шведскую экспедицию на Енисей (заметим, что покровительствуемую генерал-губернатором) даже с возлиянием шампанского, и уже неизвестно зачем и на что, целою компаниею купили у Виггинса пароход, с которым на следующий год не знали, что делать, перессорились из-за него, и в конце бросили на произвол волн и льдин, которые дотла затерли его и занесли песком и илом даже следы его. Пароход (прежняя собственность королевы Виктории) был хорош, но только не для Енисея и не для енисейцев. Невольно вспомнишь новороссийское: «Куды тебе, Грыщю!».

Бойлинг, между тем, по заказу Виггинса соорудил другой, меньший клипер «Утренняя заря». Виггинс и Шваненберг съездили в Петербург, и к весне 1877 г. порознь возвратились в Енисейск. С Виггинсом приехал орнитолог Сибом, а со Шваненбергом –

штурман Мейнвальд. Все они зимним еще путем отправились по Енисею. Сибом возвратился летом, Виггинс явился к осени, а Шваненберг с Мейнвальдом, Нумелином и ссыльным Цыбулькою вчетвером, на купленном им клипере «Утренняя заря» пустился в Северный океан, проехал Маточкин Шар, прислал из Гаммерфеста депешу в Енисейск, и хотя на буксире, а все-таки благополучно въехал в устье Невы. Нельзя назвать храбростью эту безумную дерзость. Пускаться в такой опасный путь на таком утлом суденышке, без всяких почти приборов, нужных для плавания в открытом океане – это верх всевозможной дерзости! Инструментами из сожаления снабдил я эту бешеную и достойную розог экспедицию, но что мог я дать ей – стыдно и вспомнить.

Посещения Енисейска Норденшильдом и Виггинсом отозвались сочувственно и в коммерческом мире. Московская фирма «Кноп и К^о» снарядила из Бремена в Енисей пароход «Луиза», а в Енисейск прибыл сухим путем полномочный агент ее Р.Ю. Крафт, для основания торговых сношений. «Луиза» разбилась у Нордкина, и вместо нее другой пароход «Царица» был выслан к устьям Енисея. Но и ему не посчастливилось. В самом устье, у вновь открытого острова «Сибирякова» он сел на мель, с которой сняться сам не мог, и только провожавший до Лены Норденшильда в его кругосветном путешествии на пароходе «Вега» возвращающийся обратно в Европу поверенный Сибирякова Серебрянников притащил его на буксире к берегам Норвегии. Все-таки на следующий год капитан Дальман явился в Енисейск на речном пароходе «Москва», и спустя несколько времени пришел другой такой же пароход «Дальман». Фирма «Кноп и К^о» целые семь лет снабжала Енисейск керосином, сахаром и другими колониальными товарами, не смотря на то, что три раза морские корабли ее не могли войти в Карское море. Крафта сменил Крегер, злодейски убитый в 1884 г. Пароходы «Москва» и «Дальман» куплены красноярским купцом Гадаловым и постоянно ходят теперь по Енисею. Первый между Красноярском и Минусинском, а второй, переименованный в «Графа Игнатьева», между Красноярском и Енисейском. Наконец, в 1887 г. прибыл на пароходе «Феникс» старый знакомый Виггинс с полномочным агентом английских торговых фирм Селиваном. Ожидаемые, однако, корабли у устья Енисея не явились и должны были явиться домой безо всякого успеха.

Вслед за прибытием Крафта явилась из Петербурга новая экспедиция инженеров под начальством барона С.А. Аминова для окончательного исследования водного сообщения Оби с Енисеем, чрез Кет и Кас. Жители Енисейска вообразили себе, что у них будет какое-то чудо, вроде лесепсового Суэцкого канала, с большими морскими пароходами, быстро пролетающими вниз и вверх по Енисею, и сильно разочаровались,

когда через шесть лет потом, в 1884 г., по начавшимся работам узнали, что это будет узенький канал с мелкосидящими и поднимающими небольшой груз судами, с движением лошадьми по две версты в час и с одним только годичным рейсом.

– Да за что же Фунтосов получил орден св. Анны? – спрашивал в недоумении один другого, а потом совсем почти забыли и о канале, и об ордене.

Как бы ни было, а Енисейск в последние 20 лет изменился во многом к лучшему. Он обстроился и принарядился довольно даже изящно. Более 15 домов каменных прибавилось в нем к прежним. Новые деревянные дома начали строиться на каменных фундаментах, чего прежде не бывало. Службных окошек нет и в помине. Дела учебного ведомства после отъезда Сторожева пошли далеко лучше и благовиднее. Клуб имеет сцену, на которой любителями даются драматические представления, музыкальные и литературные вечера, и всегда с благотворительной целью. На этой же сцене по временам наезжая труппа актеров находит готовое поприще для выказанья своего искусства. Телеграф работает ежедневно. Пароходы летом приходят и отходят еженедельно. С 1883 г. основался публичный общественный музей, а чрез год потом и такая же публичная библиотека, имеющая теперь уже более 3 000 сочинений. Но главное, что в нем изменилось – это взгляды общества на жизнь и ее условия. Прежнее «было бы нам только тепло» – почти уже забыто. Общество поняло значение более широких гуманных тенденций и укрепилось сознанием их. Теперь оно уж не дастся руководить собою самодурам вроде Сторожева и других, подобных ему хлыщей, и само может идти к цели своего благоустройства. Ему не страшен теперь и упадок золотопромышленности, измельчавшей и перешедшей в руки арендаторов-золотничников, пробавающих средствами, употреблявшимися во времена оные в Колхиде при аргонавтах и в прошедшем веке на золотом берегу в Гвинее. В 1885 г. я посетил золотые промыслы в северной тайге и убедился только в одном, что во время работ содержание золота в воде здешних рек богаче любой самой богатой промываемой россыпи. Открытие рудного жильного золота в кварцах может со временем исправить это дело. Недостаток реальной специальности, чувствуемый уже теперь, может пополнить один только вновь открытый соседственный Томский университет. От схоластицизма классических гимназий ожидать чего бы то ни было – немислимо.

Принося теплое пожелание развития и укрепления нравственных сил Енисейску, как тому городу, в котором я в своей скитальческой жизни нашел себе почти четвертьвековой приют и где предал земле дражайшего своего ангела-хранителя, незабвенную свою жену, я оканчиваю перечень впечатлений, полученных мною путем

зрения и слуха. Оба эти чувства до того у меня теперь притупились, что я не надеюсь более пользоваться ими, и вскоре уже, вскоре упокоюсь от тревог жизни, прошедши per tutti il cerchi del dolente regno¹⁴⁹, непробудным сном у ног своей спутницы и сострадальницы.

Енисейск

9 декабря

1888 г.

М. Маркс¹⁵⁰

¹⁴⁹ Прошедши для того все круги скорби (итал.).

¹⁵⁰ На последней странице рукописи надпись карандашом, сделанная не рукою М. Маркса: «Екатерининский канал (у Кокушкина моста), д. 69, кв. 18 / Адель Адольфовна Дмохов...» (окончание фамилии неразборчиво).